

Адилъ-Гирей Кешев (Каламбий)

Записки черкеса

(повести, рассказы, очерки, статьи, письма)

Текст воспроизведен по изданию: Каламбий (Адыль-Гирей Кешев). Записки черкеса. Повести, рассказы, очерки, статьи, письма. Нальчик. Эльбрус. 1988

© текст - Хашхожева Р. Х. 1988
© сетевая версия - Thietmar. 2010
© OCR - Анцокъо. 2010
© дизайн - Войтехович А. 2001
© Эльбрус. 1988

(Перепечатывается с сайта: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/kavkaz.html>.)

Содержание

- Предисловие
- Два месяца в ауле
- Ученик джинов
- Чучело
- Абреки
- На холме
- Характер адыгских песен
- История адыгейского народа
- Из кабардинских преданий
- О вымирании горских песен
- Письма

ПРЕДИСЛОВИЕ

Советское литературоведение, руководствуясь марксистско-ленинским подходом к духовному наследию прошлого, проявляет неослабный интерес к тому, что «было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры» [1, с. 337]. Без знания эстетических ценностей, созданных всеми народами СССР, невозможно понимание закономерностей взаимодействия и сближения национальных культур, развития советской многонациональной социалистической культуры; усвоение же их демократических традиций — духовно и нравственно обогащает народ.

В свете этих положений историкам литературы необходимо иметь в виду критический подход к культурному наследию прошлого с позиций марксистско-ленинской методологии, с одной стороны, на отбор и усвоение именно того, что способствовало бы «нравственному здоровью... духовному климату» [2, с. 90] нашего общества; с другой — на выявление исторических корней социальной и духовной общности народов дореволюционной России, на историко-теоретическое осмысление идейно-эстетического взаимодействия литератур народов СССР в дооктябрьскую эпоху.

Одним из убедительных свидетельств взаимосвязанности общественно-эстетического процесса, которым были охвачены народы СССР в дооктябрьский период, является история, становления и развития адыгского просветительства и созданного в его рамках литературно-художественного творчества.

С конца XVIII в. вплоть до Октябрьской революции общественно-культурный прогресс адыгов проходил под знаком идеологического движения, связанного с русским просвещением. Его объективной основой явились национальные потребности, настоятельно заявившие о себе с присоединением края к вступающей на путь капиталистического развития России. С этого времени создаются, реальные условия для расшатывания здесь феодальной системы и распада феодально-патриархального уклада жизни народа. Вместе с тем передовая русская общественная мысль и демократическая культура способствовали формированию прогрессивно и патриотически настроенной адыгской интеллигенции, посвятившей себя [4] благородному делу просвещения своего народа, его самоутверждения, развития национальной культуры.

Адыгское просветительство, возникнув и развиваясь в русле общероссийского идеологического движения, воспринимало классические черты европейского и русского просвещения [3, с. 519], хотя и не сразу и не в классически четкой форме и одинаковой степени, что было связано с уровнем социально-экономического развития края, его общественно-политическим положением [4]. Но оно эволюционировало с ростом общественного самосознания народа, обострением классовой борьбы, усилением национально-угнетательской политики царского самодержавия. Наивысшего подъема оно достигло на втором этапе своего развития — в самый канун отмены крепостного права и первые два десятилетия после реформенного периода. Общественно-политическое мировоззрение просветителей этого исторического отрезка времени формируется в сфере идеологии русской революционной демократии, хотя и не до конца ими воспринятой. Оно движется от отвлеченно-гуманистического демократизма, свойственного просветителям первого периода, к крестьянскому демократизму. Внимание просветителей второго периода обращено на несуразность не только отдельных сторон феодального строя (как это было у их предшественников), но и всего общественно-политического строя. Господствующий класс рассматривается ими уже не как «опора отечества», а как деградирующая, зараженная тунеядством и паразитизмом прослойка общества. Главное внимание обращено на крестьянство. Изображая его бедственное положение и выступая в его защиту, они утверждают его нравственное превосходство над феодальным классом, показывают растущее недовольство социальной несправедливостью, тягу к прогрессивным формам жизни.

Борясь против реакционно настроенной части феодальной верхушки и духовенства, противившихся союзу с Россией и ориентировавших народ на «единоверную Турцию», просветители и этого периода выступают за развитие и упрочение связей с русским народом. Конкретно-практически оценивая прогрессивное значение присоединения горцев к России, они в то же время решительно осуждают колониальную политику царизма. Примечательно и то, что отдельные из них поднимаются от критики социальных противоречий горского быта до критики общественно-политического строя центральной России.

В творчестве просветителей отчетливо отразились тенденции общественно-политического и социально-экономического развития адыгов в рассматриваемые десятилетия. В своих произведениях они отражали острую идейную борьбу, связанную с ломкой феодально-крепостнических устоев и отношений, патриархального быта, представлений. Разоблачая феодально-патриархальные пережитки [5] прошлого, мешавшие прогрессивному

развитию народа, они решительно выступали против таких несовместимых с духом нового времени устаревших традиций, как наездничество, кровная месть, порабощенность женщины, задумывались над вопросами просвещения народа и национального прогресса, роли интеллигенции в общественных преобразованиях. Показывая социальные противоречия современной им действительности, тяжелое материальное положение трудовых масс народа, никчемность реакционных обычаев старины, угнетательский режим царизма, просветители давали оценку этим явлениям с народно-демократических позиций. Замечательным в их творчестве было и то, что они с воодушевлением и одобрением изображали и перемены в общественном быте и сознании народа в новое время. Вместе с тем они уверенно овладевали идейно-художественным богатством родного фольклора, опытом русской литературы, ведущим направлением современности — художественной системой реализма, следовали традициям гоголевской школы — изображению жизни «во всей наготе и истине» (В. Г. Белинский. О русской повести и повестях Гоголя).

Все эти явления в наиболее яркой и совершенной форме проявились в творчестве А.-Г. Кешева. С произведениями Кешева адыгская дооктябрьская литература приобрела подлинное социальное и демократическое звучание, набрала наибольшую художественную высоту. В своих произведениях Кешев дал широкие картины социально-общественного быта адыгов, обратил внимание на существенные противоречия своего времени, показал историю духовных исканий передовой части адыгской интеллигенции, ее (и свои) раздумья над исторической судьбой своего отечества.

* * *

В 1860 и 1861 гг. в петербургском журнале «Библиотека для чтения» и московском — «Русский вестник» были напечатаны «Записки черкеса» [5] — цикл рассказов («Два месяца в ауле», «Ученик джиггнов», «Чучело»), повесть «Абреки» [6] и очерк «На холме» [7]. Уже сам факт публикации этих произведений в таких именитых изданиях свидетельствовал об их высоком художественном уровне, исключительно интересном тематическом содержании. И действительно, в этих произведениях, отмеченных высоким художественным мастерством, в то же время правдиво, без романтической идеализации, свойственной обычно сочинениям на кавказскую тему, воспроизводились быт и нравы адыгов — малоизвестного русскому читателю народа. Так реалистически, с безупречной точностью и мельчайшими подробностями передать своеобразие быта и характера народа мог только человек, вышедший из этой же среды. Однако опубликованные рассказы и повесть были подписаны не [6] подлинным именем автора, который из каких-то соображений пожелал его скрыть и подписался образным псевдонимом Каламбий (с арабского — «владеющий пером»). Правда, издатель «Русского вестника» заявил о его адыгском происхождении. В сопроводительной заметке к повести «Абреки» он писал: «Рассказ этот действительно писан природным черкесом, который, как читатели могут видеть, вместе с полным знанием русского языка соединяет литературное дарование» [6, с. 127].

Имя писателя, скрывшегося под загадочным псевдонимом, более века, оставалось неизвестным и было установлено лишь в 60-е годы нашего столетия.

В 1963 г. в журнале «Дружба народов» появилась статья «Владеющий пером» [8] Л. Голубевой, в которой исследовательница на основе архивных и других источников установила; что под именем Каламбий писал Адыль-Гирей Кешев. Затем она же опубликовала биографический очерк о писателе [9], статью, характеризующую его как этнографа [10], и защитила диссертацию, посвященную его литературно-

просветительской деятельности [11].

Помимо работ Л. Голубевой, творчество Кешева затрагивалось в той или иной степени, в тех или иных аспектах в работах Т. Кумыкова [12], Х. Хапсирокова [13]. Проявив интерес к творчеству Кешева еще в 60-е годы [14], автор этих строк опубликовала о нем несколько работ [15, 16, 17]. Нами же было осуществлено первое послеоктябрьское издание литературно-художественных произведений Кешева [18] и его статей [19]. Однако из-за ограниченности тиража книги «Избранные произведения А.-Г. Кошева» и «Избранные произведения адыгских просветителей» стали редкими, в связи с чем и возникла необходимость переиздания наследия этого выдающегося писателя и журналиста дооктябрьского периода.

Адыль-Гирей Кешев родился в 1837 году (Голубева Л. Г. называет годом рождения 1840-й [9, с. 166]. Однако в послужном списке, составленном со слов Кешева и подписанном им лично в 1870 г., указано, что ему было к тому времени 33 года [20]. Следовательно, годом его рождения следует считать 1837-й.) в ауле Кечев, Зеленчукского округа, Верхнекубанского приставства. В 1850 г. вместе с Кази Атажукиным [21] он был зачислен в Ставропольскую гимназию [22, с. 8], при которой существовал специальный пансион для детей горцев. К тому времени здесь обучалось 65 человек, среди которых были и адыги. Созданная в 1837 г. для подготовки чиновников кавказского управленческого аппарата, Ставропольская гимназия со временем превратилась в подлинную кузницу [7] кавказской интеллигенции. Из ее стен вышли такие прогрессивные деятели своих национальных культур, как классик осетинской литературы Коста Хетагуров, осетинский этнограф Йналуко Тхостов, осетинский поэт и публицист Инал Кануков, кабардинский педагог, публицист и переводчик Кази Атажукин, балкарский скрипач Султан-Бек Абаев. В 1862 г. эту же гимназию окончил известный впоследствии политический деятель, социалист, друг Маркса и Энгельса Герман Александрович Лопатин; здесь обучались также кавказоведы Е. Д. Фелицын и Н. Я. Дынник.

В годы учебы Кешева директором гимназии был Я. М. Неверов (1810—1893) — талантливый педагог, литератор, человек высокой культуры и демократических взглядов. Воспитанник Московского университета, друг известного профессора Т. Н. Грановского, близко знавший В. Г. Белинского, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Неверов выгодно отличался от прежних и последующих руководителей гимназии своей подлинной любовью к педагогическому труду, творческой энергией, талантом воспитателя. М. Краснов, автор книги о Ставропольской гимназии, ни об одном директоре не отзывался так лестно, как о Неверове. «Януарий Михайлович Неверов, — пишет он, — соединял в себе лучшие качества педагога, которые сочетались в нем с нежной отеческой любовью к учащимся гимназии... и высоким эстетическим чувством, которое он стремился поселить в учащемся. Вся заслуга Януария Михайловича состоит в том, что он и как педагог, и как администратор не только умел распознавать силы и таланты в учащихся и в своих подчиненных, не только содействовал целесообразными [8] мерами их развитию, но и изобретал разнообразные средства к тому, чтобы любовь к труду вверенных его отеческим попечениям лиц никогда не угасала, а более и более расширяла их благообразную деятельность в желаемом направлении» [22, с. 63].

При Неверове в гимназии были сделаны замечательные нововведения. Расширился круг изучаемых предметов, для чтения которых были приглашены опытные педагоги, опиравшиеся в своих лекциях на новейшие достижения науки, передовую общественную мысль; учреждены были ежегодные ученические конкурсы, активизировавшие учебный процесс, повысившие уровень научной и творческой подготовки учащихся. Именно благодаря нововведениям Неверова Ставропольская гимназия по организации учебно-

образовательного процесса, составу высококвалифицированных преподавателей стояла на уровне аналогичных заведений Москвы и Петербурга.

Большую заботу и внимание Неверов проявлял к учащимся горцам. Он требовал от воспитателей пансиона, чтобы они «следили за всеми моментами умственной и нравственной жизни вверенных их надзору горцев, уясняли их понятия, поощряли к труду, внушая любовь ко всему благому и прекрасному» [22, с. 64]. Нисколько не принижая учащихся из горцев, он пробуждал и поддерживал в них чувство национального самосознания и гражданского долга, мечту отдать приобретенные в гимназии знания делу образования народа.

Учитывая особенности быта горцев, их нужды, потребности, Неверов стремился ввести в их учебную программу предметы, которые имели бы для них практическое значение. «После долгих соображений,— пишет М. Краснов — Януарий Михайлович пришел к заключению, что горцам следует давать такое образование, которое предоставляло бы им средства быть полезными гражданами не на воинственном, а преимущественно мирном поприще, не выходя из своей сферы, т. е. не отдаляясь от своих природных нравов, обычаев, верований. Поэтому горцам, по мнению Неверова, нужно преподавать не латинский язык, не законоведение (русское право), имеющее мало применения в быте горцев, руководствующихся большею частью своим правом — шариатом, а естественные науки» [23, с. 67]. Глубоко убежденный, что «природа щедро наделила кавказские племена духовными способностями», что «горцы способны со страстью предаваться науке», Неверов хотел видеть в своих воспитанниках горцах «первую фалангу новых деятелей на умственной арене», через которых «дикий Кавказ выйдет из своего уединения и вступит в духовное общение с Европой» [24].

Таким образом, Кешев, приобрел счастливую возможность обучаться в этом прославленном на Кавказе учебном заведении в пору его наивысшего расцвета. Если еще вспомнить ту [9] благожелательную обстановку, которую здесь создал Неверов для воспитанников горцев, станет понятным, отчего годы, проведенные в гимназии, были столь дороги и памятны Кешеву. «Не стану здесь описывать школьных воспоминаний, на бумаге они теряют свою детскую, свежую прелесть,— вспоминает он устами своего героя.— Скажу только, что несколько лет, проведенных мною в шумном кругу кадетов (читай: гимназистов.— Р. Х.), останутся счастливейшею порою моей бесцветной жизни. Даже теперь, когда я превратился в делового человека и увидел свет в совершенно ином виде, чем изображал его прежде, и теперь еще не могу без любви вспомнить об этой счастливой эпохе» [18, с. 52—53].

Хорошо организованный в гимназии учебный процесс дал возможность Кешеву проявить свои способности во всей полноте и блеске. За время учебы в гимназии Адиль-Гирей переходил из класса в класс в числе первых учеников. Получая высшие баллы по всем предметам, он, однако, особое пристрастие питал к литературе. В этом была немалая заслуга учителя русской словесности Федора Викторовича Юхотникова. Выпускник Московского университета, он был одним из первых в гимназии педагогов, получивших ученую степень кандидата наук. Блестящий знаток и страстный любитель русской и мировой классики, Юхотников, приобщая своих учеников к величайшим литературным творениям, пробуждал у них глубокий интерес к своему предмету.

О серьезности увлечения Адиль-Гирея литературой свидетельствует его активное участие в гимназических конкурсах на лучшее сочинение, сложность избранных им тем, самостоятельность, глубина и оригинальность их разработки. Так, на конкурсе 1857 г. была заслушана его работа на тему «О характере героев в современных русских повестях

и романах», получившая высокую оценку жюри. «Воспитанник из почетных горцев,— отмечалось в протоколе,— родясь в сфере не только чуждой, но и противоположной нашему обществу по интересам, привычкам, образу жизни, сумел не только понять, но и почти верно оценить значение лучших типов нашей литературы и показать отношение их к действительной жизни: тем с большей признательностью отдаем заслуженную дань похвалы его сочинению, которое написано языком более чистым и правильным, нежели сочинения некоторых русских воспитанников старшего седьмого класса» [9, с. 180].

Через год на очередном конкурсе Кешев выступил с сочинением «Сатира во времена Петра, Екатерины и в наши дни». И снова — успех, первая награда и высокая оценка жюри, отметившего в работе воспитанника горца «самостоятельность многих выводов, бывших плодом долгого изучения разбираемых авторов и описываемой ими эпохи» [9, с. 181]. Это сочинение было отослано Я. М. Неверовым издателю журнала «Русский педагогический [10] вестник» как убедительное свидетельство «успешной учебы горцев, их одаренности, способности и усердия в науках». В ответ журнал теплыми и благожелательными словами приветствовал «молодой талант из горцев». «Как-то странно,— отмечалось в редакционной статье,— но вместе с тем отрадно видеть под такими словами черкесское имя — Адыль-Гирей Кешев! Наука вправе ожидать многое от молодого горца, который с такой внутренней силой вступает на ее поприще!» [25, с. 115].

В конце 1858 г. Адыль-Гирей, окончивший с отличием гимназию, дирекция рекомендует в Петербургский университет. С целью основательной подготовки к поступлению в столичное высшее учебное заведение он один год посещает специальный класс при гимназии, в течение которого со всей серьезностью занимается и литературным творчеством. Уже в июле 1859 г. он заканчивает рассказ «Два месяца в ауле» из цикла «Записки черкеса» и отправляет его в Петербург, издателю журнала «Библиотека для чтения» А. В. Дружинину. Вслед за тем, как это видно уже из его письма к издателю от 4 ноября 1859 г., он продолжает работать над тем же циклом рассказов, в частности над рассказом «Чучело», который обещает выслать «не позже нового года», и повестью «Что было и что есть», которую «обрабатывает года три» [26, л. 1—2]. Из последующей переписки (20 мая и 7 октября 1860 г.) видно, что в декабре минувшего года им отослан рассказ «Чучело», а в октябре текущего — повесть «Абреки» [26, л. 3—5].

Таким образом, еще в стенах Ставропольской гимназии проявился литературный талант Кешева, обративший на себя внимание столичных издателей. Именно здесь были заложены основы его идейно-эстетических принципов и демократического мировоззрения; здесь зародились «стремление к добру и надежды на широкое поприще». «Еще на школьной скамье,— вспоминает герой Кешева,— в кругу беззаботных товарищей я нередко мечтал о своих соотечественниках, об их настоящей и будущей жизни, составлял планы содействовать сколько можно к искоренению многих, по моему мнению, вредных обычаев и предрассудков. Мысль эта вкоренилась во мне так сильно, так меня беспокоила, что я нередко пытался освободиться от нее, но тщетны были мои усилия; внутренний голос подсказывал ежеминутно, что это единственная, благородная цель моей жизни, что Россия, образовавшая меня, имела в виду эту цель, а не хотела вовсе сделать из меня хорошего служаку» [18, с. 70].

Окончив специальный класс гимназии, Кешев поступил в Петербургский университет на факультет восточных языков «по разряду арабско-персидско-татарскому» [27, 28]. Это был недавно сформированный факультет. Его основателем и первым деканом был известный ориенталист азербайджанец Мохаммед-Али [11] Касимович Казем-Бек, «одна из замечательнейших личностей не только у нас, но и в целой Европе—азиатец с глубоким мусульманским образованием, соединивший основательное знакомство с

ученостью европейской, владеющий одинаково как арабским и турецким, так и английским, французским и русским и на всех шести языках писавший и печатавшийся» [29, с. 69]. Замечательный организатор и педагог, он провел огромную работу по укомплектованию факультета высококвалифицированными востоковедами, по составлению учебного плана и программы преподавания восточных языков, учебных пособий по восточным языкам и литературе.

Но учеба в Петербургском университете, о которой так страстно мечтал Кешев, продолжалась всего один учебный год. Осенью 1861 г., когда здесь начались волнения, вызванные репрессиями против свободолобивой части студенчества, Адыль-Гирей принял в них участие. Его, как и других инациональных студентов, в нововведенном уставе не устраивали не только общие для всех ограничения, но и специальный пункт, запрещавший «иноземным» носить национальные одежды... с предварением, что полиция имеет право и обязанность каждого нарушающего оные правила немедленно арестовывать» [30, л. 14]. Он понимал, что здесь речь шла не о какой-то простой формальности, а преследовалась цель ограничения прав студентов из других народностей. Не желая примириться с новыми порядками, воцарившимися в университете после подавления студенческих волнений, Кешев в ноябре того же года в знак протеста против нововведенного университетского устава подал на имя управляющего делами Кавказского комитета, в ведомстве которого находились студенты из горцев, заявление следующего содержания: «Несмотря на все мои желания окончить свое университетское образование, я никак не в силах оставаться в университете при тех новых правилах, которые теперь там введены (выделено нами.— Р. Х.). О чем считаю своей обязанностью довести до сведения вашего превосходительства и просить вас сделать распоряжение об увольнении меня из числа кавказских воспитанников с выдачей документов на следование на родину» [30, л. 22; 31].

Заявление Кешева, в котором в столь откровенной и резкой форме была указана причина ухода из университета, вызвало гнев управляющего комитетом В. Буткова: по его приказу он был немедленно уволен и выслан из Петербурга в Ставрополь.

Кратковременное пребывание Кешева в столице было максимально заполнено творчеством. Помимо опубликованных в 1860 г. рассказов из цикла «Записки черкеса» и повести «Абреки», он в следующем году печатает свое последнее произведение — очерк «На холме». [12]

Прибыв в конце ноября 1861 г. в Ставрополь, Кешев оставался здесь в течение ряда лет, выполняя различные служебные обязанности. Сначала он был назначен переводчиком с черкесского языка в канцелярии начальника Ставропольской губернии, затем перевелся учителем того же языка в гимназию. Но в ноябре 1866 г. в связи с преобразованием губернской гимназии в классическую и исключением из учебной программы черкесского языка Кешев оставил прежнее место и поступил секретарем в Ставропольскую контрольную палату. Здесь он за выслугу лет переведен в коллежские секретари со старшинством. Служба в Ставрополе продолжалась до лета 1867 г. В августе Адыль-Гирей переселился во Владикавказ, административный центр Терской области, где, как свидетельствует составленный на него послужной список 3 августа 1867 г. «причисляется к гражданскому управлению Терской области с отправлением обязанностей редактора областных ведомостей». Немногим позже, в феврале 1868 г., он одновременно назначается и младшим чиновником особых поручений при начальнике Терской области. В июле того же года его за выслугу лет производят в титулярные советники, а в ноябре — в коллежские асессоры со старшинством. К тому времени, как явствует из послужного листа, он был женат на Жир-Хани, дочери бесленеевского князя Пшимахо Канокова, и

имел одного сына [20]. [13]

В общей сложности вся творческая деятельность Кешева продолжалась всего лишь в течение 13 лет. При этом, как свидетельствует последнее опубликованное произведение Кешева — очерк «На холме» (1861), собственно литературное творчество его было и вовсе кратковременным: все известные нам произведения писателя были написаны им в ранний период — в последние годы учебы в Ставропольской гимназии, а затем в год учебы в Петербургском университете. Пять же последующих лет службы в Ставрополе Кешев ничего не писал или, во всяком случае, не публиковал. Переехав затем во Владикавказ и приняв должность редактора «Терских ведомостей», он вообще отошел от литературного творчества и последние четыре года жизни полностью посвятил журналистике. Причиной тому, очевидно, была ограниченность во времени. Как известно, он исполнял не только трудные обязанности редактора первой областной газеты, но и сам много писал; помимо этого, он еще нес службу чиновника особых поручений в управлении Терской области. К тому же он, очевидно, страдал и тяжелой болезнью; этот недуг в конечном итоге и привел его к преждевременной смерти, последовавшей уже в январе 1872 г., т. е. когда ему исполнилось 35 лет [32].

Но вполне возможно, что, кроме упомянутой в письме к А. Дружинину и ныне утерянной повести «Что было и что есть», у писателя были и другие сочинения, не появившиеся в печати по разным причинам.

Литературное наследие Кешева довольно значительно по разносторонности поднятых в нем проблем и изображения быта адыгов. Высокое чувство гражданского долга руководило им, когда он приобщался к литературному творчеству: «Я принимаюсь за перо,— заявляет он устами своего героя-рассказчика,— с тем, чтобы передать на бумаге любопытные черты из нашей жизни. Материалов пропасть. Целое необработанное поле лежит передо мной. Нужно же когда-нибудь занять нам свой уголок в огромной семье человечества: нужно же нам знать, что мы такое, и нужно, чтобы и нас узнали» [18, с. 88].

Вместе с тем стремление Кешева разобраться в противоречиях общественного строя адыгов привело его к осознанию необходимости приобщения к реалистическому искусству. Он сознательно отказывается от традиционных романтических приемов изображения горцев и свой творческий метод строит на реалистических принципах. «Я старался в заметках моих,— замечает он в письме к А. В. Дружинину,— избегать всего, что выходит из повседневного быта черкесов, боясь обвинения в умышленном эффекте. Я желал бы представить черкеса не на коне и не в драматических положениях, как его представляли прежде, а у [14] домашнего очага, со всей его человеческой стороной» [26, л. 2]. Своим творчеством Кешев окончательно утвердил в адыгской просветительской литературе реалистический метод, принципы которого закладывались Хан-Гиреем [33] и были продолжены Крым-Гиреем [34].

Произведения Кешева из-за тяготения к социально-бытовым зарисовкам, но благодаря наличию сюжета одновременно приближаются и к этнографическому очерку, и к рассказу или повести. Некоторые из них объединены в отдельные циклы. Таковы «Записки черкеса», составленные из трех рассказов и спаянные общностью проблематики, заключающейся в разоблачении отживающих обычаев, предрассудков, суеверий. К ним тематически примыкает повесть «Абреки». И, наконец, несколько обособленно стоит очерк «На холме», посвященный быту адыгского крестьянства. Вместе с тем все они объединяются в единое целое личностью рассказчика, историей его идейных исканий. Герой же Кешева, отражая настроения передовой горской интеллигенции, одновременно приобретает автобиографический характер и нередко служит рупором идей самого

писателя.

Эстетические взгляды Кешева, идейное содержание его произведений и особенности его художественного метода формировались под воздействием передовой русской общественной мысли и литературы 50-х годов. Основываясь на традициях передовой предреформенной русской литературы, продолжавшей развитие физиологического очерка 40-х годов, Кешев создал широкую социально-бытовую панораму своего края, раскрыл национальный характер адыгов. Как и писатели демократического лагеря, он уделил особое внимание социально-экономическому состоянию адыгского крестьянства.

Проблемы, поднятые Кешевым, связаны с исторической обстановкой, установившейся на Кавказе накануне реформ 60-х годов. Его одинаково тревожит и волнует отсталость и невежество соотечественников, все еще цепко державшихся за укоренившиеся веками реакционные законы феодальной старины, пагубно сказывающиеся в их быте, и отрицательные явления, проникающие на Кавказ из капитализирующейся России, и дальнейшее историческое развитие отечества, связавшего свою судьбу с Россией, и бедственное положение адыгских крестьян, и трагическая судьба молодого поколения, успевшего в новых исторических условиях приобщиться к русской культуре и тщетно жаждущего практической деятельности на родине, и судьба адыгской женщины, чье порабощение вызывало осуждение писателя, сторонника женской эмансипации и доступности образования для женщины.

Кешев верно угадывал направление исторической перспективы. Он отчетливо понимал значение России и ее передовой [15] культуры в жизни народов Кавказа и необходимость преобразования их социально-бытового уклада на основах передовых традиций европейской культуры. Именно потому он существенное внимание уделял разоблачению реакционных патриархально-феодалных устоев быта адыгов, мешавших поступательному движению и прогрессу.

Уже в «Записках черкеса» Кешев создает довольно разностороннюю картину национального быта адыгов. Здесь повествование ведется от имени образованного человека, кровно заинтересованного в судьбе своих соотечественников, и, таким образом, явления адыгской действительности изображаются через призму критического восприятия их просвещенным человеком, взгляды которого основываются на передовых позициях европейской культуры.

Темой рассказов, составивших «Записки черкеса», служат события, приключившиеся с самим героем или очевидцем которых он стал во время пребывания в родных местах. Однако случаи из обыденной жизни интересны для Кешева-реалиста не сами по себе, а как факты, ведущие к обобщениям. Предметом художественной типизации в «Записках черкеса» становятся реакционные традиции феодальной старины. Изображая их, Кешев выступает смелым новатором, впервые, в частности, поставив проблему положения женщины в адыгском обществе. Вместе с тем он создает в адыгской литературе новый тип женщины. Женские образы, созданные его предшественниками, в частности Хан-Гиреем, — это, как правило, представительницы княжеского рода, женщины-воительницы, романтически героизированные и как бы приподнятые над обыденной жизнью. Героини Кешева хотя и дворянского происхождения, но не несут в себе какой-либо исключительности: они естественны, жизненно достоверны. Примечательно также, что Кешев обращает взор и на положение женщины-крестьянки.

В первом рассказе цикла — «Два месяца в ауле» — поведана история несчастной любви героя к девушке-односельчанке. Этот случай, оставивший в душе героя горестные

воспоминания, служит поводом для рассуждений на различные житейские темы и выражения собственного отношения к отдельным традиционным обычаям адыгов.

Полюбив умную и обаятельную Залиху и уверившись в ее ответном чувстве (по мнению героя, это первостепенное и важное условие для вступающих в брак, но, как правило, оно не соблюдается в адыгском обществе), герой принимает решение жениться на ней. Но существующие обычаи не позволяли молодым людям самостоятельно решать свою судьбу. Будущее их целиком зависело от воли родителей и родственников, которые не принимали в расчет взаимного чувства вступающих в брак, считая его не более [16] чем выгодной сделкой. Если жених по каким-либо причинам был негоден близким девушки, то с чувствами влюбленных никто не считался, а обычай позволял ее продать даже глубокому старику или уроду, но с выгодой.

Этот нелепый обычай и разрушил счастье молодых людей: Залиха насильственно была разлучена с любимым и отдана за избранника ее родителей. Грубое попрание любви героя и Залихи ни в ком из окружающих не вызвало осуждения, ибо подобное явление было не единственным, а естественным, узаконенным существующими традициями. «А сколько подобных ей [Залихе] девушек,— горестно восклицает герой,— сделалось жертвой корыстолюбия своих полудиких семейств! Говорят, что в высокоразвитых обществах продажа женщины не редкость,— а у нас в горах она не только не редкость, а общее правило!» [18, с. 87]. Чувством глубокого сострадания он проникается к своим соотечественницам, он полон уверенности, что они достойны лучшей участи. Сравнивая судьбы адыгской и европейской женщины, пользующейся несравненно большей свободой и в известной степени благами образования, он с болью в сердце констатирует: «Но что сказать о черкесской девушке? Какая школа послужит к раскрытию ее души, ее взгляда на вещи, на жизнь? Нет для черкешенки ни живых школ, ни живых источников, не говоря уже о воспитании, в смысле, европейском... она не избегнет тлетворного влияния своего униженного положения в обществе... она вещь, игрушка, а не нравственно свободное существо, не украшение жизни» [18, с. 27].

Еще большим сочувствием проникается писатель к женщинам из «низов», подвергающимся не только нравственному унижению, но и жестокой экономической эксплуатации. Наблюдая жизнь домочадцев соседа, герой «лучше всего изучил служанку, женщину средних лет», которая «каждый день по пять раз спускалась к речке с длинным коромыслом на плече». «Я читал в ее робком взгляде, в бледных чертах лица,— отмечает он,— всю грустную историю ее жизни, безутешную скорбь угнетенной тяжелым рабством души и напрасный порыв подавленной воли» [18, с. 73].

Показывая униженное положение женщины в адыгском обществе, Кешев вместе с тем в образе Залихи воплощает идею роста самосознания горянки, все возрастающую непримиримость с ролью покорной рабыни. Но он не решается заставить героиню бороться за свое счастье. В соответствии с такой ориентировкой, она, хотя и воспитана в традиционном духе, далеко не безропотное существо, смиренно подчиняющееся обычаям. Обладая ясным и здравым умом, она понимает всю нелепость существующих брачных отношений и не может примириться с ними. Залиха не мыслит себе жизни с нелюбимым и считает, что родители, вмешиваясь в судьбу детей и лишая их права свободного выбора, калечат им [17] жизнь. «Идти поневоле за нелюбимого человека,— горестно рассуждает она,— несчастье для девушки. Как жить в доме, где нет согласия, где муж презирает жену, а жена... о, я не знаю, зачем родители губят своих детей!» [18, с. 75]. Залиха еще бессильна перед вековыми традициями. Ее протест против закрепощенного положения женщины понятен только таким передовым людям, каким является герой рассказа. Он же, убежденный сторонник равноправия мужчин и женщин, с позиций этого

«драгоценнейшего убеждения» протестует против зависимого положения горянки, призывает к признанию ее права на счастье, на любовь, на свободу выбора в браке и, наконец, на образование.

Тема женщины продолжается и в другом рассказе того же цикла — «Чучело». Но если в первом история влюбленных завершается их вынужденной разлукой, то в последнем судьба женщины показана в трагическом плане. Назику, дочь князя Тепсеруко, отдают замуж подобно многим ее соотечественницам, не считаясь ни с ее волей, ни с ее чувствами. Полюбив юного наездника, посетившего дом ее отца, тайно лелея мечту о встрече с ним, Назика по воле отца становится женой старика-князя. Отец девушки хотя и нежно любит дочь, но, решая судьбу дорогого ему существа, руководствуется сословными предрассудками, расчетом на выгодную сделку. Назика же, следуя существующим традициям, должна подчиниться воле отца, в противном случае ее ожидает бесчестье. Несчастный брак принес Назике тяжчайшие испытания: судьбе было угодно, чтобы юноша, которого она полюбила, оказался ее пасынком: на ее глазах он был жестоко убит отцом, сама она была подвергнута мужем нечеловеческой пытке, в результате которой лишилась рассудка. Но судьба Назики и в таком трагическом положении мыслится Кешевым более счастливой по сравнению с судьбами безропотных ее соотечественниц, ибо ей, пусть даже кратковременно, все же удалось испытать подлинное счастье с любимым.

Повествуя о трагической судьбе своей героини, Кешев вновь поднимает голос протеста против деспотического права родителей распоряжаться судьбой детей, против брака по расчету, обусловленного родовыми интересами, и утверждает новые для того времени принципы брака, в основе которых — взаимное чувство, любовь и уважение.

В рассмотренных рассказах затронуты и другие важные проблемы общественного быта адыгов. Резкой критике Кешев подвергает обычай наездничества, связанный с воровством и грабежом. Писатель правильно понял причину возникновения и бытования этого обычая, связывая его со своеобразными нравственными нормами и понятиями феодальной старины, когда «предприимчивость и ловкость в похищении чужого добра считались наиболее ценным [18] качеством феодала, обеспечивавшим ему особое уважение и почет среди собратьев по классу» [35, с. 173].

Вместе с тем Кешев верно почувствовал важность борьбы с этим отживающим обычаем в новых исторических условиях. Он убежден, что, пока сохраняется обычай наездничества, его соотечественники будут оторваны от производительного труда, от мирной созидательной жизни. Устами своего героя он заявляет, что его землякам «полезнее было бы забыть подвиги удалства и заняться мирными делами». Вместе с тем его приятно удивляют и искренне радуют рассуждения дяди о хозяйстве: о земледелии, скотоводстве и прочих «полезных занятиях», а также «практический ум, навыки и глубокое соображение, качества, редко выдаваемые адыгами... привыкшими говорить больше о военных успехах» [18, с. 88—89].

Третий рассказ из «Записок черкеса» — «Ученик джиннов» — посвящен традиционно просветительской теме разоблачения суеверий и предрассудков народа. Внимание рассказчика привлекает Хаджимет, прозванный односельчанами за необыкновенные способности в искусстве врачевания учеником джиннов. Образованный черкес, заинтересовавшись этой загадочной личностью, пытается разгадать секрет его воздействия на окружающих. Наблюдения над Хаджиметом приводят его к выводу, что вся «магическая» сила ученика джиннов кроется в его незаурядном уме и способностях. Обладая недюжинными способностями, Хаджимет в совершенстве овладел народной

медициной, без труда определяет болезнь и успешно лечит народными средствами, казалось бы, безнадежных больных. Но суеверный народ приписывает его действия сверхъестественной силе, а его личность окружает ореолом таинственности. Сам Хаджимет ловко использует создаваемые вокруг его имени легенды для приобретения неограниченной власти над аульчанами, расправляясь с неугодными ему лицами. Так, по его наговору казнят старуху и молодую вдову, обвиненных им в колдовстве. Неизвестно, чем старуха вызвала недовольство Хаджимета, а молодая женщина, как выяснилось впоследствии, разгневала его отказом выйти за него замуж. Хаджимет властвует над суеверными односельчанами до тех пор, пока его не начинает преследовать сельский кадий, усмотревший в его славе подрыв собственного авторитета. Последний объявляет Хаджимета «колдуном» и «еретиком» и, поддерживаемый народом, к тому времени заговорившим о несправедливой казни двух невинных женщин, принуждает его прекратить «колдовские» дела. Затронув в этом произведении «старую» тему, Кешев, однако, трактует ее по-своему. Суеверия и предрассудки рассматриваются не только как явления, типичные для тогдашней жизни (как это было у Хан-Гирея), но и как главные факторы, препятствующие [19] просветительским акциям передовой горской интеллигенции, распространению в народе образования и современных научных знаний.

Кровная месть и последствия этого жестокого горского обычая (абречество) — тема следующего по времени опубликования произведения Кешева — повести «Абреки». Обращение писателя к этой теме было не случайно, оно было обусловлено давно назревшей необходимостью. Древний обычай кровомщения, бессмысленность которого была очевидна для передовых горцев, все еще сохранялся в быте народа, нанося ему немалый ущерб, приводя к разорению сел, истреблению целых родов [36, с. 288]. Именно потому писатель и задается целью показать, к каким страшным последствиям приводит его соотечественников слепое следование отживающим традициям прошлого.

Повесть первоначально была отправлена в журнал «Библиотека для чтения». В письме к Дружинину Кешев, заранее предчувствуя по опыту публикации рассказа «Чучело» (он подвергся изменению, не понравившимся автору) возможные возражения издателя, писал: «Представляя Вам продолжение «Записок», считаю не излишним сказать несколько слов от себя по поводу предлагаемого отрывка. Я заранее уверен, что этот отрывок, по тому как Вы изволили поступить с «Чучелом», покажется Вам и очень длинным, и однообразным в содержании. Но эти недостатки, смею думать, суть необходимые следствия самого предмета, избранного мною на этот раз. В коротком очерке невозможно дать сколько-нибудь полного понятия о таком многосложном проявлении нашего быта, каким служит так называемое абречество,— это одно из самых коренных зол в нашем общественном устройстве. Упорство, с которым наш горец преследует свое мнимое недействительное оскорбление... упорство, заслоняющее все другие... побуждения,— вот, по моему мнению, источники некоторого однообразия моей статьи. Другое, что я предвижу,— продолжает Кешев,— это то, что статья эта, по-видимому, не подводит к предположенной мной задаче. Но так, надеюсь, может показаться только с первого взгляда. Основа абречества коренится прежде всего в общественном и семейном укладе, что и составляет главную задачу моих записок. Наконец, герой записок... не мог, конечно, целиком не положить на бумагу признания абрека без всяких со своей стороны рассуждений» [26, л. 4].

Как видно из приведенного отрывка, Кешев конкретно говорит о замысле повести, избранных средствах его художественного воплощения. Вместе с тем он обращает внимание на ее социальное содержание. Во-первых, абречество трактуется им не в принятом романтическом ключе, т. е. не как экзотическая сторона горского быта, а как социальное зло; во-вторых, автор исследует его социальные истоки и конкретно связывает

их с общественным [20] строем и семейным укладом адыгов. Таким образом, абречество рассматривается как социальное явление, порожденное феодальным миропорядком, его законами и обычаями. Реалистически конкретная и остросоциальная трактовка абречества в повести пришлась не по душе Дружинину-эстету, выступавшему в 1859 г. с позиций «чистого» искусства, против обличительной литературы. Кешев же, не согласившись на переделку, забрал свое произведение и опубликовал его в том же 1860 г. в журнале «Русский вестник».

В основе повести — судьба обычной адыгской семьи Тадж, члены которой из-за обычая кровной мести становятся абреками и ведут беспокойную, полную трагических событий жизнь. Подчеркивая реальность и типичность изображаемого, Кешев устами главного героя—абрека Маты замечает, что рассказ его «...с начала до конца истинная быль, изображающая не одно семейство Тадж, а тысячи ему подобных, чтобы не сказать всех обитателей адыгской земли» [18, с. 195]. Судьба Маты рассматривается как типичный пример тяжкого последствия родовой мести, искалечившего всю его жизнь, лишившего его домашнего очага, родных и друзей, покоя и счастья. Сведя счеты с кровными врагами семьи, он не чувствует никакого удовлетворения, ибо, как он сам замечает, «зло не может удовлетворить человека, не знавшего в жизни ничего, кроме зла». Интересно, что горцы сознают вред кровомщения, но в то же время не в силах противостоять традиции. Этому мешает крепко укоренившееся у них сознание святости соблюдения обычаев предков, самолюбие, страх потерять репутацию «настоящего» мужчины. Условность этого обычая, сохраняющегося только ради видимости, не раз подчеркивается в повести. Характерно, что родственники убитого отцом Маты человека «стали угрожать отцу, хотя при жизни покойника они всеми силами старались сбить его как-нибудь с рук». Несколько раз им предоставлялся удобный случай расправиться с кровным врагом, но они ничего не предпринимали, ибо «храбрились только для виду, чтобы люди не считали их трусами, не соблюдающими родовой чести». Сам Мата нередко сомневается в необходимости и справедливости совершаемого им с братом акта мести и настраивает себя на воинственный лад лишь мыслями о том, как отнесутся к его «мягкосердечию» Харакет и его друзья, не заподозрят они его в трусости?

Мата добр и мягкосердечен по натуре, но ложные понятия о чести и господствующие у адыгов предрассудки превращают его в одержимого мстью фанатика. Вместе с тем эта пагубная страсть не сделала его жестоким и холодным убийцей, не знающим раскаяния и не чувствующим жалости. Он полон сострадания к ханцовцам и мучительно переживает каждое нападение на [21] враждебный аул. Картины содеянного им и его товарищами зла неотступно преследуют его, и перед ними меркнет, становится малозначительной причина вражды с ханцовцами. Он постоянно испытывает чувство огромной вины перед теми, кто в прошлом так радушно принял и приютил их семью в своем обществе. Но особенно невыносимо тяжело становится ему от сознания своей вины перед соотечественниками, когда он, лишившись брата и друзей, в отчаянии привел отряд царских войск, которые разрушают аул. Видя это, Мата переживает ни с чем не сравнимые тяжелейшие минуты в своей жизни. Вид разрушенных пчелиных ульев, рой жужжащих, оставшихся без крова пчел заставляет его остро почувствовать всю чудовищность содеянного. «Я молча смотрел,— рассказывает он,— и в душе моей проснулось что-то такое, чего я никогда прежде не чувствовал. Мне как будто жаль стало этих ульев. Мне вдруг представился старик с белой как лунь бородой. «Смотри, что ты наделал,— казалось, говорил он,— ты в один миг разрушил то, что составляло заботу многих лет моей жизни. Ты топчешь чужими ногами пропитание бедной моей семьи. Вот малые дети, у которых вырвал ты последний кусок. Бог накажет тебя за их слезы» [18, с. 200].

Мата — представитель старшего поколения, у него свои представления о прошлом и

настоящем. И вред бесконечных междоусобных распрей он видит прежде всего в том, что вражда, разъединяя и ослабляя племена, делает их в отдельности легкодоступными внешнему врагу. Рассуждает писатель и о широко известном и своеобразном адыгском гостеприимстве. В общем красивый обычай, свято оберегавшийся в старину, но, как замечает Мата, приходящий в забвение, в настоящем он нередко принимает уродливый характер в силу особого понимания адыгами гостеприимства.

Так, семья Тадж, вынужденная покинуть родные места и переселиться к абадзехам, встречает у последних радушный прием: принявшее семью общество обеспечивает ее материально на первую зиму, а весной помогает вспахать отдельное поле и предоставляет в вечное пользование лучшую часть покоса. Такой же теплый прием получают лишившиеся крова Мата и его брат Харакет в доме главы махошевского племени Каирбека. Закон обязывает адыга оказывать гостеприимство каждому, кто нуждается в этом, не спрашивая, с какой целью он просит приюта и на какое время. Принявший гостя обязан обеспечить его безопасность и оказывать ему во всем поддержку и покровительство. В результате этим обычаем может воспользоваться и человек, совершивший преступление, как в данном случае Измаил, действия которого взволновали весь аул, и тем самым разрушить благополучие принявшего его хозяина, как это случилось с братьями Тадж. [22]

Последние, хотя и чувствуют неправоту поступка Измаила, следуют традиции, ибо нарушение ее ведет к бесчестью.

Замечательным достижением Кешева явился и тот факт, что он не обошел одной из важнейших проблем демократической литературы предреформенной поры — положения крестьян. «Как художник,— пишет В. Б. Корзун,— Кешев сделал значительный шаг вперед в реалистическом изображении Кавказа, подведя современного ему читателя вплотную к главному герою новой кавказской действительности — горцу-труженику. Именно этот герой стал выдвигаться на первый план, в условиях наступившего мира после окончания Кавказской войны» [37, с. 21]. И тут несомненными образцами для писателя явились прежде всего «Губернские очерки» (1856—1857) М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Записки охотника» (1852, первое издание) И. С. Тургенева, повесть «Деревня» (1846) Д. В. Григоровича, «Очерки бытового народа» (печатались до 1861 г. в журнале «Современник») Н. В. Успенского, отличающиеся всесторонним исследованием и правдивым, как бы документальным изображением повседневной жизни и сознания трудового народа.

Следуя традициям «натуральной школы», Кешев в очерке «На холме» дает реалистическое описание быта адыгских крестьян, раскрывает их психологию, своеобразие их этических и моральных норм, их отношение к труду. В то же время он показывает и настроения крестьян в предреформенный период, растущий гнев против феодальной верхушки. Наряду с этим внимание его обращено на антиобщественный характер жизни адыгских дворян, ведущих паразитическое существование, и противопоставляет им занятых созидательным трудом простых тружеников села. Он стремится рассказать о крестьянах всю, суровую правду, показать их повседневную жизнь такой, какой она есть на самом деле, реалистически показать и их угнетателей.

Крестьяне Кешева — производители материальных благ, на их плечах лежит существование всего аула, и прежде всего — господ. Они зависят от последних и экономически, и юридически. Существующие правовые отношения дают дворянам неограниченную власть над подвластными им крестьянами, а в случае неповиновения владелец может прибегнуть к самой крайней мере наказания — убийству непокорного

холопа. Привилегированное положение знатных обеспечивает им возможность жить за счет труда принадлежащих им крестьян и проводить время в праздности и разъездах. Обиравые своими господами крестьяне испытывают постоянную материальную нужду, голод, но в своем бедственном, угнетенном и зависимом положении они не теряют человеческого достоинства и меньше всего походят на безгласных холопов, не могущих постоять за себя. Они с пренебрежением [23] относятся к своим господам, безбоязненно критикуют их образ жизни. «Вся желчная ирония их языка,— замечает герой,— направлена исключительно на сословие, обитающее в кунацкой (имеются в виду дворяне —Р. Х.); на него они смотрят с пренебрежением, как на что-то весьма невыгодное и непрочное, чье существование находится в их мозолистых руках» [18, с. 218].

Крестьян возмущает тунеядство, праздный образ жизни дворян, их беспечность, пренебрежение к нуждам подвластных. Так, один из «холмовников» (т. е. крестьянин. «Холмовниками» Кешев называет крестьян по месту их сходов — холму, расположенному на околице села —Р. Х.) говорит: «Но что ты скажешь о тех молодцах, которые, сидя в своих кунацких, поедают даром хлеб и удивляются, если не станет вдруг чего поесть». Когда же другой «холмовник» заявляет, что не станет косить своему господину, пока не получит положенного по договору проса, присутствующие отвечают ему дружным смехом, ибо каждому известно, что у беспечного хозяина этого крестьянина давно нет проса, и вообще ему мало забот до его нужды. Но «холмовник» не сдаётся: «А мне, если хотите знать,— заявляет он,— еще меньше печали, что у него не будет сена на зиму и лошадей нечем будет кормить. Вы думаете, я из жалости к нему убиваюсь над косой, порчу свою внутренность?» [18, с. 244—245].

Характеризуя адыгских крестьян, Кешев отмечает их гордый и независимый характер, непримиримость к своему положению и вольнолюбивые настроения. Адыгский крестьянин «никогда не позволит ему (господину.— Р. Х.) возложить десницу на свою физиономию». Он не терпит также разных кличек, вроде: «Эй, человек! Эй, чурбан!» — и откликается только на свое настоящее имя. Правда, господин может, «когда ему вздумается, выхватить свой кинжал и всадить его в грудь дерзкого холопа», но такой способ расправы Кешев предпочитает тому, что происходит в России, где, по его словам, господа систематически унижают крестьян, а их отношение к ним — оскорбительно-пренебрежительное.

Вместе с тем Кешев подчеркивает и ограниченность классового сознания адыгского крестьянина, когда он продолжает следовать традиционным патриархальным обычаям. Именно поэтому «холмовник никогда не позволит при себе постороннему лицу произнести о нем (господине.— Р. Х.) мало-мальски оскорбительное замечание: тут он вступает за него, защищая его честь. В этом случае он руководствуется не столько личной привязанностью к господину, сколько сознанием семейного родства, связывающего его с ним» [18, с. 218].

Крестьяне Кешева в нравственном отношении стоят гораздо выше своих господ. Их идеалы, понятия о месте человека в [24] жизни, его чести, долге, славе в корне отличаются от этических норм, которыми руководствуются дворяне. На холме «одна хорошая спина из крепкого дерева ценится дороже всякого оружия с богатыми насечками, дороже самой изящной конской сбруи» (тут как принадлежность дворянской знати.— Р. Х.); «холмовники» убеждены, что «нет ничего соблазнительнее славы бочара Яхьи, арбяного мастера Чоры и неутомимого косаря Хожи, на которых взирают они не без некоторой зависти и искреннего сожаления, зачем аллах не дал им искусства этих достойных удивления мастеров». «Холмовники,— замечает герой,— народ большею частью положительный, хвастовство и ложь встречает у них несравненно менее почта, чем в

кунацких» (имеется в виду дворянский круг.— Р. Х.). На холме «строже соблюдается данное слово, лицемерие и ложный стыд совершенно изгнаны оттуда». В противоположность дворянам, занятым наездничеством, воровством и грабежом, «темные ночи не производят на заседателей холма никакого воспламеняющего действия, не возбуждают в их груди беспокойного желания пошарить вокруг себя». Им «решительно нет никакого дела до тех идеалов, которые неотвязно преследуют сословие дворян», и они питают «неодолимое отвращение к сословию праздных, занятых одними лошадьми и оружием дворян». «На холме... свои законы мести и примирения, не похожие на законы кунацкой». Вместо страшного обычая кровомщения они прибегают к простому разрешению спора. «Враги покосятся месяца два друг против друга... а потом помиряются сами собой или люди заставят их ударить по рукам. Кто больше виноват, должен простить обиженного, бузу сварить для него и барана зарезать» [18, с. 216, 241, 243]!

Солидаризируясь с писателями-демократами, отвергавшими измышления славянофилов будто бы русским крестьянам присущи приверженность к патриархальному быту, вражда ко всяким новшествам, религиозный фанатизм, Кешев на примере того же класса в адыгском обществе, находившегося в аналогичных социальных условиях, демонстрирует несостоятельность славянофильских концепций. Крестьяне Кешева самокритичны, им свойственна привлекательная черта, которой не может похвастать чванливая знать,— признание несовершенства собственного быта; они любознательны, проявляют глубокий интерес к быту и культуре других народов. Пытливо расспрашивают они, подобно мудрому и хозяйственному Хорю («Записки охотника»), о порядках жизни в других странах, проявляя ум и сметливость. Узнав о том, что у англичан есть коса, которая «косит за сотерых», один из «холмовников» замечает: «Сущие скоты мы, адыги, если подумаешь хорошенько... носом воду пьем. Сколько есть на свете чудес, какие и во сне никогда не приснятся нам! А мы не шутя уверены, что мудрее нас нет и быть не может на свете. Отчего же это? А от того, что безмерная [25] спесь обуяла наши сердца, от того, что и на лестнице не доберешься до наших рогов. Чем же гордимся? Живем мы в таких жилищах, в каких в шехерах посоветятся лошадей держать. Мы до сих пор не придумали, как удержать тепло в сакле...». «Да,— продолжает другой,— жизнь наша так же далека от жизни шехеров, как небо от земли» [18, с. 223—225]. Или Сольман, прозванный «глубокоумным» за неистребимую жажду к знаниям, проявляет интерес к русским книгам и русской культуре.

Крестьяне Кешева хотя и богобоязненны, но здраво подходят к религии, проявляют непочтительность по отношению к служителям культа. «Коль слушать все, что говорит наш мулла,— остроумно замечает один из них,— придется броситься в воду». Особую ненависть вызывают у них ученики мулл — сохты. Одного из них, изгнанного с холма после предъявленного ему обвинения в воровстве, мальчишки преследуют криками: «Лепёшечник, кукурузник, курица, индюк». Объясняя причину столь неуважительного отношения к сохтам, «холмовник» говорит: «Как не обижать этих людей? Ведь они хуже всякой саранчи, вконец нас поедают. Нет сил человеческих избавиться от них, видно, бог карает ими грехи наши» [18, с. 233, 240].

Реализм писателя проявляется не только в мастерстве бытописания, но и в принципах подхода к изображению крестьянской среды. Просветители первой половины XIX в. (Хан-Гирей, Ногмов) изображали простой народ весьма абстрактно: это была безликая, не воплощенная в индивидуально-конкретных образах масса. Современник Кешева Крым-Гирей Инатов, создав собирательный образ народа, представил его несколько ограниченным. И только Кешев, рисуя целую галерею типов сельских тружеников, вывел многогранно очерченный образ адыгского крестьянина.

В крестьянской массе наибольшее внимание уделено трем персонажам — Сольману, Ильясу и Исмелью, носителям таких замечательных черт своей среды, как стремление к знаниям, трудолюбие, житейская мудрость, практический ум.

Сольман философ по призванию,— богато одаренная личность. Неумно любознательный, он постоянно горит желанием узнать побольше, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях при отсутствии образования. С большим интересом он слушает в переводе рассказчика басни Крылова, обнаруживая «сильное беспокойство, с тем вместе удовольствие человека, перед которым вдруг яснее раскрывается давно знакомая мысль».

Ильяс происходит из высшего сословия, но женитьба на любимой женщине из низших слоев разорила его и вскоре сравняла с беднотой. Он трудолюбив, неистово реагирует на всякое зло и неправду, он превосходный адвокат, и к его услугам прибегают многие односельчане. [26]

Почтенный старик Исмель, пользующийся большим авторитетом среди «холмовников», прошел долгую трудовую жизнь от холопа до выкупившегося на волю крестьянина. В кругу «холмовников» он пользуется репутацией человека умного и рассудительного, его советы всегда воспринимаются с особым одобрением и вниманием, и вообще он оказывает неотразимое влияние на «холмовников». Секрет его авторитета кроется в умении говорить четко, веско, аргументированно. Исмель никогда не говорит попусту и прежде, как тщательно обдумав мысль «со всех концов». Это свойство рядового труженика приводит в восторг героя Кешева, вызывая у него признание, «что подобных людей трудно отыскать в обществе несравненно более образованном (т. е. в обществе дворян.— Р.-Х.), нежели кружок холмовников».

Так Кешев, разносторонне раскрывая облик адыгского крестьянина, создает его собирательный, типический образ.

Показ нравственного превосходства адыгского труженика, как отмечалось, сочетается с изображением его нужд, насущных потребностей. До Кешева никто с таким сочувствием и симпатией не изображал крестьян, не показывал с такой беспощадной правдивостью их нищету и обездоленность, не обнажал социального неравенства, низкого материального уровня жизни крестьянской массы, невыносимый социальный гнет и пробуждающийся протест против паразитирующего княжеско-дворянского сословия. Тем самым он подводил читателя к осознанию того, что бедственное положение трудового люда является следствием существующих социально-экономических отношений. Всей логикой изображения экономического состояния тружеников села он дает почувствовать всю несправедливость феодального миропорядка, обеспечивающего материальными благами тунеядствующий господствующий класс и обрекающего трудовые массы на нищету и бесправие. К таким выводам Кешев пришел под влиянием идей вождя русской революционной демократии Н. Г. Чернышевского.

В творчестве Кешева поставлена и другая актуальная проблема— социально-этическое самосознание передовой интеллигенции, прослежен процесс ее идейно-нравственного развития. Свойственные ей черты воплощены в стержневом, проходящем через все произведения Кешева образе повествователя. В отличие от аналогичного персонажа Крым-Гирея Инатова рассказчик и автор у Кешева не тождественны: повествователь несет в себе черты нового социально-психологического типа личности. Вместе с тем он не является полностью объективизированным персонажем, а в известном смысле становится рупором авторских идей.

Социально-психологический тип, созданный Кешевым, перекликается с идейно-нравственной концепцией героев романов И. С. Тургенева 40—50-х годов и поэмы Н. А. Некрасова «Саша». [27]

Но персонаж Кешева в то же время типично национален: он кровно связан с родной землей, живет интересами своего народа, отличается национальным складом психологии. Это интеллигент-демократ, жаждущий активной просветительской деятельности в среде народных масс, но в силу целого ряда исторических обстоятельств и собственной раздвоенности он не может активно действовать. Отсюда его неудовлетворенность, тяжело переживаемый душевный разлад. Подчеркивая типичность своего героя, горского аналога русских Рудиных, «лишних» людей, Кешев пишет: «Современное состояние Кавказа породило значительный круг людей, которые отбились от родной почвы, а к чужой не пристали. Поверхностное полуобразование ставит их во враждебные отношения ко всему окружающему, разрушает веру в достоинство старых обычаев, но не дает им достаточно сил для успешной борьбы с действительным злом. Это живейшая струна нашей современности» [26, л. 3].

Сначала герой Кешева, питая «безграничную братскую любовь ко всем и каждому», с увлечением рассуждает о высоком долге образованного человека, долженствующего вести борьбу с вредными обычаями и предрассудками старины, приобщать народ к знаниям. Долг этот мыслится как «единственная, благородная цель» его жизни. Но, приступив к практическому осуществлению своей мечты, он сталкивается с непредвиденными трудностями. Находящиеся во власти древних обычаев и предрассудков земляки враждебно воспринимают устремления образованного интеллигента. На каждом шагу он встречает неприязнь и недоверие окружающих, которые поговаривают о его отступничестве от веры отцов, от «обычаев и заветных преданий старины», обвиняют его в «развращении и искушении правоверных» и, наконец, препятствуют его любви к односельчанке. Они называют его унижительными прозвищами, в то время как он сам всем сердцем привязан к ним и для их счастья готов отдать жизнь.

В таких условиях, без какой-либо поддержки со стороны, он не смог привести в исполнение свои планы. Оттого воспоминания о минувшем овеяны невыразимой тоской, острым чувством неполноты жизни.

Впрочем, герой винит в своих неудачах не только враждебно настроенных против него собратьев. Он объективен и к самому себе: корит себя за отсутствие терпения, за то, что не смог действовать благоразумно и расчетливо. Он чувствует себя виновным и в судьбе Залихи — воспоминание о любимой нестерпимо ему как «живой укор для расслабленной... совести».

Выявляя причины, мешающие активной деятельности горской интеллигенции, Кешев склонен объяснить поражения героя не столько его слабостью, сколько объективными обстоятельствами [28] окружающей его действительности. Кроме того, душевная драма героя Кешева осложнена и разочарованием в общественном строе России, культура которой лежит в основе его просветительской практики.

Душевное состояние героя Кешева сложно и противоречиво. С одной стороны, он называет свои прежние идеалы, за которые он «бился насмерть, пока верил в их правоту», «ложной колеей», говорит о том, что отказался от них «посредством целого ряда тягостных разочарований и болезненных потрясений», готов сожалеть о том, что получил образование, которое не сумел использовать по назначению и которое лишь отдалило его от родного круга, сделало его чужим среди близких; сравнивает себя с пилигримом,

исходившим весь мир в поисках лучшей страны и вернувшимся на родину с разочарованной душой и твердым убеждением, что «нет ничего милее родного края».

С другой стороны, хотя неудачи в общественной деятельности духовно и надломили героя, но не лишили его чувства беспокойства и озабоченности за судьбу своего народа, стремления привести ему пользу. По-прежнему забота о настоящем и будущем родины далеко не безразлична ему, ибо, как он считает, это «единственное наше утешение в жизни, наше нравственное бытие». Не преуспев на поприще распространения знаний среди соотечественников, но побуждаемый все тем же стремлением быть полезным для них, он отдается литературному творчеству. Но свою прежнюю кратковременную деятельность он рассматривает вовсе не бессмысленной, сравнивая ее с «незаметно посеянными семенами». Герой Кешева, подобно некрасовскому Агарину («Саша»), отступившему от прежних идеалов, но пробудившему в окружающих стремление к борьбе, хочет верить, что новое поколение, действуя активнее и благоразумнее его, «пересилит массы», т. е. разбудит их для новой жизни.

Примечательно, что герой Кешева чувствует несовершенство не только общественного быта адыгов, но и общественно-политического строя центральной России. Находясь на чужбине, он сначала сроднился с ней «душой и телом», почувствовал себя ее «нераздельным родственным членом». Внешняя привлекательность новой обстановки, возникшее желание наслаждаться «жизнью образованного европейца» временно отодвигают в его сознании думы о родине и соотечественниках. Но со временем, ближе присмотревшись к прельщавшим его вещам и поняв их истинный смысл, он познает и горечь разочарования. Такая перемена вызвана тем, что он стал замечать теневые стороны самодержавной России. Первобытная грубость в отношениях между людьми, ничем не ограниченный произвол помещиков, бесправное положение крестьян — все это в известной степени рушило иллюзии героя [29] о цивилизованной России, культура которой лежит в основе его просветительской практики.

В своих рассуждениях о состоянии адыгского крестьянства герой, вспоминая о социальном положении крестьян в центральной России, с возмущением отмечает, что русские помещики заняты «систематическим попиранием человеческого достоинства». Примечательно и заявление, что «истинному уважению человека» он научился не в России, где провел большую половину жизни, а в родном ауле, в кругу своих соотечественников. Здесь со своим слугой он говорит «на полтона ниже», чем с денщиком в России. Классовое неравенство, крайняя забитость и задавленность крестьян, по мнению героя, в центральной России проявляется значительно резче, чем в кругу его родного общества. Отсюда герой отдает предпочтение бытовому укладу горцев, хотя и сознает, что и здесь далеко не все благополучно.

Таким образом, герой Кешева от критики социальных противоречий адыгского общества поднимается до понимания несовершенства существующего в России общественного строя. А в связи с этим его тревожат происходящие на родине социальные процессы, губительно сказывающиеся на нравственности его народа. «Есть о чем сожалеть, есть о чем призадуматься,— с болью в сердце замечает он,— грустно, тяжело становится на душе, когда думаю о братьях. Низость, продажность, обман — все это губительно развивается среди народа, который когда-то не был чужд рыцарских правил и чтит имена предков» [18, с. 87].

Критическое отношение к действительности приводит героя к обращению к «богатырскому веку», когда, как он считает, о человеке судили не по его богатству, а по личным качествам и поступкам. «Богатство ничтожно, оно как роса, что пропадает с

первыми лучами солнца. Будь ты достойный человек, будет и богатство и честь, а будешь негодный,— и с богатством ничего не сделаешь» [18, ст. 74] —таков был нравственный кодекс, которым руководствовались предки и о котором позабыло нынешнее поколение. Однако обозначенные в этих рассуждениях ретроспективные настроения героя относительны и служат лишь средством разоблачения отрицательных явлений современной ему действительности. Он далек от безоговорочного воспевания феодальной старины, мешавшей прогрессивному развитию его народа, в борьбе с которой он видел основную миссию своей жизни. Всеми своими помыслами он обращен не в прошлое, а в будущее. Констатируя истинное положение дел на родине, он раздумывает о ее дальнейшей судьбе, а на заданный им же вопрос «есть ли верные залогов на лучшее будущее?» отвечает утвердительно. В частности, он считает, что для этого необходимо широко поставленное просвещение, которое должны нести в массы народа образованные [30] горцы. Другим важным толчком в преобразовании быта горцев герой считает всемерное развитие торговли. Во-первых, как думает герой, торговля изгонит из головы черкеса «беспокойные, отжившие понятия, вызовет в нем дух предприимчивости, сметливости и все то, что до сих пор сокрыто в его богато одаренной натуре, введет в его семейный быт не известные доселе удобства, изменит к лучшему семейные и общественные отношения». Во-вторых, торговля будет способствовать тесному общению и дружбе между народами, взаимному культурному обогащению [18, с. 66].

История героя Кешева отдельными деталями напоминает жизненные вехи самого писателя и в этом отношении интересна для изучения его мировоззренческих позиций, сути его социальных и идейных исканий. Достаточно отметить хотя бы внешние биографические совпадения; подобно Кешеву, герой его учился в Петербурге (правда, в кадетском корпусе, т. е. там, где до открытия Ставропольской гимназии обучались горцы), так же, как и Кешев, он покинул службу (на самом деле — университет) в Петербурге после каких-то «тягостных разочарований и болезненных потрясений». Впрочем, герой несколько поясняет причину своей неудачной службы в России. «Мало-мальски образованный черкес,— говорит он,— должен быть и есть на самом деле во сто крат более черкес, чем простой собрат его. Вот простая разгадка того, почему так грустно закончилась моя карьера в России, не оправдав ни одной моей надежды» [18, с. 212]. И в этом заявлении слышны отзвуки причин, заставивших Кешева покинуть Петербургский университет.

Разумеется, отыскивая общее, нельзя исходить из убеждения о полном тождестве писателя и его героя, ибо если в истории последнего отражены вообще слабые стороны просветительского движения у адыгов, то Кешев осуждал беспомощность и пассивность горской образованной интеллигенции и тем самым звал ее к энергичной борьбе за преобразование своего края. Но несомненно и то, что Кешев в пору создания литературно-художественных произведений (а это было в самый канун отмены крепостного права) возлагал свои надежды на правительственные реформы и просветительские меры, которые должны были бы преобразовать общественный быт и строй адыгов. И только после событий 1861 г., за период своей кратковременной редакторско-публицистической деятельности, он, поняв, как несовместимы его идеалы с после-реформенной действительностью, выразил свою неудовлетворенность и разочарование в этих надеждах.

В творчестве Кешева нашла отражение и другая проблема, волновавшая просветителей, —историческая судьба адыгов.

Глубоко понимая роль России в судьбах кавказских горцев, он пропагандирует тесное сближение адыгов с русскими, с [31] передовыми традициями их культуры. Он показывает, как складываются мирные, добрососедские отношения его соотечественников

с русскими. Хотя горцы все еще находятся в плену прежних представлений, возникших в период Кавказской войны, они не могут не заметить пользы мирного общения с русским народом. Так, дядя героя, «как питомец старого поколения, питал непримиримую вражду к русским, но никогда ни словом, ни делом не обнаруживал этого нерасположения. Умный, проницательный, он не мог не заметить благотворного во многих отношениях влияния русских» [18, с. 89].

Точно так же и Мата, как очевидец завоевательской и грабительской политики самодержавной России, с предубеждением относится к русским, но в то же время вынужден признать пользу дружбы с ними. Осуждая своих земляков, которые служат в русской армии лишь из корыстных соображений, он, обращаясь к герою, замечает: «Мой совет — уживайся с русскими, но не ради каких-либо наград, а ради своих же собратьев, которые очень, очень нуждаются в помощи и в хороших советах. Ведь чего путного было бы ждать от тебя, если бы ты остался навеки между нашими юношами. Пропал бы даром: ни я и никто другой не ставил бы тебя и в грош» [18, с. 161—162].

Особенно дружелюбно настроены к русским, расселившимся рядом с аулом, крестьяне. Когда один из них замечает: «Да у нас по крайней мере есть одно утешение, какого не имели предки наши: у нас теперь соседи — дети Ивановы», остальные поддержали его: «Уаллахи, ты истину сказал. Без них что бы с нами было? Русские во многом нам полезны. Что ни понадобится, бежим тотчас к ним» [18, с. 247—248]. Общение с русскими вносит коренные изменения в бытовые и семейные отношения адыгов, преобразует их нравы, обычаи. Эти изменения затрагивают в первую очередь крестьянскую среду. Жены «холмовников» «пристрастились к пестрым нарядам, резко изменилась их роль в семье». Если раньше главой семьи, который заботился о ее пропитании, был мужчина, а женщине отводилась второстепенная роль в семье, то теперь они вынуждены были поменяться ролями: вследствие того, что крестьянские жены ведут бойкую и прибыльную торговлю с русскими предметами своего домашнего труда, они начинают чувствовать свое главенствующее положение в семье и подвергать сомнению «безусловную власть своих мужей и даже решаются бесстрашно ополчаться на них».

Добрососедские отношения с русскими, правда не обходятся без отдельных инцидентов частного характера. С юмором передан эпизод столкновения адыга с русским, захватившим в аул с торговые ми целями. Наблюдающая за ними толпа не принимает сторону ни того, ни другого, пока каждый из них не переступает границы [32] норм поведения гостя и хозяина. Когда русский делает попытку ударить кнутом противника, назойливо требующего снизить цену на товар, в толпе происходит заметное волнение, заставляющее его отказаться от своего намерения; точно так же, когда юноша из аула собирается ответить русскому тем же, его останавливает та же толпа, напоминая ему об адыгском гостеприимстве.

Но подобные единичные случаи не мешают неумолимому ходу жизни, они не могут быть помехой мирному сближению адыгов и русских. Адыгские крестьяне устанавливают контакт с русскими не только посредством торговли, их взаимоотношения расширяются и укрепляются и другими путями: адыги нередко в поисках заработка нанимаются к русским, они не против поучиться полезному у «соседей Иваннычей» [18, с. 247].

Вместе с тем Кешев не упускает из виду и вредных явлений, возникающих в общественном быте адыгов, в связи с их проникновением из капитализирующейся России. Беспокойство по этому поводу, как известно, проявляет сам герой-рассказчик. О том же размышляют и другие персонажи. Так, Мата, переживший, по собственным понятиям, героическую молодость, наблюдая образ жизни земляков, охваченных корыстолюбием,

жадностью, приверженностью к презренному предками Бахусу, отдает предпочтение «прекрасной старине». В прошлом Мату привлекает простота и неиспорченность нравов, строгое соблюдение обычаев. Наблюдая же современную ему действительность, он приходит к выводу, что век героического миновал и настала бесславная эра в жизни когда-то высоконравственного народа. «Теперь ничего не получишь без услуг — век, можно сказать, базарный,— замечает он.— А не то было прежде. Бездомный человек, каков я, всю жизнь проводил в первой встречной сакле, ел, пил наравне с семейством и с него ничего не требовали» [18, с. 162]. Однако, восхваляя прошлое, Мата, перенесший в молодости немало жизненных невзгод именно из-за предрассудков старины, сознает и его несовершенство.

Таковы животрепещущие проблемы, поднимаемые писателем в его творчестве. В них отражены идейные искания адыгской интеллигенции, противоречия в их представлениях о настоящем и будущем их отечества. Всей логикой своих рассуждений Кешев приходит к выводу о кризисе старого феодального миропорядка и необходимости исторических перемен, ведущих к прогрессивному развитию его народа.

В принципах изображения Кешевым общественного быта и характера народа, в его изобразительной системе проявляется идейно-художественная концепция, основанная на реалистическом методе. Вслед за Белинским, Чернышевским и Добролюбовым просветитель рассматривает литературу как отражение современного состояния жизни, ее главных общественных интересов. Отсюда [33] его внимание обращено исключительно на существенные конфликты и тенденции современной ему действительности. И у него на первом плане не события, а их аналитическое осмысление. Кешев показывает типические для быта адыгов явления, конфликты, создает типические характеры в типических обстоятельствах. В соответствии с реалистическими принципами разрешается им и вопрос о взаимосвязи образа и прототипа литературного героя: рассказчик — биографический образ и одновременно обобщенный тип передового горца.

Главными элементами изображаемых писателем жизненных обстоятельств являются быт и нравы адыгов. Отсюда характерными типическими обстоятельствами становятся устаревшие в новое время нормы старого феодального миропорядка и миропонимания. В связи с этим изображается трагическая зависимость горца от традиционных обычаев, предрассудков. Мата, Назика, герой-повествователь, его возлюбленная — все они жертвы действующих у адыгов патриархально-феодальных устоев жизни и представлений. Тем самым он подчеркивает несуразность их существования, правомерность борьбы за их искоренение.

Другим важным элементом типических обстоятельств у Кешева является труд. В очерке «На холме» он показывает социальную основу нравственного превосходства занятых общественно полезным трудом крестьян над паразитирующим княжеско-дворянским сословием, утверждает, что удел живущих за счет чужого труда — деградация.

Обращает на себя внимание и то, как Кешев реализует выдвинутое реалистами учение о связи человека с условиями жизни. Социальный гнет, материальные недостатки крестьян подчеркиваются постоянными разговорами о неудобствах быта, скудости пропитания, ненавистью и презрением к праздноживущим дворянам, их внешним видом, их простого покроя и низкокачественной одеждой, неумением грациозно держаться на коне.

Необходимо отметить и такую черту реалистического почерка писателя, как стремление его героя к самоанализу, заинтересованность его в вопросах исторической и социальной судьбы отечества, прогрессивного развития своего народа на основах европейской

культуры и лучших национальных традиций.

Кешев владеет искусством построения композиции, создания индивидуализированных образов, драматических ситуаций. Разносторонне раскрывает он черты национального характера адыга, своеобразие его морально-этических представлений, психологически верно передает различные душевные состояния своих героев (Залиха, Назика, Мата и др.). Особенно большое внимание уделяется главному персонажу — рассказчику, раскрытию его [34] душевного мира. Настроения героев, мир их чувств логичны и естественны, лишены какой-либо аффектации.

Кешев хорошо чувствует и особенность очеркового описания. Умело, неназойливо и к месту вплетая в повествование этнографические зарисовки, раскрывающие характерные черты национального быта, он создает подлинную поэтическую этнографию адыгов [10]. В поле зрения писателя — адыгский этикет, свадебный обряд, обряд лечения больного, различные виды сельскохозяйственных работ и связанные с ними празднества, топография аула, убранство сакли, кунацкой, различные хозяйственные постройки, одежда, домашняя утварь и многое другое.

Повествовательная речь писателя приобретает различные оттенки в зависимости от характера описываемых событий. В основном строгий повествовательный тон становится то ироническим и саркастическим, когда речь идет о праздных дворянах, то грустна задумчивым, когда герой раздумывает о бедственном состоянии крестьянской массы или над настоящим и будущим мира, то задушевно-лирическим при воспоминании о былом счастье и увлечениях юности. Характерным является насыщенность языка образными сравнениями, часто развернутыми, понятиями и образами из античной истории и мифологии (филиппики, ареопаг, Солон, Марс, Аполлон, Геркулес, Бахус).

Примечательно также, что Кешев, пишущий на русском языке, сохраняет фразеологию родного языка, широко использует адыгские народные пословицы, поговорки, изречения (чтоб стал я искать невесту для поросенка «кхъуэ шырым фыз сыхуэлъыхъуэн»; расскажу завтра, это целая сказка «пцэдей бжес1жынц, ар таурыхъ к1ыхъщ»; дам отрезать себе нос «си пэр позгъэупщ1ынщ»; ради души своего отца «уи адэм и хъэтырк1э»; твои журавлиные ноги перебыю «уи къру лъакъуэр зэрызудынщ»; свиньи дети «кхъуэм къильхуа, кхъуэ бын»; не будь я сын своего отца «си адэ срикъуэкъым»; орел слетает на цыплят в открытом месте «бгъэр джэджейм щеуэр сэтейрщ»; несчастного и на верблюде собака укусит «насып уимы1эмэ, махъшэм утесми хъэ къодзакъэ» и мн. др.)

Последние годы жизни Кешев, как известно, отдает исключительно редакторской и публицистической деятельности. Эти стороны творчества писателя не менее существенны: они расширяют наши представления о его политических и гражданских позициях, роли и значении в просветительском движении горских народов.

Газета «Терские ведомости», первым редактором которой стал [35] Кешев, была учреждена с выделением Терской области из состава Ставропольской губернии. Она призвана была стать официальным печатным органом огромной области, занимаемой ныне тремя автономными республиками — Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и Чечено-Ингушетией; в нее входила часть Ставропольской губернии с городами Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Ессентуки, Железноводск, а также Хасавюртовский округ Дагестана.

Издание газеты было необходимо, «с одной стороны, для облегчения обнародования и распространения правительственных распоряжений, а с другой — для верного

истолкования интересов разноплеменного населения края, его прошедшей жизни и современного экономического, общественного быта». В соответствии с официальной установкой, она должна была состоять из следующих частей; в первом отделе предполагалось помещать «постановления и указания, общие для всей империи, распоряжения высшего на Кавказе и Закавказьем местного начальства и сверх того телеграфические донесения о важнейших политических событиях и правительственных мерах»; во втором — «статьи по истории, этнографии, географии, статистике, филологии племен и народов, населяющих область»; и, наконец, в третьем — «казенные и частные объявления» [38].

Приняв на себя трудную и ответственную должность редактора областной газеты, Кешев сумел поставить ее на большую высоту: такого подъема газета больше не знала в последующие этапы своей истории. Успех ее в значительной мере был обеспечен инициативой и энергией Кешева, его передовыми мировоззренческими позициями, налаженным им стилем и ритмом работы. Этому же в немалой степени содействовал и тот факт, что Кешеву удалось сгруппировать вокруг газеты передовую горскую интеллигенцию, в числе которой были кабардинцы Л. Кодзоков, К. Атажукин, осетины И. Тхостов, Г. Шанаев, А. Гассиев, Б. Гатиев, ингуши Ч. Ахриев, А. Г. Долгиев, кумык Х-ъ. Все они хорошо знали истинное положение и насущные проблемы своих народов, их историю, культуру и потребности. Естественно, их публикации придавали особую привлекательность газете, вызывая к ней живой интерес.

С первых же выпусков (январь 1868 г.) газета Кешева отличалась тематическим разнообразием и злободневностью публикуемых в ней статей, повышенным интересом к горской тематике, обилием материалов по истории и этнографии горцев. Вместе с тем она приняла и прогрессивное направление. Широко отображая общественную, экономическую и культурную жизнь области, она нередко поднималась до критики царской администрации, пропагандировала демократические идеи, защищала интересы трудового [36] народа, честь и достоинство горца [9, с. 208]. При этом особенностью стиля работы газеты было печатание материалов с примечаниями редакции, в которых выражалась ее точка зрения к публикуемому. Эти примечания, четко подчеркивая общественно-политические позиции «Терских ведомостей», характеризовали их как печатный орган, отстаивающий интересы горских народов. Своеобразным рупором идейных позиций редакции газеты служил и введенный Кешевым отдел «Библиография», в котором помещались сообщения о новинках кавказоведческой литературы. В библиографических же обзорах литературы о горцах поднимались вопросы тяжелого экономического положения трудящихся масс, просвещения и образования горцев, высказывались смелые мысли, направленные против репрессивного режима царизма, угнетения трудового народа.

В годы редакторства Кешева «Терские ведомости» значительное внимание уделяли освобождению крестьян от крепостной зависимости и земельной реформе. Не имея возможности свободно дискутировать по этим вопросам, редакция, однако, особым отбором статей отображала противоречия правительственных реформ, их грабительский характер («Отбывание денежной и трудовой повинности туземцами Терской области», «Краткий исторический обзор земельного вопроса в Кумыкском округе Терской области», «Освобождение крестьян в туземном населении Терской области» и др.). Неудовлетворенность правительственными нововведениями проявлялась и в самом материале, а также в других, посвященных хозяйственно-экономической и культурной жизни края. И тут и там содержалось немало как бы вскользь брошенных замечаний об «озабоченности народа о своем существовании».

Большое место отводилось проблемам просвещения. Газета систематически информировала читателей о работе горских школ, публичных библиотек. Она проявила горячую заинтересованность в деятельности Кази Атажукина, предоставив ему возможность не только выступить со статьей, в которой обосновывалась идея введения кабардинской письменности и перевода деловой переписки на тот же язык, но и дискутировать в течение полугода с царским русификатором Т. Макаровым. Газета Кешева вела борьбу против превратного представления о горцах, будто бы они не стремятся к образованию и довольствуются состоянием темноты и невежества. Доказывая совершенно обратное, газета обращала внимание на неудовлетворительность существующих условий для «одержимых жаждой знаний горцев», при которых «едва ли сами Уайты, Стивенсоны и Аркрайты могли бы что-то сделать» [39]. Рассуждая об образовании горцев, она делала смелые заключения и заявляла, что оно возможно только при улучшении материального [37] благосостояния народа, «до тех же пор, пока длится борьба за насущное пропитание, нет места образованию» [40].

Широко освещались в газете быт и нравы горцев области: П. С. Петухов. «Этнографические заметки»; И. Тхостов. «Верования осетин», «Знахари и знахарство в Осетии», «Из заметок о тагаурцах»; А. Гасиев. «Осетины, древнейший их культ и позднейший религиозный индеферентизм»; Б. Гатиев. «Суеверия и предрассудки осетин»; Н. Грабовский. «Беглые заметки о поездке в Урус-бий», «Кабардинский анекдот о ревнивых мужьях»; И. Попов. «Кое-что из жизни ичкеринцев»; П. Головинский. «Чеченцы»; Ч. Ахриев. «О характере ингушей», «Об ингушских женщинах», «Этнографический очерк ингушского народа»; кумык князь Х-ъ. «Баранта», и мн. др. Именно к таким материалам написана большая часть упомянутых редакторских примечаний. В них газета остро реагировала на искаженное представление о бытовом укладе горцев, их нравах и обычаях. Так, к статье «Из Таш-Кичу» П. Малиновского, отметившего часто наблюдавшиеся, по его словам, у горцев убийства, редакция сочла необходимым сделать следующее пояснение: «В глазах людей, мало знакомых с прошлым строем горской жизни, это обилие преступлений служит, естественно, дурной рекомендацией нравственного характера горцев, между тем как в сущности оно указывает только на существование у горцев в первобытной форме тех понятий о чести и личном достоинстве, которые породили в Европе дуэли» [41].

А когда И. Семенов в статье «День в ауле» называет горский обычай повиновения старшим рабским, редакция реагирует на это следующим образом: «Патриархальные отношения членов семьи, а также уважение к старшим, свойственное всем народам; на известной ступени развития, нельзя назвать рабским уже потому, что они совершенно добровольные, а не вынужденные» [42]. Но, пожалуй, самую резкую отповедь получает Н. Львов, автор статьи «Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев аварского племени», который, чтобы подчеркнуть «дикость» горцев, поведал о том, как для переноски поклажи аварцы предоставили ему в качестве носильщиков двух женщин. В ответ на грубую фальсификацию редакция пишет: «Нам кажется, что в этом случае г. Львову, как европейскому джентльмену, следовало бы отказаться от дагестанского способа переноски тяжестей и тем наглядно показать дикарям, как возмутителен в глазах развитого человека их обычай. А то что же выходит? Человек выставляет на позорище дикий обычай, а сам пользуется им без всякого колебания, когда представилась в этом надобность. Такое противоречие между словом и делом более непростительно в европейце, что даже между кавказскими горами, например, адыгского и абхазского племени едва ли нашелся бы человек, который [38] позволил бы взвалить на спину женщины свою дорожную поклажу. По крайней мере нам положительно известно, что у этих племен никогда не допускали женщин, даже из сословия унауток (служанок) до тяжелого физического труда. Подобный рыцарский взгляд на женщину являлся у этих

племен не чем-либо исключительным, а проникал во все стороны их жизни» [43].

Редакция критиковала и тех, кто пытался принизить историю и культуру горцев. Так, она решительно отвергла мнение, будто бы горцы в прошлом не знали вообще никакой письменности. Ссылаясь на статью А. Омарова «Воспоминания муталима», она отмечала: «Привыкнув смотреть на горцев как на дикарей, до сих пор не обращали должного внимания на существующую у них арабскую грамотность, на степень ее распространения, влияния на умы» [44]. Возражение вызывали у редакции и высказывания отдельных кавказоведов, будто бы горцы в прошлом не имели какой-либо государственной организованности. Обращаясь к статье «Низам Шамиля», опубликованной в «Сборнике сведений о кавказских горцах» (вып. 3), в которой рассматривалась организационная структура имамата Шамиля, редакция указывала на конкретные признаки в нем государственного строя. «Горцы,— заключала редакция,— поступили в число русских граждан не совсем дикарями, а людьми, горьким опытом убежденными в необходимости прочного общественного спокойствия» [43].

Интересно также отметить и постановку социальных проблем, связанных с положением горской бедноты. В обзоре статьи Н. Грабовского «Экономическое положение бывших зависимых сословий Кабардинского округа» редакция, опровергая мнение автора, будто бы причиной их низкого материального уровня является неумение и нежелание заниматься хозяйством, объясняла угнетенное состояние трудовых горцев имущественным неравенством, эксплуатацией. «По большей части люди бы и рады трудиться,— отмечала редакция,— да на каждом шагу встречаются им непреодолимые преграды то в виде сложившегося веками подавляющего неравенства в пользовании различного рода вещественными и невещественными благами, то в виде сетей, хитро расставленных насилием и плутовством для эксплуатации простодушной массы» (выделено нами.— Р. Х.) [45].

Таким образом, в годы редакторства Кешева газета приобрела прогрессивно-демократическое направление. В дальнейшем, после смерти Кешева, введенные им замечательные традиции были утрачены. Все меньше стало появляться статей на горскую тематику, все меньше печаталось остросоциальных материалов, упразднен был и библиографический отдел. Она, как верно отметила Л. Голубева, по существу, превратилась в вестник правительственных постановлений, статистических данных и различных [39] происшествий; в то же время она нередко занимала и реакционные позиции в вопросах как общеполитических, так и национальных [9, с. 213].

Исследователи, касаясь редакторской и публицистической деятельности Кешева, приходят к единодушному мнению, что именно он является автором вышеупомянутых редакционных примечаний, библиографических обзоров, ряда статей и одного очерка на тему адыгской истории, фольклора и быта. Доказательством принадлежности ему первых двух материалов служит следующий факт. Заметно, что они присутствуют только в номерах, подписанных Кешевым, и их нет более чем в 30 номерах, подписанных К. Атажукиным, А. Г. Долгиевым и Володарским, во время отсутствия Кешева. В пользу авторства Кешева свидетельствует и то обстоятельство, что после его смерти библиографический отдел вообще перестал существовать.

Что же касается статей и очерка, то здесь дело обстоит следующим образом. В «Терских ведомостях» за время редакторства Кешева без подписи были опубликованы три статьи: «История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев Шора Бекмурзин Ногмовым» [46], «Характер адыгских песен» [47], «О незаметном вымирании горских песен и преданий» [48] и очерк «Из кабардинских (адыгских) преданий» [49]. Т. Х.

Кумыков, разбирая первую статью, считает показательным присутствие в ней¹ абазинских материалов, а поскольку, мол, Кешев абазинец, то эта статья принадлежит ему. Кроме того, Кумыков исходит и из предположения, что только редактор мог позволить себе публикацию такой обширной статьи; подписаться же, говорит исследователь, ему было неудобно [12, с. 365-366]. Остановившись на той же статье, Л. Голубева ссылается также на присутствующие в ней: абазинские материалы. Касаясь же статьи «Характер адыгских песен», в которой отмечает тщательно продуманную систему, знание закономерностей развития устного народного творчества, она утверждает, что ее автором мог быть только Кешев, поскольку, мол, еще в бытность учащимся Ставропольской гимназии он участвовал в сборе горского фольклора по научной программе, составленной Ф. В. Юхотниковым, т. е. был знаком с принципами научного сбора и анализа фольклорного материала [9, с. 208, 211].

Однако в системе доказательств Т. Х. Кумыкова и Л. Г. Голубевой относительно статьи «История адыгейского народа...» недостаточно убедительной представляется ссылка на «абазинские материалы». Это всего лишь комментирование одного эпизода, когда автор, не соглашаясь с мнением Ногмова, будто бы абазинцы платили дань кабардинцам, приводит кабардинскую поговорку «абазэрэ мээ джэдрэ» (абазинец что фазан) т. е. абазинец [40] изворотлив, неуловим. Однако этот пример можно рассматривать не только «как чувство личной обиды автора за абазинский народ, за принижение его истории» [9, с. 208], но и как обычный, известный автору факт, переданный им без какого-либо смыслового истолкования.

Недостаточно вески и доводы Голубевой относительно статьи «Характер адыгских песен», когда авторство Кешева основывается лишь на утверждении, будто только он был знаком с методами научного сбора и исследования фольклора. Известно, что и соученик Кешева Кази Атажукин также участвовал в фольклорных экспедициях, организуемых в Ставропольской гимназии, и впоследствии занимался сбором и публикацией родного фольклора, причем с научным комментарием.

Вместе с тем замечания не снимают правоты убеждений исследователей в авторстве Кешева относительно разбираемых статей, а свидетельствуют о необходимости более веских аргументов. Прежде всего совершенно очевидно авторство адыга. В них чувствуется великолепное знание автором кабардинского, абадзехского, шапсугского и других адыгских наречий с мельчайшими подробностями истории, общественного строя, нравов и обычаев адыгских племен, их родного фольклора. Кроме того, в них содержится и ряд других указаний на происхождение автора. В статье «О незаметном вымирании горских песен и преданий» автор, указывая на неудовлетворительное состояние работы по сбору и публикации фольклора горцев, с обидой говорит о периодических изданиях, которым «нет никакой надобности изучать быт каких-нибудь горцев».

Тот же упрек он адресует и русской литературе, которая, как ему кажется, «в последнее время перестала заниматься кавказскими горцами, вероятно, полагая дело их порешенным навсегда».

Непосредственно же в пользу авторства Кешева свидетельствуют следующие факты. Л. Кодзоков и К. Атажукин, т. е. сотрудничавшие в газете адыги и возможные авторы этих статей, всегда подписывали свои работы, и только Кешев, редактор, не ставил имени под своими публикациями, поскольку и без этого было ясно, кому они принадлежали. По-видимому, в газете действительно существовала традиция, когда редактор не подписывал своих статей, потому-то в ней нет ни одной статьи под именем Кешева. В авторстве Кешева убеждают и совпадения, обнаруживаемые при сопоставлении указанных статей с

его художественными произведениями. Здесь мы находим одинаково звучащие рассуждения по одним и тем же вопросам. Таковы рассуждения о героическом периоде в истории адыгов и об извращении в настоящем рыцарских понятий древнего черкесского наездничества (ср.: «Характер адыгских песен» и рассказ «Два месяца в ауле», повесть [41] «Абреки»); рассуждения о занятиях черкесского дворянина (ср.: замечание в статье «Характер адыгских песен» о том, что «черкесский дворянин привык издавна ценить выше всего па свете коня и винтовку, считая для себя унижительным заниматься какой-либо работой по хозяйству», и аналогичные замечания в рассказе «Два месяца в ауле» и очерке «На холме»). А в статье «Из кабардинских (адыгских) преданий» излагается в литературной обработке предание, послужившее ранее сюжетной канвой рассказа «Чучело» (см. ниже).

«История адыгейского народа, составленная по преданиям Шора Бекмурзин Ногмовым», — первая, по существу, рецензия на труд кабардинского историка. В ней Кешев обстоятельно выявляет его достоинства и недостатки, проявляя великолепные познания в сочинениях древних историков и кавказоведческой литературе, истории и культуре адыгов, лексике, фразеологии различных адыгских наречий.

Кешев отдает должное подвижничеству Ногмова, взявшего на себя огромный труд написать историю своего народа. Он подчеркивает, что «сочинение Ногмова — первая попытка систематического изложения уцелевших в народной памяти преданий о минувших судьбах адыгейского племени», «первая связная история одного из главнейших племен Кавказа». Он считает своим святым долгом писать об этом забытом к его времени труде Ногмова. Нисколько не принижая его историко-познавательного значения, Кешев, однако, главное внимание уделяет его недостаткам.

Замечания Кешева сводятся в основном к двум положениям: во-первых, последний считает, что Ногмов недостаточно критически подходит к преданиям, песням и прочим материалам, на основе которых построена его «История...». Не отрицая важного значения этих «живых источников», он, однако, считает, что «пользоваться ими нужно с большой осторожностью». Для того чтобы обнаружить подлинное содержание предания или песни, он считает необходимым сличение всех их многочисленных вариантов. Во-вторых, он обращает внимание на неправильную запись адыгских слов и выражений, а также на искаженный их перевод. Он считает это досадным недостатком, потому что в них-то, в этих словах и выражениях, и заключена «вся сила выводов и догадок автора». Но тут он не знает, кого винить: автора, наборщика или же «способ изображения адыгских слов русскими буквами».

Кешев не соглашается с рядом этимологических объяснений Ногмова, служащих ему для научных выводов: в частности, он против производства слова «зихи» от «цуг» (цыху), «адыге» от «ант», «нарт» от «нарт-ант». Он опровергает мнение Ногмова об антском происхождении адыгов, высказывает свою гипотезу о нартах, сообщает интересные факты из истории адыгов, их [42] взаимоотношений с другими народами. Хотя статья Кешева, в свою очередь, не лишена субъективизма в истолковании отдельных исторических фактов (например, кого следует разуметь под зихами, трактовка выражения татартуп-пенжесен, названия Бургусан, Кабартай и пр.), но она содержит немало ценного, интересного; дает представление об историческом прошлом адыгов, характеризует Кешева как историка.

В статье «Характер адыгских песен» Кешев предстает уже как фольклорист. Всесторонне характеризуя типологию адыгской песни, Кешев высказывает оригинальные научные соображения, многие из которых не утратили теоретического значения и до сих пор.

Бесспорным достоинством статьи является тот факт, что исследователь рассматривает песню не абстрактно, а связывает ее с особенностями исторического развития народа; что в ней конкретно сказано о преимуществах песни перед другими жанрами фольклора, о ее типических чертах, ее историческом значении и общественных функциях; что в ней дана классификация песен, обстоятельная характеристика джегуако—народных певцов-сочинителей и, наконец, что в ней исследование поэтики адыгской песни ведется в сопоставлении с песнями других народов.

Кешев считает песню именно тем жанром, в котором наиболее полно и верно отображены отличительные свойства народного характера. Наиболее отвечающей этой формулировке он считает именно адыгскую песню. В ней, по словам Кешева, так «ярко и осязательно запечатлены черты национального духа, что если бы у адыгов не осталось для потомства никаких других следов, кроме их песни, то и по ней одной можно бы составить определенное понятие о жизни и деятельности этого племени». По его словам, она менее подвергалась искажению, нежели песни других народов. В этом он исходит из, ее двух существенных отличий, делающих ее легкозапоминающейся: во-первых, из краткой выразительности ее стиха; во-вторых, из особого рода рифмы — аллитерации.

Песню он рассматривает не только как источник для воссоздания исторического прошлого народа., он говорит и о ее общественном воздействии, когда она служит школой воспитания, источником «воинственного энтузиазма». Ее могучая вдохновляющая сила особенно подчеркивается следующим эпизодом. Когда отряд кабардинских наездников, неожиданно атакованный превосходящими силами противника, пришел в расстройство и перестал подчиняться влиятельным предводителям, присутствующему в отряде джегуако пришла мысль пропеть известную героическую песню «Кашкатау». Она воодушевила упавших духом наездников и помогла им смять нападавшего неприятеля.

Много ценного содержат сообщения Кешева о джегуако; они дополняют данные, содержащиеся в трудах Ш. Ногмова и [43] Хан-гирея. Но, что особенно важно, Кешев обращает внимание на классовый характер деятельности джегуако. Он отмечает, что в старину влиятельные князья и дворяне приглашали к своему двору джегуако и те «слагали иногда свои рапсодии, так сказать, по найму». Но, продолжает он, «встречались между ними и такие, которым могли бы позавидовать в сознании своего достоинства и неподкупности своего дара многие из поэтов образованных наций». Ценным в сообщениях автора о джегуако является то, что они подкрепляются конкретными примерами, например, об абадзехском джегуако Цее, прославившемся сатирической песней на наиба Шамиля Магомед-Эмина. Интересны также наблюдения Кешева о трансформации джегуако, превращающихся со временем «из рыцарей-трубадуров... в странствующих жонглеров», а также о сочинительской манере джегуако, в частности Цея.

Однако если эти сообщения, высказывания, рассуждения заслуживают внимания и не вызывают каких-либо сомнений или возражений, несколько односторонним представляется мнение Кешева о характере адыгской песни, а в связи с этим и о ее отличительных чертах.

Согласно предложенной Кешевым классификации, адыгские песни разделяются на героические, свадебные, плясовые и колыбельные (каждый из перечисленных видов подразделяется еще на отделы и соответственно характеризуется). Однако деление песни на эти виды он считает формальным, поскольку признает в них доминирующим героическое содержание. «В сущности,— резюмирует он, — все черкесские песни проникнуты одним и тем же духом и различаются чисто внешним образом: по месту, где они произносятся, и по поводу, их вызвавшему». Резко выраженное героическое начало

Кешев и считает характерной особенностью адыгской песни, отличающей ее от песен других народов. Героическое же начало, продолжает Кешев, фундаментально заложенное в основу адыгской песни, привело к тому, что она не отображала других сторон народной жизни, ибо отворачивалась в «гордом презрении ко всему, что не подходило под неизменный идеал наездника-героя». Вместе с тем именно поэтому, по его словам, «она сохранила неизменной свою первоначальную эпическую форму, а не сделалась лирической, сатирической, эротической, обрядовой или бытовой». Причину же преобладания героического содержания в адыгской песне Кешев видит в «слишком одностороннем развитии воинственно-аристократического духа адыгов». Согласно теории Кешева, в далеком прошлом кавказские горцы в силу особых условий существования и географического положения имели военно-республиканский строй и отличались сильно развитым воинственным духом. Однако, продолжает он, если другие кавказские племена остановились на стадии обыкновенного военного [44] общества, «адыги развили свои воинственные наклонности до идеальной тонкости, до настоящей виртуозности, воплотили принцип военно-аристократических свободных учреждений в живые привлекательные формы и возвели их в целую стройную систему». Рыцарский же неписанный устав, обычаи и правила поведения предопределили характер политической, общественной и бытовой жизни адыгов. И наконец, в силу исключительной развитости рыцарского духа, заключает он, адыгская песня и стала «поэзией наездничества, панегириком доблестных мужей, прославившихся между адыгами в различные эпохи исторического существования».

С позиций признания приоритета героического в адыгской песне Кешев и рассматривает ее особенности. Он считает, что поскольку песня на все, что не касалось ее главной темы, смотрела как на «врожденные слабости человеческой природы», то в ней «внутренний мир, нежные ощущения сердца не нашли достаточного отголоска».

Слабо отображенным в ней он считает и народное мирозерцание, т. е. практическую философию и житейскую мудрость. Причину этого он связывает с рыцарским правилом: «Кто раздумывает о последствиях, тот не храбр». Отсюда, заключает он, герои песен не рассуждают, а действуют.

Отрывочно отображенными в песне представляются автору также семейный и общественный быт, сословные отношения, обычаи и нравы.

Однако в этой констатации не все стройно и логично. Во-первых, Кешев односторонне характеризует прошлое народа, опираясь исключительно лишь на военную историю и военный быт. Во-вторых, он не говорит о классовой природе рыцарства со всеми ее типическими чертами. В центре его внимания некий этический идеал, приписываемый рыцарству. Связывая же песню исключительно с рыцарским бытом, в котором на первый план выступает рыцарский идеал чести и доблести, Кешев характеризует ее односторонне. Правда, в понятие «наездническая поэзия» он вкладывает не только рыцарский идеал, но и борьбу за общенародные и общенациональные интересы, но эта сторона песни освещена слабо.

Кешев, безусловно, прав в своих рассуждениях о значительной развитости героической песни. Она действительно интенсивнее воздействовала на другие виды песенного творчества, чем последние — на нее. Речь идет о доминанте, а ею Кешев верно считает героическую песню. Но слишком уж он преувеличивает ее роль в ущерб лирическим, трудовым, бытовым, и другим разновидностям адыгского песенного фольклора.

Статья Кешева—одна из первых серьезных работ по адыгской фольклористике после

главы из «Записок о Черкесии» [45] Хан-Гирея, посвященной песенному творчеству [33, с. ПО—115]. Несмотря на отмеченные недостатки, статья отличается глубиной анализа, оригинальностью трактовки отдельных вопросов, методологией научного исследования.

Кешев придавал важное значение сбору и публикации родного фольклора. Неподдельной тревогой за его судьбу проникнута следующая его статья — «О незаметном вымирании горских песен». В ней он говорит о неудовлетворительном уровне работы по изучению исторического прошлого и культурного наследия горцев и призывает обратить на это самое серьезное внимание. В связи с этим он упрекает русскую периодическую печать и русскую литературу в том, что они якобы безразличны к горцам. Конечно, в историко-литературной перспективе этот упрек нельзя признать справедливым. Горцы, как известно, привлекали пристальное внимание русских писателей; их быт, нравы, духовная культура стали предметом исследования русских историков; материалы о горцах печатались в различных столичных журналах и газетах. Но тут следует учитывать то, какими историческими фактами был вызван упрек Кешева, какова была их целенаправленность. Пафос этого упрека сродни сетованиям В. Г. Белинского в «Литературных мечтаниях», призывавшего к более активному вторжению в жизнь. Он был вызван желанием усилить внимание и интерес к горцам, их исторической судьбе, духовной культуре.

Кешев верно указывает, что со сбором историко-этнографических сведений и фольклора горцев нельзя медлить, поскольку--в новых исторических условиях они начинают стираться в памяти народной. Он связывает это с разрушением цельности племенного существования, преобразованиями в быте горцев, переселением некоторой части в Турцию и с озабоченностью оставшихся вопросами своего существования. С горечью сетует он, как мало сделано в деле изучения прошлого горцев, как трудно приходится отдельным энтузиастам, посвятившим себя этому благородному делу. Единственным изданием для них, отмечает он, является «Сборник сведений о кавказских горцах», но последний ограничивается печатанием лишь того, что поступает со стороны, и не посылает сведущих людей для собирания материалов на местах, снабдив их надлежащими инструкциями, как и что записывать. При таком положении вещей, считает Кешев, «Терские ведомости» должны явиться именно тем органом, который может организовать целенаправленную работу в этой области. Обращаясь ко всем, кто готов «принести пользу ближнему», он от имени редакции обещает всемерную помощь, выражает уверенность, что и областное начальство будет содействовать этому важному делу.

Как известно, начинание Кешева не осталось без последствий: за короткий период его редакторства газета по части публикации [46] краеведческого материала сделала гораздо больше, нежели за последующие годы.

Еще учащимся Ставропольской гимназии Кешев собирал адыгский фольклор. Одно из записанных им преданий послужило сюжетной канвой рассказа «Чучело», опубликованного в 1860 г. Это же предание в его литературной обработке пересказывается и в очерке «Из кабардинских (адыгских) преданий». О единстве сюжетной линии рассказа «Чучело» и предания, изложенного в очерке, и, следовательно, о едином их авторе свидетельствуют следующие совпадения:

1. В предании: «Заботливые аталыки и окружающие дворяне-вассалы, как водится, женили молодого своего владельца...»

В рассказе: «Приближенные Айтека чуть ли не каждую минуту твердили ему, что ему нужна хозяйка».

2. В предании: «Дни и ночи просиживал он [князь] безвыходно в своей кунацкой, почти ничего не ел и неохотно принимал посетителей».

В рассказе: «Под влиянием ревностных помыслов старый князь стал чаще сидеть дома, почти отказался от военных предприятий».

Совпадают и действия князей: и тот и другой в слепой ревности убивают ни в чем не повинного юношу, принятого за соперника; совпадает и придуманная ими пытка, которой подвергается заподозренная в измене жена. И в очерке, и в рассказе много одних и тех же этнографических сведений, в частности обращает внимание описание и там и тут семейно-брачных обрядов и обычаев, домашней утвари. Интересно отметить и совпадение приема повествования: в обоих случаях мы сначала узнаем о случившемся, а затем о его причине. Стиль литературной обработки также весьма напоминает почерк Кешева-рассказчика. Разница лишь в том, что в очерке князь, убедившись в ложности своих подозрений, примиряется с женой, а в рассказе предание драматизируется и имеет трагическую развязку.

Но тут дело вот в чем. Предание в его оригинальной форме подается как пример некоторых черт национального быта; в рассказе же, посвященном положению женщины в адыгском обществе, оно в авторской интерпретации заведомо приобретает трагический характер.

Очерк Кешева привлек внимание редактора «Сборника сведений о Терской области», перепечатавшего его со следующим примечанием: «В «Терских ведомостях» за прошлые годы, кроме настоящей статьи, мы, к сожалению, не нашли никаких статей и заметок, касающихся оригинальной бытовой жизни кабардинского населения» [49, с. 304].

Таковы статьи Кешева, опубликованные им за период работы в «Терских ведомостях». Они отмечены любовью писателя к [47] своему народу, хорошим знанием его жизни, истории и фольклора; они, как и его художественные произведения, являются ценными памятниками, имеющими познавательное и эстетическое значение.

Подводя итог литературной и редакторско-публицистической деятельности Кешева, следует сказать следующее. Творчество Кешева — одно из самых значительных явлений в просветительской литературе. Оно отмечено широтой поставленных в нем общественных проблем, глубиной изображения национального быта и характера, социальной зоркостью и высокой степенью обобщенности жизненного материала, более последовательно выраженным демократизмом и народностью. Кешев впервые выдвинул на передний план трудовой народ, воспел его нравственный облик, показал истинное лицо феодального класса, его никчемность, вырождение, заговорил о бесправном положении адыгской женщины. В его произведениях наиболее глубоко и последовательно вскрыты причины, тормозившие экономическое и культурное развитие народа, показаны свободолюбивые настроения крестьян, самосознание передовой интеллигенции. Кешев решительнее других своих современников подошел к обличению феодальных порядков и отношений, нагляднее показал несовместимость старого патриархального уклада жизни с духом нового времени. Обобщая в художественных произведениях картину социально-общественного быта адыгов накануне реформ 60-х годов, он пришел к выводу о неизбежности краха феодализма. Вместе с тем историческое чутье подсказало ему антигуманную суть буржуазного процесса, которым была охвачена Россия и который начинал проникать на ее окраины.

Кешев был первым редактором официального органа печати большой области. Он был в числе зачинателей адыгской журналистики. Редактируемая им газета в трудных условиях послереформенной поры утвердилась на позициях демократического просветительства [9, с. 200]. Успех газеты и ее направление во многом были обусловлены гражданским мужеством и общественно-политическими позициями Кешева — просветителя-демократа. «Терские ведомости» при нем стали подлинной общественной трибуной передовой горской интеллигенции. Газета всесторонне отражала действительность, национальный быт и культуру горцев Северного Кавказа. Редакторско-публицистическая деятельность Кешева была проявлением идеологической борьбы передовой горской интеллигенции против социального и национального гнета, за рост материального благосостояния и культуры горских народов.

Воззрения Кешева во многом соприкасались с идеологией революционных демократов. Он разоблачал феодально- [48] крепостнический строй, видел в нем основную причину отсталости народа, указывал на «нужду и голод» как на причины борьбы угнетенных против угнетателей (Добролюбов). Однако Кешев не поднялся до идей радикального просветительства, провозглашенных вождями революционной демократии Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым. Это было обусловлено объективными причинами. «Новые силы прогрессивно-демократической литературе, — отмечает Г. Н. Пospelов, — придавала большая, группа молодых писателей, только начинавших свой творческий путь в обстановке предреформенной идейной борьбы, объединившихся вокруг передовых журналов и творчески примыкавших в той или иной форме к Некрасову или Щедрину. Все они усваивали прогрессивные литературно-художественные принципы 40-х годов, те принципы, которые вслед за Белинским продолжали разрабатывать Чернышевский и Добролюбов. Но они обнаруживали большие различия в уровне своего демократического миропонимания. Многие из этих писателей входили в литературу, выбиваясь из социальных низов, или были связаны по происхождению с привилегированными слоями и не могли в своем идейном развитии быстро подняться до революционно-демократического просветительского миропонимания» [50, с. 277—278].

Подобное состояние идейных исканий переживал и Адыль-Гирей Кешев, что ярко отразилось в его художественных произведениях а особенно в его редакторско-публицистической деятельности. Логика развития его мировоззренческих взглядов свидетельствует о том, что он должен был полностью перейти на позиции революционных демократов, если бы не смерть, наступившая в 1872 г. Творчество Кешева, отмеченное глубоким социальным содержанием и прогрессивным звучанием, знаменовало качественно новый этап в адыгской просветительской литературе.

Р. Х. Хаихожева

ЗАПИСКИ ЧЕРКЕСА

Я старался в заметках моих избегать всего, что выходит из повседневного быта черкесов, — боясь обвинения в умышленном эффекте. Я желал бы представить черкеса не на коне и не в драматических положениях (как его представляли прежде), а у домашнего очага, со всей его человеческой стороною... Современное состояние Кавказа породило значительный круг людей, которые отбились от родной почвы, а к чужой не пристали. Поверхностное полуобразование ставит их во враждебное отношение ко всему окружающему, разрушает веру в достоинство старых обычаев, но не дает им достаточно сил для успешной борьбы с действительным злом. Это живейшая струна нашей

современности... (Из частного письма Адыль-Гирея Кешева издателю журнала «Библиотека для чтения» А. В. Дружинину. Слова эти приложены к произведению самим издателем. — Р. Х.)

I. ДВА МЕСЯЦА В АУЛЕ

До восемнадцатилетнего возраста я воспитывался в одном из кадетских корпусов Петербурга. Не стану здесь описывать своих школьных воспоминаний: на бумаге они теряют свою детскую, свежую прелесть. Окажу только, что несколько лет, проведенных мною в шумном кругу кадетов, останутся счастливейшею порою моей бесцветной жизни. Даже теперь, когда я превратился в делового человека и увидел свет в совершенно ином виде, чем изображал его прежде, и теперь еще не могу без любви вспомнить об этой счастливейшей эпохе. Лишь об одном не могу здесь умолчать: я окончил свое образование точно так, как сотни моих соотечественников, т. е. вступил в жизнь с весьма скудными, поверхностными сведениями. Если я вынес из корпуса стремление к добру и надежды на широкое поприще, то мое полуобразование не обошлось мне даром: оно легло нерушимой стеной между [52] соотечественниками и мною, сделало меня чужим между своими. На меня смотрели не иначе, как на пришельца; даже в родной семье я был скорее гостем, чем необходимым членом. Стоит ли таких огромных жертв мое жалкое полуобразование? Зачем я не отверг его, как чуждый нашей почве плод, как источник постоянных огорчений? Какую пользу оно принесло мне? Какую пользу принес я своим соотечественникам? Не получа никакого образования, я жил бы как и все черкесы, т. е. наслаждался бы вполне счастливым неведением, не заботясь о том, что будет с моими соотечественниками, скоро ли они выйдут из мрака заблуждения, словом, не думал бы ни о чем больше, как о статном коне и красивой винтовке. Все это я сознавал очень хорошо, но отстать от своих привычек, своротить с прямого пути не мог. Да есть ли какая возможность переиначить себя, насильственно уничтожить то, что составляет единственное наше утешение в жизни, наше нравственное бытие? Разве один ханжа способен действовать наперекор своему внутреннему убеждению? А я, слава Богу, хотя и не беспорочен, но ханжою не был и не буду.

Прослужив без малого два года в Н-ском уланском полку, я поехал домой в отпуск. При одной мысли о близком свидании с родными, после долгой разлуки, сердце мое наполнялось неизъяснимым удовольствием. Не достанет сил моих и на изображение восторга первого свидания со своими. Много трогательного было в этом свидании: довольно и того, что матушка моя не могла удержаться от слез, вопреки строгим нашим этикетам. Но, увы! Все это было впечатлением одного мгновения. Прошло несколько дней; я свыкся с давно покинутой жизнью, присмотрелся и к людям и к окружающим предметам; то, что поразило меня в первые дни приезда, потеряло свою новизну, и я скоро решил, что все так и должно быть. Признаться, я уже начинал скучать, как в одно утро получаю неожиданно от дочерей князя Кантемира приглашение к общей прогулке. Прогулка имела целью собиранье полевой клубники — занятие, не лишенное важности в жизни черкешенок. Приглашение незнакомых девушек удивило меня, но отказаться от него не было никакой возможности, не оскорбив приглашавших. Был и другой расчет: без этой прогулки мне никогда бы не удалось сблизиться с молодыми девушками, несмотря на то, что они жили в одном со мною ауле и притом очень близко от моей кунацкой. Сообразив все это, я охотно принял приглашение и отпустил присланного человека, расспросив, в какую сторону намерены ехать княжны. Потом приказал находившемуся при мне узденю оседлать лошадей, а сам между тем оделся в лучшую свою черкеску. Чрез полчаса мы выехали из аула. Не знаю, что чувствовал я на протяжении с лишком двух верст, которые проехал почти незаметно, но помню только, я был в [53] необыкновенном расположении. Грудь стеснялась, а по всему телу, словно электрическая искра, пробегала

дрожь. Было ли подобное состояние следствием близкой встречи с незнакомыми девушками или другого чувства — не берусь решить. Мне было и тяжело и чрезвычайно приятно. Не скоро бы я вышел из этого полузабытья, если б товарищ, ехавший позади, не крикнул меня по имени; я оглянулся, он указал концом своей нагайки на две арбы, с оглушительным скрипом тянувшихся в стороне. Мы стегнули коней и скоро очутились около них. Арбы были битком набиты прекрасным полом, и тощие волы очень серьезно вытягивали шеи, упираясь твердо ногами, точь-в-точь как бы тащили стопудовый груз. По обеим сторонам арб ехало десятка два отборных джигитов; все они ужасно занимались собою, украдкой посматривали на свое оружие и свой наряд. Такова уж слабость черкесской молодежи! Между ними выдавался особенно молодой человек, лет двадцати двух, с смуглым, привлекательным лицом и стройным станом.

На нем была черкеска черного цвета с широкими галунами, белый бешмет и черная шапка, с белым верхом, сшитая по последней черкесской моде. Одна осанка, независимо от наряда, резко отделяла молодого человека от оборванных товарищей, а выезженный в струну белый конь и отлично оправленное оружие довершали контраст. Разглядев получше, я нашел, что лицо молодого горца было мне знакомо, но когда и где я его видел — не мог припомнить. Я подъехал к передней арбе и приветствовал виновниц поездки: они учтиво приподнялись в знак благодарности. Потом я присоединился к пестрому конвою. Прибытие мое очень не понравилось молодым всадникам: они молчали и только переглядывались, как бы спрашивая: «зачем этот господин втесался в наше общество?». Долго ехали молча: никто не вымолвил слова, наконец я решил прекратить это тягостное состояние.

— Кажется, мы с тобой знакомы, — проговорил я, подъехав ближе к молодому горцу, — но, видит Аллах, не припомню, где встретались.

— Да, — отвечал он, улыбаясь, — не знаю, как ты, а я хорошо тебя помню.

— Так скажи, пожалуйста, где мы встречались, я никак не припомню.

— В крепости Н., когда я отправлялся в Россию, помню еще это было около лавок.

Я вспомнил встречу с молодым черкесом. В то время его отправляли во внутрь России за какое-то преступление.

— А давно ты воротился? — спросил я.

— Четвертый месяц дома. И как весело жил я в России. Валлахи, кто бы подумал, что русские были такие славные люди? [54]

Тут разговор наш кончился, снова настало молчание, но ненадолго. Один из товарищей указал нам на подошву большого холма. Местность достойна была нашего путешествия: гладкое поле представляло большое удобство для прогулки. У самой подошвы холма, по дикому руслу, катилась, как нарочно, прозрачная речка. Зелень вокруг была очаровательна. Арбы остановились, пассажирки выпрыгнули одна за другою. Теперь я мог хорошенько рассмотреть дочерей Кантемира. Обе были красивы, обе носили одинаковое платье. Не знаю отчего, только с первого же взгляда глаза мои обратились к старшей. Средний рост, стройная, гибкая талия, смуглый цвет лица, черные волосы и такие же брови, черные выразительные глаза с милым и ласковым выражением вполне оправдывали мой вкус.

Приличие требовало познакомиться с царицами поездки — и я не замедлил еще раз поблагодарить их за приглашение и то удовольствие, которое они мне доставили.

Вероятно, ни один из джигитов, сопровождавших поезд, не догадался того же сделать; таких тонкостей у нас в горах не водится, потому моя вежливость очень понравилась княжнам.

— А давно ты приехал к нам в аул? — спросила старшая, покраснев немного.

— С неделю, — отвечал я.

— И весело провел это время?

— Очень, — отвечал я, — увиделся с родными. Кроме того, вы меня пригласили на прогулку; еще бы после этого не быть довольным.

— А разве в России прогулок не бывает? — спросила она с видимым любопытством.

Пока мы разговаривали, девушки и молодые люди рассыпались по полю, кто с корзинкой, кто просто. Те и другие жадно искали клубнику.

Младшая княжна с несколькими подругами тоже отправилась бродить. Я и Залиха (так звали старшую княжну) остались одни. Но к нам скоро присоединился Карабахин (тот самый горец, которого я описал довольно подробно). Он сказал княжне несколько обыкновенных любезностей, но княжна не обратила на них внимания.

— Пойдем и мы искать ягод, — проговорила она, обратясь ко мне, и потом быстро пошла в сторону, не взглянув даже на Карабахина. Я не знал, как оставить горца, и не трогался с места, но решительное требование Залихи вывело меня из недоумения. Я последовал за нею, пригласив, впрочем, и Карабахина идти с нами. Он оказался настолько гордым, что не принял моего приглашения, посмотрел на меня косо, окинул укорительным взглядом удалявшуюся княжну и быстро зашагал в ту сторону, куда [55] удалилась младшая княжна с прочими девушками. Я догнал свою спутницу, успевшую отойти на значительное расстояние.

— Отчего ты не попросила Карабахина пойти с нами? — спросил я, поравнявшись с нею.

— Да он каждый день с нами, — отвечала она с улыбкой, — а ты гость.

— Помилуй, Залиха! Какой я гость! — проговорил я, — Да если на то пошло, так ведь и он живет чуть не за двести верст отсюда.

— Все равно, — возразила княжна серьезно, — у него здесь много знакомых девушек, а у тебя никого нет. Я тебя пригласила, мне же надо позаботиться, чтобы ты не соскучился.

Такая смелость сбивала меня с толку. Я знал очень хорошо строгий этикет соотечественников, также, что откровенность не в их характере. Можно ли было ожидать от такого униженного существа, как черкесская девушка, такого открытого, смелого выражения мыслей? «Я желаю с тобой поговорить, — прибавила княжна с улыбкой. — Ты жил в России, видал много любопытного!»

Я начал рассказывать свое житье - бытие, не выпуская ничего, что, по моему мнению,

могло интересоваться мою слушательницу. Княжна оказалась такой любознательной, что не давала отдыха, засыпала вопросами.

Рассказ продолжался долго. Мы незаметно очутились за холмом, далеко от прочих спутников. Солнце стояло так раз над головой и жгло нас, лицо княжны покрылось краской загара, но, несмотря на это, она не накинула на лицо платка, не переставала говорить и выступала так смело, так скоро, что я употреблял усилие, чтоб от нее не отстать. Наконец я не выдержал — предложил ей пойти к речке. Она кивнула головой в знак согласия и бросила на меня не то нежный, не то насмешливый взгляд, от которого я почувствовал вдвое больше жару, чем от солнечных лучей. Подошли к реке. Княжна намочила платок в воде и приложила к лицу, а я сделал из листьев лопуха чашку и, черпнув воды, подал ей. От речки повернули к арбам. Залиха шла теперь тише и о чем-то думала. Я не прерывал молчания, только усердно ловил каждый нежный взгляд, каждую улыбку, которыми она окидывала меня украдкой, но частенько. Странно, после короткого разговора я узнал как нельзя лучше весь характер Залихи и от всей души полюбил ее. Я никогда не был поклонником прекрасного пола, в России за все время пребывания вне родины всего два раза говорил с дамой, и то больше по ее желанию, чем по своему. Одним словом, до этого дня я не имел никакого понятия о том чувстве, которое называется любовью.

Я шел рядом с Залихой и, подобно ей, молчал, но в душе [56] моей происходило что-то новое, чего я прежде не испытывал, в ней зародилось и с невероятной быстротою росло небывалое, новое чувство. Как ни ново было это чувство, но я сознавал уже необходимость его выразить. Это не трудно было сделать при откровенности княжны, да и сам я давно приучился прямо, без всякого стеснения, выражать свои мысли. Между тем, как я раздумывал план объяснения с Залихой, она сама окончила минутное размышление и собиралась возобновить прерванный разговор.

— Что с тобой? — спросила она, смотря прямо в глаза. — Не скучаешь ли?

— Нет, не скучаю.

— Ну, так думаешь о чем-нибудь?

— Думаю.

— О чем, нельзя ли сказать?

— Можно, коли ты сама скажешь, о чем сейчас думала.

— Свидетель бог — скажу!

— Я думал о тебе, — проговорил я без всякого смущения.

— Что же ты думал обо мне?

— То, что тебя нельзя не любить.

— Кому нельзя? Разве ты знаешь меня как следует?

— Знаю лучше многих.

— Значит и любишь?

— И люблю, как, верно, никто.

— Не может быть!

— Уверяю тебя честью и прахом десяти предков.

— Верю, верю! Я сама очень полюбила тебя.

— Ты любишь меня!

— Люблю, что ж тут удивительного? Я никого не могу ненавидеть.

— Однако не всех же одинаково любишь?

— Ну, положим, тебя больше, нежели других; за то ведь и ты любишь меня больше других — не так ли?

— Люблю сильнее, чем себя.

— Если так, будем друзьями.

Она подала мне правую руку, я с чувством пожал ее. Мы были около арб, как один из отделившихся товарищей прокричал во все горло, что за версту от нас много клубники. Все без исключения согласились идти на поляну, где, по словам очевидца, от клубники не было места куда ноги ставить. Но нелегко было исполнить общее желание: крутой подъем на гору не позволял втащить туда тяжело нагруженные арбы на паре ленивых волов, потому решились взобраться пешком, но Залиха предложила женской половине компании сесть на лошадей с молодыми людьми. К моему удивлению, это смелое предложение приняли единодушно. Девушки начали по сердцу и вкусу выбирать кавалеров. [57] Карабахин и тут не преминул предложить свои услуги, но княжна наотрез ему отказала, оправдываясь тем, что обещала сесть на мою лошадь. Получив вторично отказ девушки, несчастный юноша вспыхнул и, вскочив на коня, без оглядки пустился на гору.

Кавалеры не зевали; каждый из них с удовольствием спешил исполнить лестное предложение Залихи. Но при этом произошли неприятные столкновения. Молодые люди толкали друг друга, ругались без церемонии за какую-нибудь чернобровую красотку, пока сама она не выбирала одного из них и тем не прекращала спор. Один я странно торчал посреди веселой, шумной толпы! Один я затруднялся тем, как посадить на свои колени незнакомую девушку! Застыдясь, я последовал общему примеру, сел на лошадь и с смущением взял Залиху на колени. Но едва пришпорил коня, как он начал бешено биться и кружиться на одном месте. На лице княжны я тотчас заметил испуг, потому начал упрямиться не опасаться, хотя сам трусил во сто раз больше. Лошадь подымалась на дыбы, рвалась из рук, словом, употребляла все усилия, чтобы сбросить нас. Поддерживая одной рукой княжну, а другой повод, я не мог прибегнуть к помощи нагайки, а страх княжны возрастал с каждым скачком лошади и наконец дошел до того, что она, не довольствуясь моей слабой помощью, обеими руками сильно обвила мою шею... Как ни велика была моя боязнь, но я почувствовал весь жар страстного, но вынужденного пожатия. Кровь закипела и бросилась в лицо, дыхание сперлось, руки едва не выпустили повод. Не передать всего, что происходило во мне в то время, но было что-то неизъяснимо приятное в моем положении, чего не променял бы я ни за какие

удовольствия. Лошадь, наконец, истощила все силы, горячий пот выступил по всему телу, пена показалась изо рта. Я вздохнул свободно...

Товарищи наши гуськом взбирались на гору, смех и говор доносился до нас. Никто не заметил того, что с нами было, и я был рад этому. Когда поехали вслед за другими, я спросил Залиху, испугалась ли она.

— Да, — отвечала она совершенно спокойно, — я испугалась только больше за тебя, чем за себя.

— За меня нечего опасаться. С этого дня, клянусь, я готов каждый час падать с лошади.

— Избави тебя бог от такого наказания, — возразила княжна, улыбаясь. — Ты вовсе не отвечаешь за то, что лошадь твоя не привычна к женскому платью. На ней, я думаю, еще никогда не увозили девушек.

— Пожалуй, ты бы извинила меня из сострадания, но что б сказали товарищи наши? Какими глазами посмотрели бы на меня?

— Наши молодые люди не так глупы, — сказала княжна. — Ведь и они не раз падали с лошади... [58]

Как ни утешительны были такие речи, но я еще раз поблагодарил бога за счастливое избавление от стыда и неприятного случая.

Незаметно очутились мы на широкой, ровной поляне, по которой рассыпались наши товарищи. Товарищ нас не обманул: клубники было очень много, корзины быстро наполнялись, а в руках каждого джигита торчал огромный букет, приготовленный им для своей избранной.

Два молодца помогли княжне сойти с лошади и наперерыв старались поднести ей свои букеты; она приняла оба и, грациозно-подпрыгивая, присоединилась к партии своей сестры, а я, не имея ни малейшего желания собирать ягоды, направился к опушке леса.

Когда я воротился на поляну, компания наша весело спускалась с горы; на этот раз девушки предпочли идти пешком, но джигиты все-таки не отставали от них; ведя коней под уздцы, они громко разговаривали и смеялись.

Наступал вечер, в воздухе запахло свежестью. Компания собралась домой; арбы заскрипели жалобнее прежнего. Юноши от скуки, а еще более из желания показаться, затеяли стрельбу в шапки. Карабахин показал удивительное знание горского искусства; он грациозно правил своим конем, а винтовка превратилась в его руках в перышко. С первого взгляда на джигитовку я убедился в невозможности соперничать с товарищами. Убеждение тем более грустное, что из арбы выглядывали черные глазки Залихи!

Долгое пребывание в России отняло у меня много в стрельбе и вообще в верховой езде. Правда, я был кавалерист, но это нисколько не облегчало дела. Кавалерийское искусство просвещенной Европы не выдержит сравнения с бешеной, кипучей отвагой горского наездника. Там искусство парадное, для глаз, а здесь оно ради самого искусства, необходимость, потребность, можно сказать, вдохновение. Положение мое было затруднительно. Но судьба, раз избавившая меня от постыдного случая, не допустила меня сделать посмешищем веселой молодежи. Три раза приходилось мне стрелять, и три

раза пуля моя попадала в мохнатую шапку.

Стрельба кончилась, поезд приближался к аулу; джигиты, бог весть почему, затянули свадебную песню, сопровождая ее залпами из всех винтовок. Компания въехала в аул; дымящиеся винтовки вложены были в чехлы. Я проводил Залиху до дому. На прощание она просила бывать у нее почаще, я обещал и отправился домой, полный приятных надежд и сладких ощущений.

На второй и третий день я безвыходно просидел дома, надеясь отдохнуть и привести в порядок свои мысли. Надежда, однако, не оправдалась; я не только не привел, но еще более [59] расстроил свою мыслительную способность. Толпы знакомых и незнакомых людей, различного одеяния и такого же образа мыслей, то и дело наполняли тесную мою кунацкую. Гости еще не беда, но эти далеко не походили на тех посетителей, которых я привык видеть в своей уютной квартире в городе Н. Их красноречивые, восточные поздравления, их нескончаемые, утомительно-однообразные пожелания многолетнего здоровья и прочих благополучий могли наскучить всякому.

Все посетители, в числе многих других приветствий, изъявляли желание, чтоб я попал в благословенные покои джаннета (Рай. (Здесь и далее примечания самого А.-Г. Кешева.)). А я, проживший большую часть жизни в России, обрусевший до того, что забыл обычаи своей страны, подлежащий недоверию соотечественников и гневу блюстителей корана, мог ли я иметь право на такое приветствие!

За приветствиями и пожеланиями следовали расспросы о том, как и чему учили меня русские, что я видел, что слышал, словом, приходилось давать каждому посетителю полный отчет в своих действиях, от поступления в корпус до дня приезда в аул. Я, по возможности, старался удовлетворить их любопытство. У меня даже хватило терпения и смелости растолковывать слушателям некоторые физические явления, думая тем уверить их, что не даром провел я столько лет в России. Попытка не удалась. Одни слушатели заглушали рассказ громким хохотом, другие, считая смех неуместным, только смотрели на меня весьма подозрительно: все же вместе держались крепко одного мнения, что все, чему учили меня русские, — чистейшая ложь. «Иначе и быть не может, — восклицали все хором, — ну можно ли поверить тому, что ум человеческий в состоянии постигнуть премудрые дела Аллаха... Ха! Ха! И ты поверил гяурам, что дождь и снег не Аллах посылает с неба, а что они образуются из испарений! Да не осквернятся уста мусульман таким богохульством! Да разразится молния небесная на головы тех, кто выдумал такие мерзости!» После таких энергических восклицаний, каждый посетитель бормотал про себя какие помнил молитвы и сильно отплевывался, желая очистить свою внутренность от страшной заразы. В заключение всего изъявлялось непритворное сожаление, что дети мусульман по какому-то непонятному ослеплению кидаются добровольно в вечный огонь ада. Тут порядком досталось и тем из родителей, которые отдавали своих детей русским — «часть божьего гнева, — говорили они, — неминуемо падет на их преступные головы в день страшного суда». Досталось и покойному моему батюшке! Горько, обидно мне было слышать такие речи от любезных собратьев, еще горше казалась недоверчивость их к моим словам, даже клятвам. [60]

Среди таких-то людей судьба мне предназначала жить и действовать! Что ж делать? Каждый человек несет на себе своего рода тяжесть до тех пор, пока не истощит сил и не падет, подавленный ею. Имей я больше хладнокровия, отзывы моих посетителей не произвели бы во мне того потрясающего впечатления, какое я испытывал при каждой глупой выходке какого-нибудь невежды. Мало того: действуя благоразумно и расчетливо, я успел бы убедить в истине моих слов если не всех, то по крайней мере двух-трех, и тем

оказал бы собратьям истинно человеческую услугу. Но, к несчастью, я был в том возрасте, когда малейшее противоречие приводит человека в раздражение, когда чувство берет верх над рассудком. Потому неудивительно, если я, несмотря на горячую, бескорыстную любовь к родине, в скором времени возненавидел своих соотечественников, стал смотреть на них враждебно. Если бы прения происходили не в моей кунацкой и чрез то посетители не делались гостями, лицами неприкосновенными по вековому обычаю, — то я едва ли бы удержался в границах благоразумия. До такой степени волновалось во мне негодование. Зато, оставшись один в кунацкой, я горячо молил бога, чтобы он прояснил глаза, отуманенные пеленой векового мрака. И в эти торжественные минуты я оживал, душа очищалась: в ней оставалось одно только чувство, — чувство безграничной братской любви ко всем и к каждому. Но это не могло так долго продолжаться. Я с каждым днем яснее вникал в слова и обращение окружающих, начинал понимать, что они недовольны мною, а если посещали меня на первых порах, то больше из любопытства и страсти к новизне, чем из участия. Скоро они пригляделись ко мне, разузнали что нужно, почесали языки и пошли распространяться по аулу, что я отступился от веры отцов, не уважаю ни обычаев, ни заветных преданий старины, что приехал домой не для свидания с родными, а для развращения и искушения правоверных. Они не посовестились даже назвать меня шпионом правительства; более человеколюбивые проникли и в мой собственный дом, шепнули матери, что я опасен для нее и для всего семейства, что благоразумнее держаться от меня как можно дальше. Такие сплетни раздражали меня еще более, и я запер двери кунацкой для посетителей.

На четвертый день утром Ибрагим, один из старейших узденей покойного отца, просил меня убедительно представиться князю Бей-мурзе, жившему в том же ауле. Преданный старик в пространных словах рассказал мне о давнишних связях Бей-мурзы с отцом, о подарках того и другого. Желая придать рассказу больше достоверности, он припоминал масти подаренных лошадей и названия винтовок, шашек, пистолетов. «Стыдно не поддерживать старого знакомства», — заключил старик и вышел, обещав прислать человека, который мог бы прилично отрекомендовать меня [61] Бей-мурзе. Я оделся и ждал проводника. По словам Ибрагима Бей-мурза должен был принять меня очень радушно, как сына старого своего приятеля, потому-то я весьма охотно принял предложение. Проводник не долго заставил себя ждать. То был мужчина высокого роста лет тридцати восьми. Свежее продолговатое лицо, окаймленное рыжей бородой, придавало физиономии его нечто важное, а большие, светло-голубые глаза искрились природным умом и неподдельной веселостью. Новый знакомец с первого же взгляда расположил меня в свою пользу, тем более, что я не видел его в числе прежних моих болтливых посетителей. Недаром Ибрагим прожил восемьдесят лет: он изучил людей не хуже лошадей и винтовок... Мы вышли из кунацкой, перешли по двум узеньким доскам речку, отделявшую наш аул от Бей-мурзы.

Первый раз познакомился я с внутренностью этого аула. Подъезжая к нему со стороны, еще за несколько верст видишь пред собой прекрасную картину. Направо и налево параллельна тянутся гребни гор не высоких, но очень живописных; на них растет отличный строевой лес, которым черкесы не умеют пользоваться. Аул правой стороной упирается в крутой обрыв, который составляет прочную защиту от случайного нападения неприятельских шаек. Прочие стороны по старанию русского пристава обнесены двойным плетнем из колючника. Ворота на ночь запираются и охраняются караулами. Аул безопасен даже от мелких, так называемых домашних воров. Беленькие опрятные сакли, разбросанные в беспорядке на значительном пространстве, поражают приятно взор, особенно летом, когда нередко увидишь в промежутке дворов зеленую траву, на которой пасутся курчавые барашки и молодые телята. Но внутренность аула со всеми патриархальными принадлежностями далеко не соответствует приятному впечатлению,

производимому его наружным видом. Возле саклей и на улицах навалены большие кучи золы и всякой дряни: все это неблагоприятно действует на нервы непривычного зрителя. При каждой сакле неизбежны также — хлев, небольшое огороженное пространство, называемое бахчой, стоянка для скота и баранов, арбы с колесами и без колес, зимние сани, треснувшие от продолжительного стояния под лучами солнца, бочка без дна, давно выброшенная из сакли, как ненужная вещь, огромное корыто, в котором в свое время содержалось молоко и масло, которое теперь, облизывается голодными собаками; одним словом, на дворе все хозяйство черкеса. Люди, собаки, лошади, рогатый скот и домашние птицы, все это перемешано и кишит в тесных улицах, словно рыбы в стоячей воде. Проводник мой говорил, что в зимнее и дождливое время нет никакой возможности пробраться по аулу даже верхом. Но такие неудобства не пугают жителей: ни один из них без крайней нужды не покинет своего двора. Он свyksя, [62] сжился и с грязью, и с непогодой, душой привязан к дымной своей сакле, к закопченному очагу и не променяет их ни на какие палаты. Ошибаются мудрецы, считающие черкесов кочевым народом, которому перебраться с одного места на другое не составляет ничего ровно. Пожалуй, построить саклю не велика беда, но черкес неохотно принимается за работу, не по лености однако, а по привычке к старому месту. «Будет ли новое место так же счастливо, как старое, одному аллаху известно», — говорит он с недоверчивостью.

Любовь к оседлости можно только объяснить зажиточностью мирных горцев, сравнительно с теми из них, которые ежедневно подвергаются случайностям войны. В целом ауле не найдется двух-трех семейств, ничем не занимающихся, ничего не имеющих. У последнего бедняка есть две-три коровы и пара волов. Много также значит для мирного аула соседство казачьих станиц, куда жители сбывают за хорошую цену свои домашние продукты.

Раз мне пришлось побывать на станичной ярмарке. Что за картина! Вокруг станицы, на протяжении двух почти верст, стоят мирные питомцы горских табунов, гордо помахивая головами. Тут и рогатый скот, и овцы с курдюками, пригнанные бог весть из каких ущелий. В самой станице около лавок, на базарной площади толпятся, шумят, бранятся, каждый на своем языке, черкесы, абазинцы, ногаи и казаки. Один несет на плечах десяток бараньих шкур, другой ревет во все горло, размахивая черкеской и курчавой буркой, третий постукивает седлами отличной работы. Короче, все тут, что может производить горец. Душа радовалась при виде этой смешанной толпы и недаром: торговля — лучшее средство к сближению народов: в ней исчезает все, что разъединяет их друг от друга. Торговля приучит черкеса к честному труду и тем обеспечит его существование: вызовет в нем дух предприимчивости, сметливости и все то, что до сих пор сокрыто в его богато одаренной натуре. Торговля изгонит из его головы те беспокойные, отжившие понятия, которые ставят его в прямое противоречие с настоящим положением дел. Торговля, наконец, введет в семейный быт черкеса неизвестные доселе удобства, изменит к лучшему семейные и общественные отношения, отодвинет на задний план винтовку... Много мыслей шевельнулось в голове при виде этой ярмарки! Я перенесся в патриархальные времена, в рыцарский период наших предков, так заманчиво воспетый народными певцами, вспомнил далее эпоху водворения русских на Кавказе и длинный ряд кровавых и бесполезных столкновений, и пришел к тому заключению, что путем торговли и мирных сношений гораздо легче достигается цель, чем оружием. Армянский купец безопасно проникает уже в самую глубь враждебного населения Кавказа и встречает радушное гостеприимство, тогда как вооруженный [63] отряд каждый клочок земли покупает ценой крови и тяжких лишений. Почему? Потому, что купец доставляет вещи, необходимые для домашнего обихода; а потребности черкеса, с водворения русского владычества, быстро возрастают. Состоятельный черкес обзавелся самоваром и, к великой досаде стариков, враждебно-встречающих каждое нововведение, преспокойно попивает китайское зелье и

угощает им своих гостей...

Мы подошли к кунацкой Бей-мурзы. Это было что-то среднее между опрятной крестьянской избой и черкесской саклей, — хозяин, видно, знал цену удобства. На дворе толпилось несколько человек; при виде нас они прекратили громкий разговор и с большим любопытством окинули меня с ног до головы. Вероятно, им сильно хотелось узнать, кто я и откуда. Некоторые обнаружили это желание тем, что довольно нескромно перешептывались, а другие с улыбкой моргали и кивали на меня головой. Вошли в кунацкую: Бей-мурза сидел полуразвалившись на своей кровати и перебирал крупные четки. В сакле не было никого больше. Бей-мурза, как только мы вошли, быстро вскочил на ноги, посмотрел на меня с недоумением, а потом обратился к моему ментору. Ментор с подобающим красноречием отрекомендовал меня и прибавил несколько фраз в виде примечания от своей особы. Бей-мурза сделал два шага вперед и ласково, но с важностью, протянул правую руку. Потом мы оба сели, хотя по черкесскому обычаю мне не следовало сидеть в присутствии Бей-мурзы. Это была моя ошибка. Князь распространялся о дружбе своей с покойным отцом и, вероятно, в подтверждение своего к нему уважения, привел два-три примера его необыкновенной щедрости, важных доблестей и прочих достохвальных качеств. Но особенное внимание обратил он на меня, на мою будущность, побуждаемый сознанием, что молодому человеку всегда нужно покровительство сильных. На его вопрос: что намерен делать я и какие имею надежды в будущем, я отвечал, что служба — единственная цель моей жизни; а насчет будущих надежд весьма кстати сослался на милость аллаха. Однако, сколько можно было заметить по выражению лица князя, ответ мой не произвел никакого сочувствия. «Значит, ты хочешь совсем сделаться русским?» — спрашивал он, опустив глаза в землю. Я отвечал утвердительно, хотя не понял смысла этих слов. Ясно, что князь под ними разумел совершенно не то, что я. В них выражалось то же презрение ко всему русскому, то же недоверие ко мне, какое высказывали все, с кем я ни говорил. Только в словах Бей-мурзы было по крайней мере утешительно то, что это всеобщее презрение облеклось в приличную форму, я мог толковать их по своему желанию. Подобный проблеск вежливости был отрадным явлением посреди грубого и вдобавок открытого изъяснения грязных предрассудков. Если бы со дня своего приезда в аул, я [64] встретил хоть одного человека, который, отрешась от ложного взгляда на русских, явился бы беспристрастным судьей своих и чужих заблуждений, тогда, без сомнения, я возненавидел бы от всей души Бей-мурзу, несмотря на его старинные отношения к моему дому. Но я не встречал такого человека, потому мысленно примирился с Бей-мурзой и готов был сойтись с ним еще ближе.

Князь молчал долго, наконец взял с окна нож и начал чистить ногти; это значило, что он не в духе, как объяснил мой ментор. Я понял, что больше нечего делать в сакле и спешил проститься с хозяином. Бей-мурза из вежливости просил не забывать его, — «как это делают молодые люди со стариками». Но в голосе его выражалось совершенно не то. Мы вышли из сакли, быстро минули двор, сопровождаемые любопытными взорами тех же людей, которые при нашем приходе стояли, а теперь преспокойно сидели, и вышли из ворот, как вдруг подбежал мальчик и едва слышно произнес имя княжны. «Здесь, — отвечал он, указывая на саклю Бей-мурзы, — она ждет у ворот». Нечего делать, я последовал за мальчиком не совсем охотно. Хотя я не прочь был увидеть княжну, но не имел никакого желания, чтоб свидание происходило в чужом доме. Это могло возбудить неблагоприятные толки. Проводник мой остался около ворот. К счастью, опасение мое скоро рассеялось. Залиха стояла одна, прислонясь к плетню. В тонком кисейном платье, с таким же платком на голове, она была чудно хороша. Сквозь прозрачное покрывало я мог рассмотреть смолисто-черные волосы, волнистыми прядями рассыпавшиеся по ее розовым плечам. Кажется и теперь еще я вижу перед собой этот стройный и милый образ!.. Сердце сильно застучало в груди, когда я с жаром пожимал пухленькую ручку

княжны.

— Каким образом очутилась ты здесь? — был мой вопрос.

— Пришла к тетке вышивать, — отвечала она, нежно улыбаясь, и потом прибавила: — Видишь, как непостоянна моя жизнь: за несколько дней я была смелой наездницей, а теперь стала скромной ученицей.

— Большой скачок, — возразил я, — но долго ли продолжится твоё учение?

— Недели две... а может быть, меньше. Надо скорее вернуться: дома очень много работы.

Говоря это, княжна устремила на меня свои огненные глаза, глаза мои встретились с ними и... если не ошибаюсь, я прочел в них такое выражение: «а что, небось, тебе нравится, чтобы я вернулась скорее домой».

Быть может, это был обман, случающийся с нами очень часто, особенно когда мы, по своему желанию, перетолковываем каждое слово женщины, но тем не менее я до того увлекся им, что едва не бросился умолять княжну вернуться домой как можно скорее. [65]

— Где ты лучше проводишь время — здесь или дома? — спросил я, желая как-нибудь оправиться от замешательства.

— Все равно, — отвечала княжна, смеясь.

— Однако ж?

— Право, все равно, — подтвердила она, — дома как будто посвободнее, а здесь... здесь, не знаю, как тебе сказать...

Залиха смешалась, покраснела и сильно прикусила нижнюю губу, показывая тем свое раскаяние в слишком откровенной беседе.

— А здесь, верно, не то? — спросил я. — Да оно и понятно: бабушка не бывает строже тетки.

— Твоя правда, — проговорила она, опуская глаза, — бабушка так стара...

— Зато тетушка, я думаю, не дает вам разгуляться.

— Да, она не любит, чтоб мы говорили с молодыми людьми...

— Так как же ты вышла сюда?

— Я сама видела тебя из окна; когда тетушка дома, никто из нас не смеет оторваться от работы, а когда она уходит за чем-нибудь по хозяйству...

— В таком случае, — возразил я, — тебе опасно здесь оставаться...

— Скажи, пожалуйста, — произнесла княжна, как бы не расслышав моих слов, — правда ли, что русские девушки могут выходить из дому куда угодно?

Я отвечал утвердительно.

— И никто им не запрещает говорить с мужчинами?

— Не только говорить, но даже гулять с ними.

— Бог знает, чтобы у нас за это выдумали на девушку!

— Да ведь в России не то, что у нас, там и жизнь; и приличия другие.

— Да нам-то их перенимать не следует, — вдруг сказала княжна.

— Да разве это дурной обычай? — спросил я с недоумением.

— Разумеется, дурной... Ты сам знаешь, что значит мужчина и что женщина. Каждый из них должен строго исполнять приличия, иначе бог знает что выйдет. У русских, говорят, не стыдно мужу с женой видаться при посторонних.

— А разве и это нехорошо? — спросил я опять.

— Разумеется, нехорошо, — отвечала княжна, мило улыбнувшись. — Да этак, пожалуй, через месяц надо распроститься и с мужем, и с семейной жизнью.

— Как так?

— Очень просто; не век же просидеть с мужем... Да и как тяжела должна быть такая жизнь! — произнесла Залиха с необыкновенным одушевлением.

Еще на школьной скамье, в кругу беззаботных товарищей я [66] нередко мечтал о своих соотечественниках, об их настоящей и будущей жизни, а на службе составлял планы содействовать сколько можно к искоренению многих, по моему мнению, вредных обычаев и предрассудков. Мысль эта вкоренилась во мне так сильно так меня беспокоила, что я нередко пытался освободиться от нее, но тщетны были мои усилия; внутренний голос подсказывал ежеминутно что это единственная, благородная цель моей жизни, что Россия, образовывая меня, имела в виду эту цель, а не хотела вовсе сделать из меня хорошего служаку. Будто без меня мало служаков? На первых порах по приезде в аул мысль эта разгорелась еще более, достигла крайних пределов, она сделалась для меня духовной пищей, вдохновением. Потому доводы княжны, коснувшись одного из драгоценнейших моих убеждений — именно, освобождения женщины от рабского унижения, сильно возмутили меня. Негодование мое об этом было еще сильнее, чем при толках суеверных посетителей. Понятно, что я желал видеть в княжне нечто лучшее прочих окружающих. И что же? Мне приходилось разувериться в своем идеале!

После продолжительного молчания я начал говорить княжне, что она ошибочно судит, доказывал, что свободное обращение с мужчинами делает русских девушек милыми в обращении, что свобода женщины существует не только между русскими, но во всех больших и сильных странах, не вспомню всего, что я проповедывал; только я говорил с жаром, и нисколько не думал о том, понимает ли слушательница слова мои. Но голос мой остался бесполезным. Как ни ворочала Залиха мудреной задачей, с какой стороны ни рассматривала ее, результат был один и тот же, что свобода неприлична девушке. Истошив все силы к разуверению упорной Залихи, я прибег, наконец, к ядовитому оружию: яркими, романтическими красками разрисовав перед ней идеальный образ

русской красавицы — чуть ли не образ гоголевской Улиньки, пред которой смущался недобрый человек. Ничего не пожалел я для полноты, и если бы черкесский язык имел в себе хоть сотую долю тех оттенков, которые роились в моей разгоряченной голове, то вышло бы нечто почти поэтическое. Капризная моя слушательница, любившая перебивать на втором слове, стояла теперь молча и вся, кажется, превратилась в слух. Она то поднимала глаза вверх и с лукавой улыбкой долго, нежно смотрела на меня, то опускала их, и тайная мысль скользила по ее раскрасневшемуся лицу. Ободренный ее смущением, я готовился говорить еще, но она не захотела слушать моей похвальной речи.

— Не трудись, пожалуйста, — прервала она, гордо подняв голову, — я очень хорошо знаю хитрость мужчин: они хвалят одних, чтобы тем привлечь к себе других.

Я засмеялся. [67]

— Да, не смейся, я говорю правду...

— Да скажи мне, ради души отцовской, — перебил я, — почему ты знаешь о хитрости мужчин. Ведь ты их почти не видела...

— Да будто это такая мудрость! Например, вот теперь ты, я уверена, пред русскими девушками ты сделал бы то же самое — расхвалил бы нашу небывалую красоту. Это-уж так ведется между вами!

Говоря это, княжна в свою очередь торжествовала; она твердо верила, что я побежден ее знанием характера мужчин. Признаться, она не ошиблась. Я удивлялся тому, как молодая девушка, проводшая всю жизнь в девичьей, в кругу ветреных, неопытных, как и сама подруг, могла так здорово судить о характере если не всех, то большей части мужчин. Да, мудро было не удивляться! В европейской девушке подобное суждение понятно.

Но что же сказать о черкесской девушке? Какая школа послужит к раскрытию ее души, ее взгляда на вещи, на жизнь? Где почерпнет она те многосторонние сведения, которые нередко ставят в тупик самого образованного, самого остроумного из мужчин? Нет для черкешенки ни живых школ, ни живых источников, не говоря уже о воспитании, в смысле европейском. Круг ее занятий ограничивается умением вышивать серебром узоры, а о том будет ли она хорошей хозяйкой, доброй матерью, не думают ни отец, ни даже мать. Если природа наделила ее завидной красотой, живым умом, она найдет себе мужа, сумеет управлять домашними делами, если же она обижена природой, не обладает ни красотой, ни умом, то, поверьте, она не сумеет скрыть своих недостатков и во всю жизнь останется страдательным существом. В том и другом случае она не избегнет тлетворного влияния своего униженного положения в обществе, в том и другом случае она вещь, игрушка, а не нравственно-свободное существо, не украшение жизни...

Между тем как я стоял в приятном изумлении, небо подернулось черными тучами, в воздухе запахло удушьем, все предвещало сильную грозу. Вспомнив, что до дома почти полверсты, я раскланялся с княжной; как бы для извинения, указал ей на темное небо, на тучи, быстро перегонявшие одна другую, и, крепко пожав ее ручку, скорыми шагами пустился к проводнику. В эту минуту вдали грянул гром, и сильные раскаты со страшным гулом пронесли по соседним ущельям. Частый дождь полил как из ведра. Мы минули ограду кунацкой, повертели в другую улицу, как я невольно оглянулся назад. Легкое покрывало княжны быстро мелькнуло и исчезло за плетнем.

Прошла неделя, другая, прошел и месяц. Отношения мои к Залихе день ото дня

становились теснее и наконец дошли до той степени, когда дело требует какого-нибудь исхода.

Во все это время я находился в каком-то непонятном для [68] меня самого состоянии. Бедная голова моя страшно отяжелела, хотя в ней не было ни одной порядочной мысли. Ничто меня не занимало; я даже стал избегать разговоров с родными; а из посторонних никто не заглядывал в мою кунацкую. Жизнь моя сделалась очень незавидной, если не сказать несносной. Кто сколько-нибудь знал меня, тот не нашел бы во мне ничего прежнего; аульная жизнь страшно исказила все мое существо. Планы, над которыми я ломал голову далеко от родины, и единственная цель моей жизни рушились сами собой, как бы от прикосновения невидимой, волшебной силы. Место их заступили апатия и томительное бездействие. Черная тоска грызла душу, а сознание своего бессилия отравляло и приводило меня в отчаяние. Целые дни я никуда не выходил из кунацкой и все лежал одетый на кровати или, подсев, к маленькому деревянному окну, глядел в противоположную сторону речки. Прямо против моего окна белели две красивые сакли, принадлежавшие соседу. Я так часто смотрел на них, что знал наизусть все пятна, испещрившие стены, знал и обитателей их, начиная от согбенного старика-хозяина до полной краснощекой хозяйки, с необычайно развитыми грудями, знал и прочих членов, семейства со всеми их особенностями, но лучше всех изучил женщину средних лет, вероятно, служанку, которая каждый день по пяти раз спускалась к речке с длинным коромыслом на плече. Я читал в ее робком взгляде, в бледных чертах лица всю грустную историю ее жизни, безутешную скорбь угнетенной тяжелым рабством души и напрасный порыв подавленной воли... Но эти наблюдения не могли рассеять моей хандры: она извещала меня не налетом, а приютилась в сердце, как полновластная хозяйка, и медленно, час за часом, точила соки жизни...

Мне оставалось одно только удовольствие, одно утешение посреди грустной обстановки — это душевные, уединенные свидания с Залихой. В них сосредоточилось все: и сладостное воспоминание о прошедшем, и тревожное ожидание в неясном будущем. Рядом с Залихой я забывал все-все, даже свое неопределенное положение среди собратьев и их тяжкие оскорбления. Я решил жениться на ней. Препятствий к этому решению я не находил. Чем я не жених? — самодовольно спрашивал себя, — за мной все, что дает право на почетное место между черкесами. Происхождение — первая статья, а мое, благодаря Аллаху, самое почетное: отец князь, мать тоже из княжеского рода. Правда, покойный отец, придерживаясь рыцарского правила, не оставил мне завидного состояния; и я его не виню: взамен богатства он оставил имя отважного наездника, — имя, пред которым благоговеет всякий, кто владеет винтовкой и правит конем, имя, заменяющее между черкесами все добродетели. Недаром же говорил отец в редкие минуты сердечных излияний: «Сын мой, много прожил я в этом [69] суетном мире, много всякого добра нажил, но тебе ничего не оставляю; все, что добыл я своими трудами, пошло по чужим рукам, но всякий про твоего отца скажет: «жил он, как настоящий черкес, и бог дал ему царство небесное». Богатство ничтужно, оно — как роса, что пропадает с первых лучей солнца. Будь ты достойный человек, будет и богатство и честь; а будешь негодный — и с богатством ничего не сделаешь. Помни мои слова; не скупись ни в чем, будь щедр на хлеб-соль, на дары, тогда только можешь предстать с чистым лицом перед судом того, кто правит нашими делами, тогда и я не отвергну от тебя лица». Отец мой говорил, вдохновленный воспоминаниями об иных людях, об иных правилах; он не заметил, что пережил свой богатырский век, что от очей его ускользнул великий переворот, незаметно совершившийся в жизни и понятиях соотечественников.

Кроме клада, завещанного отцом, я имел и другие причины надеяться на благополучный исход задуманного дела. Я был молод и стоял на счастливой дороге. Следовательно,

думал я, на моей стороне и почетный род, и слава отца, и моя собственная служба. Кроме того отец Залихи был полковник русской службы; стало быть, лучше, нежели кто-нибудь другой, мог оценить меня по достоинствам... Мне так и виделось, что отец Залихи, при первом намеке о моем намерении, кинется мне на шею, чего, конечно, никогда не бывало в наших суровых горах и едва ли когда будет. Виновником всего это была моя юность и счастливое время радужных мечтаний.

Решившись во что бы то ни стало жениться на Залихе, я, однако, ничего не говорил ей об этом, потому что заранее был уверен в ее согласии. Посещения мои и долгие разговоры не прекращались; а откровенность княжны возрастала с каждым днем, так что раз даже княжна решилась высказать недоступную для черкешенки мысль о свободном выборе жениха. Я понял намек и не мог более утаить от нее своего намерения.

— Правда, — говорила княжна, — идти поневоле за нелюбимого человека несчастье для девушки. Как жить в доме, где нет согласия, где муж презирает жену, а жена... о, я не знаю, зачем родители губят своих детей!

— Да ведь здесь, — сказал я, — родители уверены, что после брака девушка полюбит кого угодно.

— О, нет! — вскричала Залиха с негодованием. — Они ошибаются, если так думают. Нелюбимый человек всегда останется противным, разве после брака еще более опротивеет... Нет! Ради самого Аллаха, не верь этому. Пусть уже одни родители потешаются своей выдумкой.

Залиха так разгорячилась, что невольно схватила правую мою [70] руку; рука ее горела, лицо изменилось, прекрасные губки судорожно сжимались. Что мне оставалось делать в такую критическую минуту, когда сердце, сжимаясь от робости и какого-то непонятого желания, казалось, вот-вот вылетит из груди? В упоении я прижимал, Залиху к груди и первый раз поцеловал ее горевшие уста жгучим поцелуем... Княжна вздрогнула, но я еще сильнее прижал ее к себе.

— Поверь, Залиха, — прошептал я, задыхаясь от стеснения в груди — поверь, пока я жив, ты не подвергнешься угрожающей тебе участи... я твой до могилы, только скажи, согласна ли ты быть моею женой?

-Ничего больше не мог я выговорить. Залиха тоже молчала, все еще оставаясь- в моих объятьях. Я повторил свой вопрос.

— Я люблю тебя, - проговорила она, потупив глаза, — за тебя или ни за кого в мире.

Дня четыре спустя после этой патетической сцены, я возвращался от княжны, полный отрадных надежд и самых игривых мыслей. И куда, спрашивается, делась моя хандра? Было поздно: аул погружен в глубокий сон. Незаметно я подошел к речке, и правая нога была уже на мосту, как вдруг мелькнул в стороне огонь. Я остановился и пристально рассмотрел саклю, из которой выходил свет. Она принадлежала старшему сыну Бей-мурзы, который успел уже изъяснить мне свою дружбу и дал" заметить, что готов поддержать давнишнее расположение наших отцов, если только с моей стороны не будет препятствий. Я, разумеется, не остался в долгу и тем охотнее высказал свою готовность, что сын Бей-мурзы с первой же встречи мне понравился. Наружность его была очень счастлива. От посторонних только и слышалось, что он единственный молодой человек, имеющий право называться черкесом, что его нельзя упрекнуть ни в чем, хотя ближайший

ценитель — отец весьма неучтиво выгнал его из своего дома. Причиной такого поступка Бей-мурзы, как узнал я после, была неудержимая страсть, господствующая и до сих пор в черкесской молодежи, несмотря на неизбежность расправы. Порок этот будет существовать до тех пор, пока не искоренится пагубное убеждение, что воровство есть признак удалства и предприимчивости. Такое убеждение составилось не сегодня и не вчера, оно имеет историческое значение. Черкесы, как и все народы, имели свой героический период, когда умение обманом или мечом добывать средства к существованию, естественно, сделалось необходимой принадлежностью человека в такую эпоху. Но Кавказ подпал под власть России, рыцарские правила столкнулись с новым, враждебным порядком и рушились, а вместе с ними, разумеется, исчезла и законность насильственного присвоения чужой собственности; место ее заступила необходимость честного труда. Кавказская молодежь, [71] воспитанная преданиями прошедшей жизни, не могла вдруг, приняться за соху, или вступить в воинские ряды своих завоевателей.

Соху не соответствовала ее аристократическим наклонностям, а служба под знаменами иноверцев запрещалась религией, да и гордость не позволяла; и вот из прежних героев образовалась шайка беспорядочных людей, которая, боясь заслуженного наказания, прячет концы своих непозволительных походов как можно дальше. Сын Бей-мурзы принадлежал к этой шайке, и поэтому благоразумный отец, не желая отвечать за его проказы, держал его от себя подальше.

Невидимая сила влекла меня к сакле сына Бей-мурзы.

Как кошка проскользнул я в узкое отверстие, сделанное в ограде аульными бабами для того, вероятно, чтобы, выгоняя телят со двора, не тянуться до ворот, где каждое утро толпится куча мужчин; не без осторожности приблизился я к дверям и хотел уже переступить порог, как вдруг услышал свое имя. Я остановился, как оглушенный сильным ударом; в голове мелькнула мысль, что, войдя в саклю так неожиданно, могу навлечь на себя подозрение в подслушивании; да и время было вовсе не для визитов. Если бы не долетевшее до слуха имя мое, я бы тотчас удалился, но, к несчастью, любопытство было слишком сильно затронуто: зачем вспоминают обо мне, как говорят, с худой или хорошей стороны? — спрашивал я себя, стоя с полчаса неподвижно; наконец, любопытство превозмогло чувство собственного достоинства, и я поспешил скрыться позади сакли в густой траве. К счастью, в стене оказалось порядочное отверстие; притаив дыхание, я прильнул к нему ухом. Речь действительно шла обо мне.

— Да что же в самом деле выдумал этот свинород, — говорил хозяин запальчиво, — связаться, да с кем еще? С моей племянницей! Ну, положим, он дурак, не знает наших обычаев: но чего же глядит сама Залиха? Неужели она его любит?

— А ты как бы думал? — прервал другой голос. — Посмел ли бы он просиживать с ней наедине до поздних петухов...

— Мерзость и срам! — воскликнул хозяин. — Весь аул об этом знает... Или в чехлах наших бузина вместо винтовки, или не знает, подлый раб гяуров, что оскорбление нашей чести никогда и никому, не проходило даром? (Тут было исчислено несколько фамильных жертв, имена которых не припомню). Кораном клянусь, будь у меня пук бабьих волос на месте усов, если не застрелю его, как собаку, в его же собственной сакле.

Не знаю, что почувствовал я в эту минуту, только вся внутренность моя горела, будто кто приложил к ней раскаленное железо. Участь моя зависела от неожиданного выстрела из щели моей же сакли. Человек, звавший себя моим другом, умышлял убить меня. Но все

это было лишь одним началом. [72]

— Не лучше ли поймать его на самом месте, — присоветовал третий голос, по всем признакам принадлежавший более пожилому, следовательно, благоразумному человеку, — это гораздо удобнее. Я разведая, когда он будет у Залихи; мы все придем вовремя.

— Свяжем его по рукам и ногам, — добавил второй голос. — Подстрелить, пожалуй, легко, да не так удобно — врагов наживешь: у него двое братьев-головорезов, да он, русский офицер, а вы знаете, какой народ русский. Найдут где-нибудь мертвого солдата, — кажется, что тут удивительного, нет, давай раскапывать, кто его убил, от чего он умер, как будто это очень нужно.

Сын Бей-мурзы долго не соглашался на это предложение, доказывая ясно, что человек, осмелившийся оскорбить честь его дома, не должен существовать на земле. Признаюсь, я более одобрял его намерение; несмотря на варварство и подлость, оно мне казалось гораздо благороднее, чем предложение неизвестной мне особы. Смерть, какого бы рода она ни была, не могла запятнать моей чести, а быть позорно связанным и оскорбленным, значило оставить на своем имени вековое, ничем неизгладимое пятно. К изумлению, сын Бей-мурзы показал, несмотря на свои громкие заклинания, что он очень скоро отступил от прежнего намерений. Ареопаг, кончил совещание тем, что решился на другую же ночь поймать меня на месте свидания с Залихой.

С тяжелыми мыслями на сердце, с досадой на себя за излишнее любопытство я воротился домой. Из этого рокового разговора я понял безотрадное положение между черкесами человека, вкусившего сладость просвещения, человека, умеющего ценить в себе если не высокие дарования, то, по крайней мере, достоинства человека, как самостоятельной личности.. Горько было разувериться в своих надеждах! Моя служба, моя карьера, на которые я так твердо полагался, обратились вдруг ни во что, мало того: они даже помрачили мое происхождение во мнении людей, в пользу которых я готов был пролить свою кровь, пожертвовать жизнью. Эти самые люди смотрели на меня, как на подлого наемника, продающего свои услуги на вес золота. Они презирали меня и стыдились иметь со мной какие-либо связи. И все это за, то, что я не принадлежал к их кружку, не разделял их интересов, не принимал участия в их грязных похождениях, за то, что судьбе угодно было вырвать меня из родной среды и бросить далеко, в чуждое общество. Что могло быть оскорбительнее такого недостойного взгляда на мои помыслы!

Несмотря на неожиданное огорчение, в ту ночь я не испытал тяжелой бессонницы, необходимого следствия сильных душевных потрясений. Правда, во сне мне казалось, что я все еще стою [73] позади знакомой сакли и слушаю над собой бесчеловечный приговор, но все-таки я не вздрагивал и не просыпался. Приветливые лучи утреннего солнца с веселым щебетанием птичек застали меня в постели. Было уже около десяти часов, когда я пошел к матери и сестрам. Под их радушным, веселым разговором я совершенно позабыл о подслушанном разговоре, говорил очень много о том, о сем и, против обыкновения, подшучивал над сестрами. Так наступил полдень; с ближайшего минарета раздался призывный голос муллы. Старшая сестра вывела меня из сакли: мать осталась молиться. Сестра спросила, где был вчера и, когда я отвечал с улыбкой у Бей-мурзы, начала упрекать меня в скрытности, наконец, открыла, что и она и весь аул знают о моих связях с княжной Залихой; а в заключение просила прекратить свидания, чтоб не случилось чего недоброго.

Разговор мало-помалу становился мне не по силам; я горячился, сердился, как бы дело шло с противниками, наконец, не выдержал и убежал в кунацкую, чтоб наедине обсудить

свое положение. С горем пополам я проводил последние лучи заходящего солнца за вершину отдельных гор; вечерний мрак покрыл землю и мысли мои приняли новый оборот.

После разговора с сестрой я старался обдумать прочный план к будущим действиям, но остался при одном старании: голова; решительно отказывалась от всякой работы, а известно, что чем больше и упорнее мы преследуем какую-нибудь мысль, тем быстрее она от нас убегает. Известно также, что мрак ночи сильно возбуждает к действию все чувства души. Я испытал это на себе. С наступлением ночи я проснулся словно от глубокого сна; а в голове, за несколько часов отказывавшейся от работы, возникли два жгучих вопроса — идти ли к Залихе по обыкновению или остаться дома. Благоразумие требовало остаться, но до него ли было? Я предпочел пойти навстречу явной опасности.

Остаться дома мне казалось преступлением, непрослительным малодушием. «Неужели, думал я, зверское намерение нескольких ветреных негодяев заставят меня отказаться от свидания с любимой девушкой». Больше же всего я опасался, чтоб до княжны как-нибудь не дошел слух о гнусном заговоре. Как черкешенка, она могла подавить свое чувство, если бы я оказался трусом. Я колебался, но человек, присланный от Залихи, довершил мое решение: она требовала, чтоб я явился немедленно. Я дождался того времени, когда жители, совершив вечернюю молитву, отходят на сон грядущий и, насыпав на полку пистолета свежего пороха, вышел из кунацкой. Переходя мост, я невольно посмотрел на роковую саклю, где без всякого стеснения решили мою участь: в ней не было огня, потому невозможно было отличить ее от множества других саклей, все они сливались в одну темную, неопределенную [74] массу. Я подошел к ограде, окружавшей саклю княжны, осмотрелся кругом и осторожно подкрался к калитке; она, была только притворена, вероятно, по распоряжению княжны. В кухне и других строениях огни были потушены, а двери и окна задвинуты засовами. Только из отделения княжны, сквозь неплотно притворенные ставни, выходил тонкой струей дребезжащий свет свечи. Я подошел к двери и тихо стукнул. Вмиг послышался шорох, легких черевиков, дубовые двери растворились без шума; я вошел; княжна притворила двери и провела чрез сени, отделявшие ее покой от покоя бабушки.

— А ведь ты не хотел идти ко мне сегодня, — сказала она тихо и тоскливо.

— С чего ты это взяла? — спросил я, тихо сядя около нее.

— По всему видно. Мне недаром как-то скучно сегодня. Сестра отправилась ночевать к тётушке и взяла с собой девушек; а бабушка ложится с курами.

— Как же ты теперь одна, без прислуги?

— Мне прислуги не нужно, — отвечала Залиха. — Бог с ней совсем! Давно я хотела поговорить с тобой. Все время не обращали внимания на окружающих, а они зорко за нами следили; все, что мы ни говорили, известно в ауле. Все в доме смотрят на меня косо: даже сестра переменилась ко мне, но все наши домашние не так опасны, как семейство Бей-мурзы... Сегодня старший его сын зашел к нам, посмотрел так страшно, что я поскорей ушла к бабушке. Какая-то беда грозит и тебе и мне, это я предчувствую.

— Да по какому же праву каждый бездельник в вашем доме присматривает за тобой. Неужели и бабушка не понимает, что ты вправе распоряжаться своим сердцем, как знаешь.

— Она любит меня, да что толку? Бедная бабушка в своем доме кукла, щепка — ничего больше.

- — Да кто ж управляет вашим домом?

— Тетка, — отвечала княжна, — хотя она и не живет здесь, но без ведома ее у нас ничего не делается; тетка меня никогда не любила и теперь на меня злится. Бабушка же так хила и слаба, что от всей души верит в тетушку.

— А отец? — спросил я, чувствуя, что этот простой разговор будет иметь великое влияние на нашу участь.

— Никто здесь не знает, существует ли он на свете. Он живет между русскими, он к нам не пишет, за все это время был только раз, и то как будто не в свой дом приехал, — на меня и на сестру только поглядел, да и только...

— Да что же ты будешь делать, когда умрет бабушка? — спросил я. — На отца плохая надежда — куда же ты пойдешь с сестрою? [75]

— Тогда перейдем к тетке, или... — Княжна замялась и краснея потупила глаза, на которые набежали слезы.

Я понял ее недосказанную мысль — и передо мной промелькнула горькая участь черкешенки. Злая тетка, хилая бабушка, отец, по всей вероятности отступившийся от родного края и семейства, замужество с каким-нибудь безобразным джигитом, и никакой будущности, ни тени заступничества ниоткуда! Сердце мое обливалося кровью.

— Итак, — начал я, после продолжительного молчания, — положение твое незавидно, милая Залиха! Ты сама знаешь, как я люблю тебя. Еще несколько дней назад я думал, что ничто не мешает мне назвать тебя своей женой — теперь я вижу, что здесь все против меня и тебя. У кого должен я просить твоей руки? Тетка твоя нас ненавидит, Бей-мурза...

— За твою просьбу тебя оскорбят как мальчишку, — добавила Залиха.

— Я даже не знаю, где живет отец твой...

Княжна вздохнула и покачала головой как бы отклоняя от меня и это последнее средство.

— Если так, — проговорил я дрожащим от волнения голосом, — мне надо увезти тебя подальше отсюда.

— Куда?

— Туда, где я служу, в Россию! Согласна ли ты на это, моя милая, дорогая Залиха?

Княжна устремила глаза в землю и, казалось, слова мои «в Россию» ее поразили!

— В Россию, в Россию, нет! Уж лучше побывай у Бей-мурзы, — проговорила она после маленького раздумья. — Он, может быть, пожалеет меня... а если он откажет, тогда...

— Залиха! — проговорил я с горячностью. — Требуй от меня все, что угодно, но не говори мне о Бей-мурзе. Никогда не унижусь перед этим дикарем, никогда не перенесу

его отказа и зарежу его или сам прощусь со светом, Зачем прибегать к унижительным мерам, тогда как ты свободна располагать собой, когда ни совесть и ничто в мире не может тебя упрекнуть... Мало ли у нас случаев, что девушки оставляют отца — мать для избранных? Что ж ты молчишь, Залиха? Ты не знаешь, что за люди — русские: одно их имя тебя пугает по-пустому, от души полюбишь их... Друг мой, душа моя! Ради Бога, не бойся пустой мысли; ведь этого я потребовал бы даже в таком случае, когда бы твои родные и согласились на наш брак. Бросить свою службу я не могу, оставить же тебя в ауле и подавно... Ведь и отец твой в России — мы его там отыщем, и он же тебя простит первый...

— Аллах! Как я несчастна! — вскричала Залиха, быстро поднимая голову. — О, зачем мать родила меня? [76]

— Да ведь ты не одна обречена на борьбу с обстоятельствами — с тобой человек, готовый умереть для твоего счастья. Мне нечего говорить больше. Делай что хочешь: а я скажу одно — не ты первая и не ты последняя бежишь из родительского дома.

— Да ведь не в Россию бегают, — робко возразила княжна.

— Ну, так оставайся здесь! — вскричал я с досадою.

— О, с тобой — хоть в ад! — вскричала в свою очередь. Залиха и бросилась прямо мне на шею... — Только ради самого Аллаха скорее, скорее, я не могу здесь оставаться — мне совестно будет, смотреть в глаза сестре и бабушке.

В это самое время слышался шорох за дверью. В одно мгновение я вырвался из объятий княжны и с кинжалом в руке выскочил из комнаты, готовый на все. Темнота на дворе скрывала людей, но сильный треск сухого плетня, чрез который прыгнуло несколько человек, убедили меня, что наш разговор не остался тайной.

До сих пор весь аул мог знать, что мне княжна нравится, что я говорю с ней у ворот ее дома — но посещение девушки ночью, в ее комнате... Узнанное и перенесенное болтунами, грозило нам обоим страшной бедой. Я вернулся к княжне и, по моему встревоженному лицу, она поняла, в чем дело. Мы условились бежать завтра же, — медлить было нечего. Уйти из аула тотчас же оказывалось опасным — люди, нас подслушавшие, вероятно, были невдалеке. Я посидел еще немного и, попросив княжну приготовиться к назначенному сроку, пошел домой; всю дорогу я не выпускал из руки пистолета со взведенным курком. Предосторожность оказалась излишнею: я без всяких приключений добрался до своей кунацкой. В эту ночь, едва ли не впервые, я испытал мучительную бессонницу. Мрачные мысли, страшные, дикие предположение роились в голове и беспощадно терзали меня. Всего сильнее занимала меня мысль: почему мои враги и сын Бей-мурзы не напали на меня дорогой? Трусом из них не был никто. Оскорбленный черкес способен на самые дерзкие предприятия. Оставив намерение поймать меня на месте свидания с Залихой, противники мои, без сомнения, решились воспользоваться моим свиданием и разговором с княжной. Если горец отказался от скорого мщения, — значит, он готовит хитрость, которая опаснее кровавой встречи. В таких предположениях и догадках я ворочался с боку на бок до восьми часов утра и уже готовился приподняться с постели, как в дверях раздался стук — чего никогда не бывало.

— Кто там? — спросил я.

— Пора вставать, душа моя, — отвечал знакомый голос старика Ибрагима, который

посещал меня очень редко и, конечно, на этот раз пришел не даром. [77]

Проворно вскочив с постели, я наскоро натянул бешмет, поправил смятую постель и открыл дверь.

— Э, да ты, как я вижу, далеко отстал от своих отцов, — говорил старик, медленно входя в саклю, — ну можно ли так долго спать? Смотри, солнце уже на целый аркан поднялось. Эх, у нынешней молодежи кости стариковские!.. На что уж я, благодарение Всевышнему, восьмой десяток доживаю, отца твоего ребенком помню, и то раньше тебя поднялся.

— Что ж делать, тхамата (Старший.), — возразил я, — одни люди на других не похожи. Отцы наши жили так, а мы иначе.

— Понимаю, — мрачно проговорил старик, садясь на скамью, — только не время тут виновато, а гяуры, что к нам подсоседились... Но дело не в этом. Живите себе, как хотите, как умеете. Нам, старикам, не соваться в ваши дела, да и советы наши для вас что лай собаки. А я теперь, если угодно выслушать, пришел от княгини с поручением.

Я изъявил согласие и приготовился выслушать речь тхаматы, но не скоро понял сущность поручения. Добрый старик, по обыкновению всех стариков, начал едва ли не от сотворения мира. Прежде всего он коснулся услуг, бог весть когда оказанных покойному родителю, привел несколько примеров своей усердной службы, далее припомнил десяток пословиц, из которых каждую можно было толковать так: — «молодой человек, слушайся людей старых».

— Затем, князь мой, — приступил он наконец к делу, — я пришел не от себя, а от княгини, твоей матери. Ты огорчил и ее, и самого храброго из узденей наших... Не дальше, как сегодня утром, Бей-мурза присылал просить княгиню, чтобы она поудержала тебя от детских шалостей.

— Об этом пусть просят меня, а не мать, — сухо возразил я, поняв всю язвительность послания. — Мать моя женщина, за свои поступки отвечаю я сам, а никто другой...

— Не мешай, пожалуйста, — бесцеремонно перебил старик, — ты ничего не смыслишь. Тут нужно хладнокровие, а где ты его возьмешь, когда и верному слуге не даешь сказать слова? Бей-мурза жалуется, что ты связался с княжной Залихой. А так как он на днях сговорил ее за богатого князя, так ты сам хорошо понимаешь... — При этих словах я побледнел так, что добрый старик сжалился надо мною. Что-то вроде сожаления мелькнуло в его глазах.

— Ты этому не удивляйся, — начал он кротко. — Наш черкес стал скрягой, чести в нем лучше не ищи, нашелся богатый жених, чего ж держать девушку? Тут тебе нечего делать, подумай лучше [78] о матери. Или весело княгине, что ты из-за девчонки потерял дружбу такого семейства.

— На что мне эта проклятая дружба, — возразил я резко. — Я не позволю вмещаться в мои дела. Я напишу к отцу Залихи, я переговорю с ней...

— Ну, переговорить-то тебе не удастся, — возразил Ибрагим холодно.

— Почему не удастся?

— А потому, — отвечал старик, — что Бей-мурза еще ночью увез Залиху и запер ее там, куда и сам шайтан не проберется. Не хочешь слушаться нас, ищи ее сколько хочешь, а княгиня, твоя мать, коли ты снова станешь дурачиться, проклянет тебя и при свидетелях откажется признавать тебя своим сыном. Вот зачем я пришел сюда, а теперь делай как сам знаешь. — С этими словами обиженный старик живо соскочил с места и, схватив суховатую палку, почти выбежал из кунацкой.

Несколько минут стоял я как вкопанный: язык онемел, и если бы не стыд, то я залился бы горячими слезами.

Преодолев свое отчаяние, я кинулся к дому, где жила Залиха. Все было пусто и кругом, и в доме. Все обозначало отъезд, спешный, но обдуманный заранее и исполненный осмотрительно. Бей-мурзы тоже нигде не было, в сакле его я нашел только слугу, оставленного дома и отдававшего его поручение моей матери — на все расспросы, обещания, угрозы он отвечал упрямым молчанием.

Как сумасшедший, я стал ходить по аулу, и тут-то вполне горько уразумел мое одиночество на родине! Не было человека, к которому мог бы я обратиться за советом, не было простого слуги, который захотел бы ответить слово на мои расспросы. У Бей-мурзы было много родни по соседним аулам: ни в один из них не было мне доступа — в каждом меня встретили бы как врага или шпиона!

Бедная Залиха! Какие гонения должна была она вытерпеть за это ужасное время! И аульская сплетня не пощадит ее, на нее укажут пальцами за то, что она полюбила человека, сблизившегося с русскими! И я был единственным виновником несчастья бабушки... Оправдал ли я перед ней свои обещания, умер ли у дверей ее темницы? Бросился ли я с отчаянием истинного горца на ее родных и гонителей хоть затем, чтобы умереть от их кинжалов? Я почувствовал, что меня во многом расслабило европейское воспитание, и что в душе моей нет сил на какое-нибудь отчаянное дело, которое разом или бы погубило меня, или бы сблизило меня опять с любимой женщиной.

Дни шли за днями. Я писал к отцу Залихи в Россию и не получил ответа. Я роздал все мои деньги, выпрашивая вестей, по ночам ездил в соседние аулы, все понапрасну. Мать моя занемогла, [79] и я должен был на несколько дней оставаться дома. В эти дни единственный из моих слуг, на которого можно было положиться, привез наконец вести от Залихи. Ее продержали несколько дней взаперти неподалеку от аула и выдали замуж, наскоро, в дальнюю сторону, за какого-то князя...

Прошло с лишком два года. Домашние обстоятельства заставили меня покинуть на время службу. Опять я дома, в кругу родных, в той самой сакле, где впервые боролся с детскими порывами сердца. Но, боже великий, сколько перемен произошло в эти два года! Как я устарел, изменился в такое непродолжительное время!

Заглядывая в свои записки, я едва узнаю себя! С каким детским простодушием вверился я золотым мечтам юности! Все необузданные порывы сердца, все безумные желания перегорели в груди, все испарилось и улеглось, как стоячая вода в озере. Только светлый образ предмета первой юношеской любви отрадно мелькает на темном фоне моего горизонта; и в этом жалком пепелище поднимается иногда угасшее чувство, не то, которое некогда не давало мне покоя, но скорее чувство сострадания к несчастной девушке, живой укор для расслабленной моей совести.

Сведет ли меня судьба вторично с таким существом? Никогда. Человеку не возвращается

однажды утраченное счастье — иначе на земле расплодилось бы много счастливых. Бедная Залиха достойна была лучшей участи; ее смелая любящая душа могла украсить любую из женщин, но оковы невежества не дали ей развиваться даже в том жалком кругу, в котором предназначено было ей действовать. А сколько подобных ей девушек сделалось жертвой корыстолюбия своих полудиких семейств! Говорят, что в высокоразвитых обществах продажа женщин не редкость, — а у нас в горах она не только не редкость, а общее правило.

Есть о чем сожалеть, есть о чем призадуматься. Грустно, тяжело становится на душе, когда подумаю о братьях. Низость, продажность, обман — все это губительно развивается среди народа, который когда-то не был чужд рыцарских правил и чтит имена предков. Что ж будет дальше? Есть ли какие верные залогов на лучшее будущее? Такие вопросы придут на мысль каждому, кто с участием проследит жизнь черкесов. Что касается до меня, который прежде пылал пламенной любовью к службе своих соотечественников, то я потерял всякую надежду сделать для них что-нибудь доброе. Да едва ли хватит и желания! Я так много перенес и пострадал на родине, что нужна нечеловеческая твердость для помыслов о преобразовании наших обычаев. Тяжело и горько тому, кто отступит от своей среды, и тяжело будет всякому из моих земляков, который хоть, в чем-нибудь отделится от своих [80] сверстников. И эти несчастные падут один за другим до тех пор, пока не переселят массы... Утешусь по крайней мере тем, что и я по мере сил своих когда-то мечтал о том, чтобы трудиться для дела просвещения, что и я преследовал какую-нибудь цель в жизни и... кто знает? Может быть, я посеял незаметно семя, плодом которого воспользуется другой, более счастливый человек. И то благо...

II. УЧЕНИК ДЖИННОВ

...Опять я дома. Аул, по-видимому, несколько не изменился, а на самом деле время произвело много перемен. В тех местах, где прежде прыгали телята, да гуси щипали траву, красуются теперь новенькие сакли переселенцев из других аулов. Много старых саклей покачнулось в сторону и не будь толстых подпор, давно бы повалилось. Безжалостное время разрушительно коснулось и самих обитателей саклей. Многие из них заняли свои последние места на кладбище далеко от аульной ограды, другие так постарели, что их и не узнаешь. Молодые люди пережились, остепенелись и почтительно уступают дорогу подрастающему поколению. Все изменилось в большей или меньшей мере... Разве не то же происходит во мне? Давно ли я мечтал о преобразовании своих братьев? А теперь я думаю о другом, преследую другую, цель с прежним жаром. Я принимаюсь за перо с тем, чтобы передать бумаге разные любопытные черты из нашей жизни. Материалов пропасть. Целое необработанное поле лежит предо мной. Нужно же когда-нибудь занять нам свой уголок в огромной семье человечества: нужно же нам знать, что мы такое, и нужно, чтобы и нас узнали... Много, очень много можно бы сделать на этом поприще человеку, более сведущему, имеющему более твердости и воли. Но скоро ли найдешь такого человека? А до того времени я сделаю что могу. Окончится ли новое предприятие также ничем, как все мои начинания, или найдет лучший исход, — известно одному богу. Хорошо и то, что есть чем убить праздное время. Начну свои описания с того, что более меня поразило и что некоторым образом может служить извинением неуспеха моего в деле преобразования братьев.

Наскучив сидеть дома, я отправился в аул родного дяди. Дядя — простодушный, добрый человек лет сорока пяти — принял меня радушно, насколько позволяли обычаи и этикет соотечественников: много расспрашивал о моей службе, о моих дальнейших надеждах, словом, коснулся всего, что может интересовать близкого нам человека. Получив на все

удовлетворительные ответы, он поблагодарил Аллаха за милость и покровительство, а потом незаметно перешел к себе. Вопреки моим ожиданиям в [81] рассуждении о хозяйстве и прочем дядя выказал практический ум, навык и глубокое соображение. Качества эти очень редки, или если к бывают, то вовсе не высказываются в черкесах. Сколько раз ни случалось мне рассуждать с этими людьми, всегда собеседник мой и рассказчик немилосердно хвастался чужими или своими подвигами. После таких рассказов я думал, что полезнее было бы позабыть подвиги удайства и заняться мирными делами. Дядя мой был первый, от которого я услышал о земледелии, скотоводстве и прочих полезных занятиях. Я душевно обрадовался этому. В деле военном он нисколько не отставал, от других, даже, по общему свидетельству, отличился в двух кровопролитных стычках, имея в душе глубокое религиозное чувство, чуждое кощунства, но, к сожалению, не чуждое фанатизма. Как питомец старого поколения, он питал в душе непримиримую вражду к русским; но никогда ни словом, ни делом не обнаруживал этого нерасположения. Умный, проницательный, он не мог не заметить благотворного во многих отношениях влияния русских, но при всем том моя просьба, чтоб он отправил одного из своих сыновей в корпус, осталась тщетной. «Бог с ними, пусть себе остаются дома. Зачем мне, на краю могилы, брать на душу грех?» — был его ответ, всегдашний и неизменный.

Вечером в кунацкой старика составилась порядочный кружок из почетных стариков аула. От молодого горца никогда не добьешься путного — он так и наровит щегольнуть винтовкой и конем, а эти вещи давно уже перестали занимать мое воображение. Я с нетерпением озирался кругом и жадно ловил малейшее движение гостей — вот-вот, думаю, кто-нибудь откроет свои благоразумные уста и умная, сладкая речь польется рекой. Не тут-то было. Разговор как-то не клеился, старички перебрасывались незначительными вопросами и ответами. Я потерял терпение и готовился выйти из сакли на чистый воздух, как внесли два столика с горячей бараниной и два толстых кувшина с шипящей бузой: все это очень приятно подействовало на стариков: разговор оживился. Один из столиков поставили около дяди, к нему подсели трое, а другой столик окружили остальные. Я не сел, несмотря на все просьбы стариков. Один из гостей, сидевший за столом дяди, покусился было доказать, что так как я более русский, чем черкес, то этикет нисколько не нарушится, если сяду в присутствии дяди, но его скоро заставили замолчать, доказав убедительнейшим образом, что всякий человек, где бы он ни был воспитан, должен строго соблюдать приличие в своем родном кругу. Тема эта, а главное, крепкая медовая буза, окончательно развязали языки старикам. Пошли воспоминания, приключения всех родов и свойств — и ужасные и очень обыкновенные; поевши и промочив горло, старички мои так воодушевились, что начали даже подтрунивать друг над другом. [82]

— Эх ты, кривой черт, — говорил один гость с красными щеками и такой же бородой, сидевший за вторым столом, обращаясь к старику с одним глазом и общипанной бородкой, — зачем ты купил молоденькую служанку, а?

— Поздравляем с обновкой! — раздалось несколько голосов.

— Именно с обновкой, — подхватил краснощекий. — Хе, хе, хе! Даю отрезать нос, если кто-нибудь из вас знает, какая славная обновка у нашего кривого черта.

— Перестань, пожалуйста, болтать вздор, — перебил наконец кривой, выведенный из терпения.

Большая половина компании засмеялась и еще более смутила охотника до молоденьких

служанок.

— Подавайте кривому бузы! — заорал краснощекий. — Лейте ему бузы, он подавился! — Громкий хохот раздался снова, но кривой старик, казалось, не требовал ничего лучшего, беспрекословно осушил две огромные чашки бузы и позабыл свою досаду.

— Ну, теперь твоя очередь, ученик джиннов! — произнес краснощекий, вообще обнаруживавший сильное покушение к злым выходкам. — Расскажи-ка кое-что из своих чертовских походов!

Ученик джиннов оказался хладнокровнее кривого старика: он не показал даже вида, что слышал, и продолжал с большим искусством отрезывать жирные кусочки баранины.

— Что ж ты молчишь? — допытывался краснощекий. — Или черти привязали язык твой веревочкой?

— Дурак ты, — молвил ученик джиннов, не поднимая головы, — коли я ем, так значит, язык не привязан.

— Да, да, один Аллах знает, что ты делаешь со своими учителями, — проговорил краснощекий, заметно затрудняясь хладнокровием противника.

— А коли один Аллах знает — так тебе тут болтать нечего! — закончил ученик джиннов.

Краснощекий послушался совета и никого более не тревожил. Но его таинственные намеки сильно меня заинтересовали. Я начал внимательнее рассматривать ученика джиннов. То был мужчина средних лет, среднего роста; бледное сухощавое лицо, с едва заметными морщинами, с темно-каштановой бородой, было приятно на вид (в юности его оно, вероятно, было очень красиво); его маленькие, серые глаза, исчезавшие в глубоких впадинах, и тонкие, правильно очерченные губы, придавали ему насмешливое выражение. Одет он был просто, но чрезвычайно опрятно. Желтая черкеска без всяких украшений, белая папах с черным околышем, бешмет тоже из какой-то черной материи, — не пристыдили бы хозяина при дворе самого взыскательного князя... Когда ученик джиннов встал из-за стола, я заметил, что он прихрамывал на [83] правую ногу. Во весь вечер он не произнес ни слова, но мне все казалось, что он «дейтельно участвует в разговоре — его глазки то и дело перебегали с одного гостя к другому. Никто, даже краснощекий сатирик, не выдерживал долгого их взгляда.

По всему было видно, что ученик джиннов — лицо значительное, заслужившее, бог весть почему, особенное уважение почетных представителей аула. Это высказывалось в его взоре и движениях, исполненных достоинства и какого-то притязания на господство. Личности, подобные ему, не исчезают в толпе.

Когда гости отправились по домам — кто верхом, кто пешком, я спросил дядю, кто такой ученик джиннов, и отчего краснощекий назвал его таким странным именем. «Расскажу завтра, — отвечал дядя, — это целая сказка». Дядя отправился к себе домой, приказав принести мне ужин. Я отказался от ужина и лег спать.

Целую ночь мерещился мне ученик джиннов: его сухощавая фигурка то и дело прыгала передо мной. Сон мой был прерывист и неспокоен. Когда дядя пришел утром в кунацкую и спросил меня: «Что глаза красны? Не выспался, что ли?» «Ученик джиннов не давал спать», — отвечал я. «Не то еще будет, когда узнаешь о нем кое-что», — возразил дядя

таинственно. Еще более заинтересованный, я ему напомнил вчерашнее обещание. «Расскажу, так и быть!» — начал дядя и приказал подать калмыцкого чаю для освежения горла. Из этого распоряжения я догадался, что история ученика длинна, да при том очень интересна. Дядя придавал ей чуть ли не всемирное значение, потому-то и позволил мне сесть в углу, на конце длинной скамьи, сказав: «Теперь можно сесть, ни кого нет посторонних».

Явился человек со столиком, на котором лежали и стояли хлеб, нарезанный на длинные тоненькие кусочки, две большие чашки из красного Дерева и с резьбою, ложки, масло в блюде и прочие принадлежности калмыцкого чая. Чай принес другой человек. Столик, как и вчера, был поставлен около дяди, а мне, хотя и не было посторонних, порцию подали отдельно, на тарелке.

— Хаджимет, наш сосед, известный в народе больше под названием ученика джиннов, — начал дядя, хлебнув чаю, — шестнадцати или пятнадцати лет, не помню, начал ходить в медресе 1 вместе с другими мальчиками аула. Скоро он определил всех своих товарищей, и тогда как они целый год получали от муллы фалака (Удары по пятам.) за азбуку, он уже бойко читал хавтиск (Седьмая часть алкорана.). Учитель очень полюбил Хаджимета за понятливость и за две коровы обещал его приготовить на свое место. Хаджимет уже заранее радовался, что, может сделаться аульным муллою, и еще больше стал заниматься.

[84]

Чрез два года прошел весь Коран на память, в несколько месяцев повторил его еще раз, и уже думал взяться за перевод, как вдруг Аллах послал несчастье на его голову. Верно, так было ему записано на роду. Он заболел горячкой и два года ровно пролежал на постели; наконец, горячка обратилась в чертову болезнь (вероятно, то, что прежде называлось беснованием). Все знахари, старушка-лекарка, даже сам мулла, который сильно печалился об участи своего ученика, — все они ничего не могли сделать против страшной болезни. Хаджимет бесился, рвался из рук и кричал до тех пор, пока не показывалась пена изо рта, тогда он падал на землю без памяти. Родители сначала ухаживали за ним как следует, привязывали его к столбу во время бешенства, а потом погоревали, поплакали да и пустили сына на все четыре стороны. Хаджимет бродил из аула в аул, питался милостыней, одевался в лохмотья, какие бросали ему из жалости. Никто наверное не знал, где он проводил ночи: одни рассказывали, что он ночевал в мечетях; другие утверждали, что сами видели, как он, сидя на берегу реки, громко читал по ночам какую-то книгу. Раз, это было летом, во время покоса, две лошади выбежали из моей конюшни и прямо в степь. Конюха в то время не было дома. Я туда-сюда — никого из мужчин нет. Нечего делать, пропадут, думаю, лошади ни за что, и поехал их отыскивать. Становилось темно. Нет нигде вблизи лошадей, сквозь землю провалились. Еду дальше к Кубани, думаю — не пошли ли они напиться; нет и тут. С досады я стал на одном месте и смотрел... как вдруг слышу чей-то голос; прислушиваюсь — точно женский. Что за дьявол, думаю, кто же в такое время пойдет на берег, тем больше трусливая женщина? Подъезжаю к обрыву и смотрю вниз. Что ж ты думаешь? На камне сидит кто-то в белом платье, ноги в воде, держит книгу в руках и громко читает. Валлахи, я испугался, особенно, когда конь мой взвился на дыбы и пугливо бросился назад. Бог с ним, кто бы он ни был, подумал я, и скорее отъехал от берега. Долго еще доносился до меня голос незнакомца, сливавшийся с ревом и шумом реки; а конь мой зашагал так скоро, что я несколько раз оглядывался назад, чтобы удостовериться, не подгоняет ли кто его... Когда я приехал домой, конюх сказал, что лошади отыскились в ауле, но я целую ночь не мог сомкнуть глаз. Вспомнив рассказы про Хаджимета, я догадался, что это был он. Вечером никто ни за какими пропажами не ходил к берегу.

Чрез несколько лет Хаджимет поправился совершенно, женился, завел хозяйство и стал жить хорошо. Только каждый раз в полночь исчезал из дому и возвращался как раз в то время, когда петухи прокричат три раза.

Он начал лечить больных от горячки и других болезней. Но, несмотря на просьбы и увещания бывшего своего учителя, он [85] никогда не ходил в мечеть и дома не молился, а когда учитель спрашивал, зачем он это делает, — отвечал: «ваше учение никуда не годится, я учусь у таких людей, которые знают все; даже язык растений». Мулла качал головой и, возвратившись домой, молился об уразумении заблудившегося... Между тем успехи Хаджимета в лечении росли с каждым днем и доставляли ему в большом количестве лошадей, коров и проч. Болела ли у кого голова, живот или что-нибудь другое — то тотчас к Хаджимету.

Князь Камбулат, у которого жена два года была одержима нечистыми силами, пригласил Хаджимета, обещав, в случае удачи, подарить ему десять кобылиц с жеребцом. Хаджимет, разумеется, не прочь от такой поживы, приехал к князю и тотчас потребовал, чтобы ему отвели отдельную саклю и позволили осмотреть наедине княгиню. После осмотра больной, он заперся в отведенной ему сакле и пять дней сряду не выходил оттуда. Говорят, он призывал в это время джиннов на совещание; наконец, на шестой день — это было как раз в пятницу — приходит он к Камбулату.

— Ну что, — спрашивает тот, — как идет лечение?

— Все кончено, — отвечает он, — только прикажи разрыть четыре угла той сакли, где ты прежде жил.

— Да ведь сакля давно поломана, — говорит Камбулат.

— Все равно, — отвечает Хаджимет, — лишь бы узнать, где она стояла.

Пошли к тому месту, где некогда стояла княжеская сакля. Место было обращено в стоянку для скота. Хаджимет взял палку, очертил квадрат и говорит: «Копайте вот эти четыре угла, а потом посмотрим». Начали копать крестьяне Камбулата и к вечеру едва сладили — так много было навозу. Хаджимет посмотрел в ямы, пошарил в выброшенном навозе — ничего нет. «Копайте! — говорит, — посередине». Пошли опять в работу лопаты и была вырыта широкая яма, по пояс самому высокому человеку. Хаджимет влез в нее, запретив смотреть на себя, а чтобы кто не полюбостествовал, просил всех тут бывших отойти от ямы. Когда он вышел из ямы, то держал что-то в руках. Все обступили его кругом и ждут, что он скажет.

— Вот, — говорит наконец Хаджимет, обращаясь к Камбулату, — вот причина болезни твоей домашней (супруги). — С этим он подал князю сафьянный мешочек, пожелтевший от навозу. Все, даже сам князь, разинули рты и молчат, не понимая, что бы значил мешочек. Хаджимет распорол мешочек и высыпал из него все принадлежности человеческого тела. Тут были и ногти, и волосы, и кусок человеческого мяса, и черт знает чего тут не было — всего не припомнишь. Зрители отвернулись от гадостей, плюнули с негодованием, и каждый про себя прочел молитву. Хаджимет сжег [86] всю нечистоту у изголовья больной, дал ей еще какое-то лекарство, и точно, что жена Князева выздоровела через неделю, а врач погнал домой десять кобылиц с жеребцом. После этого имя Хаджимета сделалось известным во всех аулах. Даже в Кабарду два-три раза приглашали его; и везде за ним шла удача, так что Хаджимет в скором времени сделался богачом.

Два месяца спустя после выздоровления княгини в нашем ауле заболела жена одного узденя; разумеется, тотчас Хаджимету говорят: «возьми от нас что хочешь, только спаси больную». «Спасение в руках Божьих, — отвечает Хаджимет. — Попробую». Посмотрел на больную, покачал головой и после этого три дня пропадал из аула. На четвертый день утром, помнится в пятницу, является с какой-то желтой травкой. Он высушил траву на огне, раскрошил ее в мелкую муку и, сварив в козлином молоке, дал выпить больной. Аллаху одному известно, что за чертовская сила заключалась в траве, только она словно лопатой перевернула больной всю внутренность. Бывшие в сакле подняли было страшный вой, Хаджимет выгнал их прочь и строго запретил входить туда. Больная после долгих мук выкинула горлом целый ком рубленой соломы. Глаза ее прояснились, язык отнявшийся за несколько дней, снова получил способность говорить. Скоро она поднялась на ноги. Родственники бросались к Хаджимету благодарить за помощь и предлагали ему какое угодно вознаграждение. Он им сказал: «Конечно, я с вас возьму, что следует за мой труд, но дело не в том. Сколько подобных этой больной отправилось на тот свет! Смерть, конечно, определена каждому живому существу, но иная смерть идет от людей злых, что изводили род человеческий». С этими словами Хаджимет поспешно отправился домой. В полдень, когда жители собрались около мечети, один из почетных стариков аула по поручению друзей вылеченной женщины повторил во всеуслышание таинственные слова Хаджимета. Все изумились и долго ломали головы, чтобы разгадать смысл его слов, наконец решено было потребовать самого Хаджимета и просить его пред лицом всего аула открыть тайну. Два старика отправились к нему от всего собрания. Сначала он отказывался говорить, но потом пред целым аулом назвал по имени двух женщин, которые портили людей. Одна из названных была старуха, лет шестидесяти, злая карга и, наверное, ведьма, другая — молодая вдова, бывшая когда-то за тем узденем, жену которого вылечил Хаджимет. Она враждовала со своей соперницей, а ревность, как известно, все в состоянии сделать... Когда Хаджимет кончил речь — ропот негодования пробежал по всему собранию. Каждый стал побаиваться, чтобы не испортили его или кого-нибудь из ближних.

— Что ж нам делать с этими ведьмами? — спросил Хаджимета один из собрания. [87]

Это не мое дело, — отвечал он, — я исполнил свой долг, а вы делайте, что хотите.

— Сжечь их! На костер их! — раздалось со всех сторон. Побежали, кто куда попало за дровами, вырвали из земли целый плетень возле мечети, и пред самой мечетью запылал такой костер, что в двадцати шагах нельзя было стоять от жару. Скоро притащили и ведьм. «Сколько людей сгубили вы на своем веку? — спрашивали их. — Сознавайтесь!» Ведьмы молчали. «В огонь!» — раздалось сильнее прежнего. Тогда старуха вырвалась и бросилась к Хаджимету, который стоял, прислонившись спиной к ограде.

— Ты меня оклеветал! — кричала старуха, рыдая. — Ты позабыл Бога. Что я тебе сделала! Кого я погубила?! Скажи, вот перед этим собранием правоверных! — Хаджимет не отвечал, даже не поднял глаз, только махнул рукой стоявшим вблизи. Старуху подхватили под мышки и потащили к костру. Жалобные вопли несчастной скоро затихли, и в несколько минут старуха совсем исчезла в огне и дыму... Очередь дошла до вдовы, которая все время стояла с закрытым лицом. Она молчала, и только иногда заметно было, как дрожь пробегала по ее телу. Мне жаль стало ее: да и все, сказать правду, жалели. Только один голос раздался из всего собрания — голос брата вылеченной женщины.

— Рано ты начала губить людей! — кричал он неистово. — Так изволь же теперь пойти в огонь! Чего ж вы еще ждете? — С этим он выбрал толпу за медленность и диким зверем ринулся на вдову. Несчастливая, видя, что нет надежды на спасение, сама судорожным

движением руки сорвала с головы платок и с распущенной длинной косой, с отчаянным криком: «Аллах да осудит меня и вас!» — бросилась в огонь. Пламя раздвоилось и быстро обхватило платье и косу несчастной. Я видел, как она хваталась за голову, за лицо и кружилась с бешенством... Больше я не имел силы смотреть и, сев на коня, ускакал домой.

Смерть этих женщин не посчастливилась Хаджимету, он делался еще более молчаливым, задумчивым, а главное, поклялся (по-своему, конечно) никого больше не лечить. Собранное леченьями имущество исчезло в два-три месяца, и теперь все состояние Хаджимета — одна лошадь да лягавая собака. Но это бы еще не беда! Вскоре после смерти ведьм главный наш кадий 2 начал сильно преследовать Хаджимета. Хаджимет удалился в лес и только по ночам являлся в аул пугать жителей. Тут пошли разные толки про него. Одни рассказывали, будто видели его с предлинными когтями и с вывороченными ногами, другие уверяли, что он мучит лошадей, доит коров. Одна баба даже распустила слух, что он, явившись в полночь в образе большой серой кошки, задушил перед ее глазами ребенка. Такие слухи еще больше раздражали кадия. Он приказал во что бы то ни стало поймать Хаджимета и сжечь [88] его, как колдуна и еретика. Но как не нашлось охотников на такое отважное дело, то кадий послал собственных крестьян. Им как-то удалось подкараулить Хаджимета в его же доме, когда он воротился на время из лесу. Дом со всех сторон окружили, но ни один из крестьян не осмелился в него войти. Долго они возились, браня друг друга за трусость, наконец жена Хаджимета вышла к ним и объявила, что муж ее скрылся в то время, как они подходили к сакле. Крестьяне, разумеется, этому не поверили и обшарили все углы, но никого не нашли.

Бегство Хаджимета подтвердил и работник, возвращавшийся с поля с возом сена: он видел своими глазами, как Хаджимет, с топором в руке, с блестящими, как у волка, глазами пробежал мимо; а бежал он так легко и быстро, что не только резвый конь, но даже птица крылатая не могла бы догнать его — он как будто не касался земли ногами. Работник так сильно перетрухнул, что оставил на дороге воз и, едва переводя дух, добежал до аула. Так продолжалось месяца два. Надоело, что ли, Хаджимету жить в лесу, или другое что — аллах ведает, только раз рано утром приводит он ко мне и говорит: «Избавь меня, если в бога веруешь, от гонения. За что губят несчастное мое семейство? Что я сделал кадию? Не вредил я ему ни на одну иголку». Жаль мне стало бедного человека, хотя был и сильно озлоблен на него за смерть несчастной вдовы, которая, как начали поговаривать, погибла только за то, что отказала Хаджимету, когда он хотел взять ее в жены. Поехал я к кадию и убедил его, что ученик джиннов впредь не будет делать ничего противозаконного. Кадий дал слово успокоиться, если Хаджимет поклянется на алкоране оставить навсегда свои колдовские дела. Хаджимет поклялся всенародно, и с того времени живет очень скромно, не ходит ни к кому в аул, только изредка посещает меня, вероятно, в благодарность за оказанное заступничество.

— Вот тебе история Хаджимета, — говорил дядя, встав с места. — Теперь ты понял, почему краснощекий называл его учеником джиннов. Ты сам, если хочешь, можешь с ним познакомиться и узнать от него еще кое-что. Да, впрочем, — прибавил он смеясь, — Хаджимет терпеть не может русских. Уже пятнадцать лет прошло с тех пор, как мы пососедились с станицей, а он до сих пор не был в ней ни разу. Если нужно продать лисичьи шкуры, за которыми он таскается целую зиму, то отдает их кому-нибудь. По этому случаю я расскажу тебе один случай с Хаджиметом, кажется за два года тому назад. Нужно тебе сказать, что кроме лисиц и волков, наш сосед любит стрелять и фазанов, которых очень много в прибрежном бурьяне. Вот он раз и поехал на охоту, бродил долго, но, как нарочно, все фазаны улетели, досадно стало ему, разумеется, как хорошему охотнику, что с пустыми руками приходится вернуться: [89] он переехал Кубань, под

самым пикетом 3 стреножил свою лошадь, а сам начал осторожно подкрадываться к двум фазанам, сидевшим на ближнем дереве. Едва он выстрелил, как послышался позади говор: оглянувшись, около лошади четыре конных казака. Дыбом стали волосы Хаджимета при виде их. Казаки хотели увести лошадь, но он бросился на них с неистовством и отбил ее. Тогда казаки; потребовали его за собой к станичному начальнику на расправу: переходить через Кубань не было позволено. Нечего делать — поехал наш колдун с казаками, но доехав до ворот станицы, не хотел больше ступить и шагу: тут завязался жаркий спор. Казаки старались потащить Хаджимета силою, а он все не давался им в руки. Дело кончилось бы непременно дракой, если бы, к счастью, не подоспел переводчик, знавший лично ученика джиннов. Переводчик не мог удержаться от смеха при виде этой сцены: кое-как он убедил казаков отпустить колдуна, взяв ответственность перед станичным начальником на себя. С того дня нога Хаджимета ни разу не перешагнула Кубани. Потому не ручаюсь, чтоб колдун наш при такой ненависти к русским мог с тобой сдружиться.

— А разве я русский? — спросил я на это замечание.

— Все равно, что русский, — возразил дядя, — когда живешь между ними. Так, по крайней мере, рассуждает Хаджимет. Впрочем, — прибавил он, — я попробую как-нибудь сблизить вас. Ты сам увидишь много странного в этом человеке. — С этими словами дядя отправился в мечеть, куда уже призывал неутомимый поборник веры — голосистый муэдзин 4.

Оставшись один в кунацкой, я решился до прихода дяди набросать на бумагу рассказ об удивительном человеке. Личность Хаджимета сильно заинтересовала меня: до того времени я не подозревал о существовании между моими соотечественниками настоящих чародеев. Но Хаджимет, судя по всем его действиям, никак не мог стать наряду с лживыми героями народной фантазии. Он действовал среди белого дня, при многочисленных свидетелях, к тому же действия его приносили народу больше пользы чем вреда. Он лечил такие болезни, которые, по мнению народа, происходили от враждебных человеку сил, — лечил такими средствами, которые не были известны весьма искусным лорским врачам и костоправам.

Я не мог себе никак объяснить, каким путем дошел Хаджимет до своих познаний во врачебной науке. Где он нашел, от кого узнал средства к тому? Эти сомнения и догадки я надеялся разрешить, познакомившись с самим учеником джиннов. К счастью, без большого труда мне удалось достигнуть этого знакомства... Между тем как я набрасывал то, что уцелело в памяти из рассказа дяди, он вернулся из мечети, да еще вместе с учеником джиннов. [90]

Какими средствами успел дядя победить отвращение Хаджимета ко всему русскому, не знаю, да и мало мне нужды до этого.. Едва вошли они в кунацкую, как дядя подвел меня к Хаджимету, отозвался обо мне о весьма хорошей стороны и прибавил, что я от души желаю покороче с ним познакомиться.

— Я очень рад, — отвечал чародей, окинув меня своими кошачьими глазами, — да и могу ли я отказаться от знакомства с человеком, тебе близким, будь он хоть русский.

Тотчас я разговорился с интересным лицом. Меня удивили его необыкновенный ум и опытность. О чем бы ни спросил я его, а чем бы ни говорил, он всегда находил что отвечать; и ответы были так кстати, так рассчитаны, что я без всякого труда понял то необыкновенное влияние на умы, которые производил мой собеседник. Кажется, и я произвел на него благоприятное впечатление, потому что он разговаривал со мной без

всякого стеснения, чего я не заметил в нем в обществе стариков. На первый раз этого было довольно, мы расстались друзьями. Я нарочно отложил отъезд домой еще на четыре дня. В этот короткий срок я хотел объяснить себе загадочную личность Хаджимета.

Прошел один день из назначенного срока — я не видел Хаджимета. На второй день у дяди было большое собрание по какому-то делу, касавшемуся интересов аула. Тут, разумеется, был и таинственный наш сосед. Начались беседы, жаркие споры между посетителями. Все принимали участие в общем деле, все более или менее горячились и старались дать перевес своему мнению, но больше всех страдал бедный мой дядя: ему не давали ни минуты отдыха. Посетители один за другим выводили его из кружка и, расположившись где-нибудь на траве, тихо с ним шептались. То же делали и все прочие между собой. Только один Хаджимет не принимал никакого участия в общей суматохе и оставался в кунацкой: от нечего делать он вырезывал ножом какие-то фигуры на дверях сакли, где и без того было бесчисленное множество значков, стихов из корана и ничего- не означавших каракуль. Я подошел к нему.

— У всех здесь свое дело, — начал я, — а у нас с тобой нет ничего; давай-ка о чем-нибудь потолкуем.

— Пожалуй, — отвечал он, — если тебе угодно. Мы тоже вышли из сакли и расположились подальше от отдельных совещательных кружков.

— Много я слышал от дяди о твоих удивительных делах, — проговорил я не без смущения, — но я желал бы услышать что-нибудь от тебя самого.

— Пусть другие рассуждают обо мне, — отвечал Хаджимет, — зачем же мне о том рассказывать? Ведь ты знаешь, как зовут человека, который только о себе говорить любит.

[91]

— Знаю, только сила в том, каков человек и кому он про себя рассказывает. Если мне хочется узнать кое-что о твоих делах, то, поверь, я хочу знать это только для себя. Разве не любопытно мне узнать, как ты вылечиваешь самые трудные болезни? Поверишь ли, что даже в России, где так много ученых докторов, не умеют лечить таких болезней.

Заметно было, что последнее замечание сильно польстило самолюбию моего собеседника. Его серенькие глазки запрыгали и заблестели таким живым огнем, что другой на моем месте приписал бы это влиянию нечистой силы.

— Да! — многозначительно возразил он. — Русским докторам и во сне не видеть того, что я знаю. Я понимаю язык всякого растения! Посмотрю на больного и пойду вечером в степь; тут все травы заговорят в один голос: «Возьми меня, Хаджимет, возьми меня! Я помогу твоему больному». Только не всякой траве надо верить, а надо выбирать такую, которая точно нужна.

— Как же ты узнал язык растений?

— Зачем тебе знать это? Если аллах не сообщил этой мудрости, то, значит, она тебе не нужна.

— Хитрости! — возразил я, желая подстрекнуть чародея и тем заставить его высказаться.

— Как хитрости? — живо проговорил он. — Да знаешь ли ты, что я могу хоть над тобой

сделать то, чему сам не рад будешь? Да хочешь я сделаю то, что ты едва ступишь шаг в темноте, то задрожешь от лихорадки и беспрестанно будешь оборачиваться назад: так и будет тебе мерещиться, что хватают тебя за шиворот.

Я улыбнулся и передал Хаджимету один рассказ о том, как пономарь обманывал какого-то попа в деревне.

— Как? Ты сравниваешь меня с гяурами, да еще с попом гяурским? — возразил чародей обиженным тоном. — Ну да Бог с тобой, я ссориться не люблю. Ведь не сам ты говоришь это: твоими устами говорят те проклятые книги, которым тебя учили русские: уж лучше я сделаю тебе услугу, за которую ты поблагодаришь меня как следует. Скажи мне откровенно: есть ли у тебя на примете любимая девушка?

— Нет, а на что тебе это?

— Известно на что: я бы привязал ее к тебе, так что днем и ночью она только бы о тебе думала.

— Мудрено что-то, — заметил я.

— Правда, мудренно, да не для меня; я расскажу тебе один такой случай. Был у меня добрый знакомый, довольно богатый человек. Он сильно заболел горячкой и прислал, к несчастью, за мной, когда приближался на край могилы. Я прискакал, посмотрел больного — и ахнул. По глазам было видно, что ему не жить и [92] трех дней. Досадно мне стало за бедного друга, а делать нечего. Обругав всех родных больного за позднее уведомление, я ушел, потому что и лечить не стоило. Больной между тем очнулся и потребовал меня. Бросились искать меня по всему аулу — подняли; суматоху. Послали гонцов, и как ни старался я скорее пробраться домой, но меня догнали, и я принужден был воротиться. Нечего тебе рассказывать, как больной укорял меня за побег; я все перенес, а больного все-таки не мог вылечить, да и облегчить его боли было уже поздно. Вот в ауле и пустились издеваться над моей неудачей; каждый раз, как слуга мой водил лошадей на водопой, одна служанка, стоя на дороге, насмехалась над ним и надо мною. «Что, — говорила она, — Хаджимет твой не вылечил своего друга? Верно, джинны от него отказались! Так-то он умеет обманывать народ! Сжечь бы его, проклятого, как сжег он невинных женщин!» Такие ругательства повторялись два дня сряду. Стыдно стало, наконец, моему молодцу переносить оскорбление от низкой твари; он пришел ко мне и рассказал все как было. Не бойся, — говорю я ему, — покажи мне только негодную, а там и сумею с ней справиться. Тот выждал, пока служанка показалась на улице, и прибежал ко мне запыхавшись. Я наскоро написал на бумажке слова два и вышел следом. Служанка с корзиной в руках шла к соседям и на повороте улицы столкнулась с нами. Я показал ей бумажку и тотчас спрятал ее в руке, потом мы спокойно вернулись в кунацкую. Наступила ночь. Больной на время успокоился и заснул: я тоже пошел немножко отдохнуть, но едва лег на постель, как кто-то стукнул в двери. Слуга хотел было отворить дверь, думай, что пришел кто-нибудь от больного, но я остановил его, зная, что это за посетитель. Стук все усиливался; я запретил товарищу говорить. Стучавший перешел к окну, как раз, к моему изголовью и давай царапать доски, словно голодная кошка. Строго наказав товарищу не отворять дверей и ничего не отвечать, я решился заснуть: да не тут-то было! Проклятая служанка, потеряв всякую надежду войти в саклю, завывала не хуже степного ветра: «впустите, говорит, правоверные мусульмане!» И чего она не говорила!.. Черт дернул слугу потушить огонь и тихонько отворить двери: ворвалась проклятая да и давай кланяться мне в ноги: «люблю, говорит, тебя больше всего на свете, не отгоняй меня, ради аллаха!» Я толкнул ее ногой и ушел вон из сакли. Она было за мной, да слуга,

спасибо ему, задержал ее... Тут Хаджимет улыбнулся так лукаво, что я понял смысл недоконченной фразы.

— Да что же такое написал ты на бумажке? — спросил я.

— Известно что, воззвание к джиннам!

Тут кто-то крикнул ученика джиннов по имени: он встал и подошел к какому-то черкесу в шубе; тот что-то шепнул ему на ухо и оба скрылись. Больше я ничего не успел выпытать от [93] таинственного ученика джиннов. И в тот вечер, и на следующие дни он стал? тверже на язык, и на все мои вопросы отвечал или словами: зачем тебе знать? Или подозрительным взглядом своих кошачьих глазок...

По всему было видно, что и в чужом ауле я успел возбудить подозрение. Всякое сближение с любопытной личностью, всякий расспрос любознательного гостя служил мне во вред. Справедлива черкесская пословица: несчастного и на верблюде собака укусит...

Комментарии

1. *Медресе (араб. мадраса — школа, училище) — мусульманская школа для подготовки служителей магометанской веры. В программу обучающихся входило заучивание наизусть текста корана и изучение его толкования.*

2. *Кадий (араб. кади — судья) — духовный судья у мусульман, разрешающий тяжбы на основе шариата (религиозное право мусульман) и адат (обычное право, свод народных житейских законов).*

3. *Пикет — небольшой сторожевой отряд.*

4. *Муэдзин (араб. муаззин — объявляющий, приглашающий) — служитель мечети, в обязанности которого входит провозглашение азана — призыва к молитве.*

III. ЧУЧЕЛО

По Кужибскому ущелью в жаркий полдень ехали пять всадников. Тощие кони едва передвигали ноги и с трудом ступали по каменистому грунту. Застывший пот густым белым слоем покрывал их спины и бока, а впавшие их желудки говорили очень ясно, что в них давно уже не было пищи. Запыленные угрюмые лица всадников не менее красноречиво высказывали крайнее утомление. Привычный глаз узнал бы в них еще издали искателей счастья; а кто заметил позади одного из путешественников человека, со связанными на спине руками и нахлобученным на глаза башлыком, тот наверное позавидовал бы их удаче. Внимание всадников было главным образом обращено на молодого человека лет семнадцати, который ехал посреди кучки всадников, опираясь обеими: руками на переднюю луку. Неестественная бледность лица и болезненно сжатые губы обличали в нем и сильное страдание, и явное усилие подавить физическую боль.

— Хасан, поправь башлык, — проговорил он наконец, с трудом: останавливая лошадь.

— Дай слезть с коня, — заметил один из всадников.

— Можно и так.

Хасан нагнулся к молодому человеку, взял за оба конца башлык, которым он был перетянут выше пояса, и начал осторожно стягивать.

— Крепче, — проговорил юноша, стиснув зубы.

— Больно будет.

— Ничего... так лучше.

— Не хочешь ли отдохнуть немного, — спросил Хасан.

— Не надо. Поедем дальше.

Путники тронулись молча. Солнце пекло нестерпимо. Дорога лежала по крутым подъемам и спускам. Кони оступались поминутно. Каждый толчок стягивал судорогами лицо молодого человека, но не мог вырвать ни одного стога. Он терпел с истинно черкесским геройством. Всадники выбрались, наконец, из теснины и [94] повертели направо, в широкую речную котловину, усеянную частыми балками и чинаровыми лесами. Вдали показался темный очерк аула и обозначались легкие тучки дыма, над ним носившиеся.

— Вот и аул, — радостно воскликнул Хасан.

— А есть у тебя там знакомые? — спросил его юноша.

— Лучше спроси, есть ли у меня там хоть кто-нибудь незнакомый, — отвечал Хасан. — Нет аула в этих местах, в котором я не имел бы двух-трех друзей. Возьми, например, старого Теперуко: первый, можно сказать, хлебосол между адыгами. Никогда и никто не уходил непринятый от его порога. Он отец той Назики, про которую песню недавно сложили.

— Все же кунацкая его не больница, — сказал молодой человек, — да и беспокоить старика не следует!

— Ничего, ты ведь не баба, плакать не будешь. Впрочем, я поеду вперед и разузнаю. Если нельзя остановиться у Теперуко, найдем и другого хозяина, но только в его кунацкой веселее проведем ночь. Ступайте потише. Я вас встречу у ворот.

Хасан пришпорил лошадь, замахнулся для страха плеткой и мелкой рысцой направился к аулу. Насилу дотащился он до кунацкой Теперуко, известной каждому проезжему. На просьбу о ночлеге старик отвечал такими словами:

— Гостеприимство, не милостыня. Приезжай и остановись у коновязи. Если кто выйдет к тебе и возьмет коня за повод — слезай, а коли нет, поверни в другую сторону. Ты еще не знаешь, как жить на свете. А эти слова говорю за тем, чтобы ты удержал их в голове на будущее время.

— Всяк знает, что от твоего порога никто не отходил с досадой. Только мы не совсем легкие гости, особенно...

— Что у вас там нелегкого?

— С нами тяжелораненый.

— Вы откуда едете? — быстро спросил Теперуко.

— С Кубани. Немножко погуляли.

— А! И добыча есть?

— Неважная... на рубахи достанет.

— Да нет ли еще какой погони за вами?

— Была, да след потеряли.

Я с русскими не ссорюсь. Только не могу прогонять гостя от порога. Однако обожди в лесу хоть до сумерек... Чего доброго, в ауле найдутся доносчики.

«Трус-старик!» — подумал Хасан и, вскочив на коня, поспешил к товарищам. А Теперуко отдал тотчас приказание зарезать барана и вымести сор из кунацкой. Сам собственноручно убрал постель, как нельзя лучше, чтобы больной гость помнил на вечные времена, как его принимали. Настала чудная, летняя ночь, одна из тех ночей, которые бывают разве только в ущельях Кавказа. [95]

Полная луна выплыла из-за куполов гор и величаво двинулась по безоблачному небу, обливая тихим, ровным светом лесистые ущелья. По глубоким балкам шумели, прыгая по каменным ступам, сердитые ручьи. Их неумолчному шепоту внимали одни высокие сосны, тихо покачивая своими ветвистыми верхами. Прекрасную картину представлял аул Теперуко посреди ночного безмолвия. Тонкие струи лучей, выходившие из щелей и окон саклей, чуть обмазанных глиною, смешивались с длинными тенями от соседних скал и утесов. Но ярче всех саклей блистала кунацкая старого владельца, выступившая из черты прочих зданий. На ее широком очаге трещали сухие дрова и пламя, поминутно усиливаясь, бросало на белые стены ярко-багровый свет. На длинной скамейке, придвинутой к огню, сидел сам хозяин в своем неизменном полушубке. Голова его задумчиво покоилась на груди. Далее, возле дверей, прислонившись к стене, стояли четыре человека. Все пятеро молчали упорно, будто по взаимному уговору. Стоявшие только переминались с ноги на ногу, по примеру лошадей, застоявшихся на месте, да изредка дергали друг друга за полы черкески: Вдруг на дворе послышался топот. «Приехали!» — проговорил один, все мигом выскочили из сакли. Теперуко приподнял голову, но не встал, боясь нарушить достоинство хозяина. Через минуту слуги внесли в кунацкую винтовки приезжих и развесили их вдоль стены, по чину хозяев. Вошел Хасан, за ним и раненый юноша. Теперуко, приподнявшись на этот раз, приветствовал гостей и попросил молодого человека садиться, но тот отказался, говоря: «постоять можно».

— Что скажете нового? — спросил Теперуко после значительной паузы. И он прибавил пословицу: не спрашивай старого, а бывалого, которая одна и у русских и у горцев.

— Были на Кубани, да не было ничего, о чем стоило б тебе рассказать, — отвечал Хасан с должной любезностью.

— Как ничего? Не из-под куста же такие молодцы глазели на проезжих.

— Да, сказать правду, и в крепость не ворвались, — сказал Хасан усмехнувшись. — Бог послал навстречу казаков. Мы выпустили заряды, захватили одного, да зато начальника у нас зацепили. — И он указал на раненого.

— Напрасно ты не садишься, молодой человек, — сказал ему Теперуко — Раненому не до приличий!

— Ничего, я постою, — повторил юноша.

— Да не призвать ли кого? У нас есть мастер лечить раненых.

— Не беспокой себя, ради аллаха, — отвечал Хасан. — Что за лечение на пути. А теперь лучше лекарства — скрипач, да несколько молодцов веселых.

— За ними дело не станет. У нас в ауле этого добра, что [96] собак. Поди, Исхак, к Якубу, — обратился Теперуко к одному из прислужников, — пусть он придет со скрипкой, да забеги к гулякам: гости, скажи, приехали.

— Наши молодцы в девичьей, — отвечал Исхак.

— Так скажи им, чтоб домой не уходили. Постой, принеси кстати холста, да помягче. Видишь, башлыком перевязали рану.

— Что ж будешь делать? — заметил Хасан шутливо. — Кабы знали, взяли бы и холста на случай.

— То-то вы, молодые люди, никогда не заглядываете вперед, — поучительно произнес Теперуко. — Да вот что еще, не заметили ли вы чего на линии? Говорят, что казаки собираются в набег. Этак, того и смотри, нам места скоро для житья не будет.

— Что, казаки? — сказал Хасан вздохнувши. — Далеко еще им до нас, если б их не водили наши же изменники. Они во сто раз хуже, чем русские. Я видел, как один из этих подлецов, когда дрались под Ч... аулом, наскочил с шашкой на нашего раненого товарища и убил бы бедняка, если б его не остановил русский. Клянусь аллахом, если встречу на просторе русского с черкесом, то, конечно, прежде выстрелю не в гяура.

В эту минуту молодой человек зашатался от утомления и усилий стоять на ногах. Кровь хлынула изо рта запекшимися кусками, мертвенная бледность покрыла все лицо. Теперуко и Хасан, взяв его под руки, хотели усадить на постель, но джигит отказался наотрез от такой почести.

— Ну, так я лучше уйду, — сказал Теперуко и вышел. Принесли холста. Хасан убедил товарища сесть, расстегнул ему черкеску, но бешмет так сильно присох к ране, что его надо было примочить теплой водой и потом отдирать понемногу. Кровь потекла с новой силой, и на этот раз терпение юноши не помогло. Голова его закружилась и больной тихо опустил на подушку. Пока он приходил в чувство, Хасан успел перевязать рану...

Подали ужин. Больной проглотил немного похлебки, а к баранине не притронулся. Он просил чего-нибудь кислого. Назика прислала ему на тарелке лесных яблоков и кизила. Зато Хасан с товарищами ели по-волчьи, откинув в сторону всякие церемонии. Уже более недели питались они одними сухими лепешками и ключевой водой. После ужина явились и отборные весельчаки аула под начальством музыканта. Все они, входя в кунацкую, поднимали правую руку до виска, приветствовали гостей, и потом скромно располагались вдоль стены. Гости и хозяева оглядели друг друга, и первый шаг к знакомству был сделан. Теперь уж не стыдно было приступить и к разговору. Хасан, тонкий политик, все соображал, кого бы пригласить сесть. Однако соображения его не привели ни к чему. По

бородам и другим внешним признакам молодых людей, нельзя было определить, кто из них старше. В эту [97] критическую минуту, когда светская репутация Хасана висела на волоске, глаза его упали на скрипку. Хасан весело встал, подошел к хозяину скрипки и весьма красноречиво изложил ему просьбу свою поиграть для больного. Скрипач выразил полную готовность.

— Так начинай же, — сказал Хасан, усаживаясь на свое место, а потом прибавил: — Садитесь же все, попросту. Между нами стариков нету!

Якубу из уважения к его искусству разложили на полу бурку, к нему подсели старшие по летам, остальные разместились как попало, кто на корточках, кто просто на полу.

— Играть песню ран, что ли? — спросил Якуб, перебирая пальцами волосяные струны кобуза 5.

— Нет, лучше спой Шуандыра 6, — слабым голосом проговорил больной.

— Отчего же не спеть, коли хочешь!

Якуб медленно повел смычком и мерно, почти шепотом, пропел два первых стиха песни. Товарищи подхватили грустный напев. При третьем стихе руки Якуба слегка задрожали; он гордо выпрямился, черные глаза его сверкнули, и звучный, дрожащий голос раздался по сакле. Но едва певец дошел до того места в песне, где герой Шуандыр после упорного боя сидит раненый пятью пулями, между трупами всех своих товарищей, голос его оборвался, и две крупные слезы повисли на его ресницах.

— Довольно! Дальше не надо! — проговорил больной, быстро вскочив с места. Гробовое молчание настало в сакле. Слабый свет потухавшего огня, как нельзя более гармонировал с общим настроением молодежи и грустным торжественным выражением лиц. Пение приходилось слишком близко к сердцу каждого из присутствующих. И молчание длилось несколько минут.

— Ну, теперь можно что-нибудь повеселее, — сказал Якуб, оправившись от волнения. — Песня для гостей не новость. Коли юноша возвращается с битвы с честной раной на теле, одной песни мало. Тут надо играть и веселиться, как на свадьбе.

— Что же? Можно позвать Назику, — предложил один из товарищей Якуба.

— К тому и шла моя речь, — сказал скрипач. — Нет и веселья без девушек.

— Сущую правду говоришь, — одобрил Хасан в свою очередь.

— А как она обидится? — спросил молодой человек.

— Не твое дело, гость, — отвечал Якуб. — Красавица наша не такая.

— Я пойду сказать ей, — вызвался один джигит и вышел. Спустя полчаса в кунацкую вошли, стуча сандалиями, пять девушек. Молодые люди вскочили с мест; даже больной поднялся с [98] кровати и пошел на середину сакли. Якуб и Хасан распределили места. Назику они посадили на кровать, пониже ее поместили, не без труда, впрочем, и больного. Остальным девушкам разостлали на полу, возле кровати, циновку.

— Спасибо тебе, Назика, за нашего больного, — поспешил сказать Хасан. — Имя твое знают по нашей стороне: а теперь мы расскажем о тебе и нашим девушкам.

Назика, выслушав похвалу, бойко и простодушно, ласково взглянула на больного юношу:

— Ты, я думаю, крепко страдаешь? — спросила она его.

— Ничего, мужчина создан на то, чтоб терпеть, — отвечал больной по всем правилам джигита.

Начались танцы. Девушки и молодые люди, то попарно, то кружком, носились в тесных пределах кунацкой. Якуб усердно водил смычком, хотя и не с таким одушевлением, как при пении Шуандыра. Во время отдыха девушки завязывали шелковые нитки в хитрые узлы, предоставляя распутать их сметливости молодых людей, которые ломали головы и большей частью напрасно. Девушки выражали торжество свое веселым смехом... Так время тянулось до петухов. Тогда девушки, пожелав гостям счастливой дороги, ушли в девичью. А Хасан приказал седлать коней, чтоб до света выбраться из аула, в котором, по словам Теперуко, могли отыскаться доносчики.

Якуб и молодцы аула, посадив приезжих на коней, тоже разбрелись по домам, завидуя в душе молодецкому путешествию незнакомцев, и особенно положению раненого юноши.

Говорят, один горный воин на вопрос, почему он не женится на известной своей красотой девушке, отвечал: «Я не хочу, чтоб меня только по жене моей знали». Старик Теперуко был далеко не чета этому воину, потому он нимало не оскорблялся тем, что в горах его знали только по красавице дочери. Назика действительно была прекрасная девушка, одна из тех, которым отдают справедливость даже в самых диких обществах. А если прибавить к ее славе две сотни отцовских кобылиц, сотен пять овец да десять крестьянских дворов, то выходило, что невесты привлекательнее Назики трудно сыскать и с решетом в руке, как говорят горцы.

Родители Назики, как истинно добрые люди, притом же до крайности простые, были счастливы, насколько может быть счастлив человек и собой, и дочерью. Тихо, однообразно, как светлый ручей, протекала их жизнь, идиллия в горах Кавказа! Теперуко и жена его не испытали в продолжение жизни своей ни труда, ни горьких лишений. А главное не имели за свою совесть ни малейшего укора. Старик во всю жизнь свою не ограбил никого, и если в молодости украл десяток кобылиц, то это сделал не по влечению сердца или дурному умыслу, а просто из боязни, чтоб товарищи [99] не упрекнули его в трусости. Старуха с тех пор, как вступила под кровлю Теперуко, не улыбнулась мужчине. Потому, как Теперуко, так жена его, спокойно ожидали того страшного дня смертного часа, когда Джебраил прилетит, шелестя крыльями, за их душами 7. Привязанность стариков к дочери чересчур резко выходила из круга обычных отношений между черкесами, и не защити их старость, они сделали бы непременно предметом насмешек. Про них сочинили бы смешные песни и всякие грязные сплетни, к которым, к сожалению, черкесы сильно пристрастились с недавнего времени. «Пусть себе нежничают старики, говорили самые суровые друзья суровых обычаев. Назика у них только одна. Притом же, какой Теперуко мужчина. Последняя баба лучше его». Этим и ограничивались все нападки. Теперуко не стыдился даже при людях обнимать свою дочь и трепать ее щеки, приговаривая: «Ах ты, пузырь с мылом. Пропал тот, кому ты попадешься». Самые ничтожные вещи рожают великие последствия. Из-за того, что две бабы повздорили за сито в древности, жители двух черкесских аулов перерезались до последнего человека, оставив на память потомства два ряда каменных пригорков под названием «Ситовых

могил». Точно так же, из того, что Теперуко походил на бабу, Назика сделалась примерной девушкой... Ее не испортили жестокостью, ее не приучили к необходимости хитрить или думать о замужестве во что бы то ни стало. Ей и дома было очень хорошо.

Подруги любили ее за неистощимую доброту и ласковость, за всегдашнюю готовность помочь им. Молодежь теперукова аула буквально плясала под дудку Назики. В целом ауле не нашлось бы джигита, который не бросился бы в огонь и воду по одному ее слову, и тот из них считался бы недостойным имени мужчины, кто бы осмелился не исполнить ее священной воли.

И не мудрено: молодежь видела в ней не только хорошенькую, но чистую, благородную и умную девушку. Напрасно образованные народы присваивают себе монополию изящного вкуса. Смею думать, что черкесы в этом поспорят с кем угодно. Чувство удивления к красоте развито во всяком из них, а невежество не мешало жителям аула наслаждаться каждым движением хорошенькой княжны. Мрачнейший из молодых людей теперукова аула, Ислам, по прозванию безродный, и тот после того, как его под руки притащили в девичью по желанию Назики, прояснился и познал, можно сказать, «мед жизни». Каждый из молодежи считал для себя обязанностью сделать Назике какой-нибудь подарок.

Выезжая по ночам за добычей, они утешались мыслью, что часть ее перейдет в хорошенькие ручки. Назика сама не имела ни в чем недостатка, но знала, что отказ может глубоко оскорбить юношей; притом же, кому не приятно принимать дань уважения? [100]

Таким образом, маленькая сакля Назики нередко наполнялась дорогими тканями, хорошенькими сундучками и тысячами безделок, дорогих не для одной черкешенки. Сюда же приносились огромные связки каштана, орехи, нанизанные на нитке наподобие короны — добыча резвой лошади на похоронах 8, башлыки, наполненные яблоками и спелыми грушами. Все это Назика, в свою очередь, раздавала своим подругам. Даже в табунах встречались десятки хороших жеребят, с красиво вышитыми ошейниками. Это были тоже подарки Назике, о которых она осведомлялась с особенным участием, как о полной своей собственности.

Ни в одном ауле так весело не устраивались праздники, как у старого Теперуко, никуда не стекалось так много народу.

Далеко в округности еще за месяц до праздника шли хлопоты; юноши теперуковские на общую складчину вербовали лучшего в крае гегуака (Черкесские барды.).

В назначенный день, благодаря Назике, устраивались танцы, подобных которым старожилы не видали. В ауле не оставалось пустого места от приезжих всадников. За порохом дымом пряталось самое небо. А стреляли большей частью над головой Назики.

Молодые люди нередко схватывались за оружие, оспаривая друг у друга честь сделать два-три круга с ней. Гегуако отбирал от каждого джигита, вступившего в круг танцующих, пули и порох, и наполнял ими свою шапку. За то же как он славил княжну! «Ты краса и гордость земли адыгской, — говорил он экспромтом. — Твои глаза краше блестящих звезд на синем небе. Твой стан гибче камыша, что растет на берегу Белой речки. Счастлив юноша, который назовет тебя своею. Да пошлет аллах счастье на земле родителям твоим, а когда они умрут, да отворит он пред ними ворота рая. Не думай, красавица, что я тебе льщу. Мать родила меня не льстить, а говорить людям правду, и своим скудным словом славить дела храбрых юношей и красоту наших девушек. Ну,

танцуйте же, молодцы! Славьте со мною Назику во все концы света. Пусть черкесские девушки подражают ей во всем, а юноши тоскуют по ней». Назика, стыдливо потупив глаза, выслушивала похвалу, которой нельзя было не гордиться.

Наш горец ценит женщину, хотя в то же время ее угнетает. Черкес поработил ее, низвел на степень игрушки, по примеру развратного востока, но в то же время сделал ее предметом восторженных похвал и песнопений. Преступник, прибегнувши к покровительству женщины, делается лицом неприкосновенным.

Из многих бед вырвались черкесы, много переворотов испытали они, но свобода всегда оставалась неразлучной их спутницей. [101]

Врожденный дух рыцарской чести жил в их крови и отражался на их действиях.

Прошло несколько недель со времени ночи с пляской и пением, о которой говорилось в начале рассказа нашего. Во всем ауле забыли о проезде удальцов и о храбром юноше, одна только Назика задумывалась чаще и вспоминала красивого джигита, с которым обменялась двумя или тремя словами. Любовь, видимо, завязалась, но должно быть ей, — и сама Назика о том догадывалась — суждено было кончиться одним началом. Другие, новые заботы ждали своей очереди, девушке уже исполнилось шестнадцать лет, и, по всей вероятности, ей недолго осталось жить под отцовской кровлей.

Чаще прежнего кунацкая Теперуко наполнялась незнакомыми лицами. У коновязи каждый день стоял десяток оседланных коней. Приезжие, прождав день и ночь, вели таинственные переговоры с старикашкой, а потом молча уезжали. Едва они выезжали со двора, как прибывали новые. А Теперуко оставался все в обычном настроении духа, молчал и не сообщал никому новостей, привезенных гостями издалека. В ауле не сомневались, что дело шло о Назике. Повесила носы свои молодежь, предчувствуя скорое расставание со звездой аула.

Человека два-три из самых почетных лиц в ауле пробовали было заговорить с Теперуко насчет своих сыновей или молодых внуков, но переговоры не вели ни к чему, в родном ауле не находилось ровни для девушки.

Дело в том, что Теперуко от пяток до макушки был налит сословной гордостью. Род его искони пользовался большим почетом. Много славных наездников считалось в его родне, и ни один из них не кончил жизнь в постели. Никогда девушка из-под кровли его дома не вступала в неравное супружество: никогда жених, будь он хоть такой человек, который мог одним взглядом вскипятить котел, не получал с первого же разу согласия, а принужден был украсть свою невесту или униженно вымолить ее, будто милостыню. А старику ли было нарушить, что заведено достойными предками? Он скорее бы умер, чем решился на такое святотатство. Кроме того, Теперуко крепко держался черкесской поговорки о браках: берешь жену — хватай повыше, выдаешь дочь — приищи равного. А между искателями Назикиной руки (Назикиной души, по-черкесски), Теперуко ни одного не мог бы назвать себе равным. Один и родом брал, и богатством ничего, да по справкам оказывался грешок: один из родоначальников его имел неосторожность жениться на покупной рабыне. Второй — молодец со стороны родословия, но был гол, как сокол. Отдать же дочь без калыма Теперуко ни за что не мог бы, потому что нельзя же такому родовитому человеку ни с того ни с сего подарить свое детище. И в [102] ауле скажут, что старик торопился сбыть с рук засидевшуюся дочь, и не взял за нее и курицы. Теперуко был такого свойства человек, что без богатства и происхождения ровно ничего не значил. Последний раб с его двора мог перещеголять его и на поле брани, и в народных

собраниях. Природа не дала ему ни завидного ума, ни твердости духа. Об его храбрости ходили самые неправдоподобные слухи. Старик хорошо знал это и тем крепче держался за свой род и за свое значение. Дочь он, конечно, любил и желал ей добра, но за безродного храбреца, конечно бы, ее не выдал, а скорей бы застрелил ее с полным хладнокровием.

Не успел еще Теперуко вдоволь потешиться бесчисленными сватовствами и любезностями, при сватовстве неизбежными, как разнесся в ауле слух о приезде одного весьма известного в крае князя. Сердце Теперуко тотчас угадало цель такого посещения. А то обстоятельство, что столь важное лицо местом своего ночлега избрало дом узденя, тогда как по всем правилам подобная честь принадлежала ему, это обстоятельство подтвердило догадки Теперуко. Он ждал наутро посольства, потому решил приготовить приличный ответ. Старик понатужился, напряг все крохи мыслительной способности. Вопрос: отказать или принять предложение гостя застучал в голове старика, словно жернов, на карачаевской мельнице. Старик прибег даже к известному способу решения неразрешимых задач: взял тихонько свою любимую палку из орешника и, начиная с нижнего конца до верху, поочередно обхватывал ее пальцами обеих рук, приговаривая с каждым обхватом, отказать или принять. Рука, прежде достигнувшая верхнего конца палки, должна была восторжествовать и доставить первенство одному из двух слов, которое совпало с последним обхватом.

Хотя первенство досталось принять, однако старик не успокоился. Им овладела непонятная тревога. То радость, то нерешительность попеременно трясла его с силой абхазской лихорадки. Несколько мыслей поднялось в голове, несколько бледных картин зашевелилось в засоренном воображении старика и... не успел он хорошенько разобрать их, как вдруг налетело какое-то зловещее облако и покрыло собой и без того неясную перспективу. У старика дрогнуло сердце. «Рассудим со старухой. Дело это бабье», — почти вслух произнес Теперуко.

Ужин кончился, хотя, как казалось Теперуко, он тянулся мучительно долго. Старик, шатаясь от сильной тревоги, поплелся к жене. Бог знает по какому сочувствию, старуха еще издали почуяла его шаги и, спустившись с высокой кровати, где, наваленные одна на другую мягкие подушки образовали то, что черкесы называют тома-моша, стала около самых дверей с почтительной покорностью, как и в первую ночь своего замужества. Супруг не обратил на нее никакого внимания и, гордо пройдя длинную [103] саклю, тяжело опустился на кровать. Просидев несколько времени молча с опущенными глазами, он, наконец, поднял немного голову и сделал слабое движение рукой. Старуха поняла знак и села на табурет в двух шагах от своего повелителя. Затем настала совершенная тишина. И муж и жена, несмотря на маленькое ослабление слухового органа, явственно различали жужжание и шелест крыльев засевшей в дальнем углу мухи. Огонь слабо вспыхивал в очаге и таинственным полусветом оттенял внутренность пространной сакли со всеми украшениями новейшей черкесской роскоши. Если справедливо поверье, будто души умерших по каждому пятницам витают в сакле потомков, то я уверен, что предки Теперуко с глубоким негодованием отказались бы от подобного путешествия. Так много было в сакле его вещей, невидимой цепью оковывающих железную мощь черкесского духа: шелковые тюфяки, начиненные шерстью, пуховые подушки, одеяла из атласа и бархата, симметрически наваленные один на другие, занимали всю длину стены и вершинами своими касались высокого потолка. Ковры разных цветов и величины, зеркала, фаянсовые миски и тарелки, красивые чайники с различными изображениями на боках; Ислам строго запрещает всякое изображение, а каких соблазнов тут не было! Вправо от дверей, на возвышении, сделанном из глины, стоял, гордо подбоченясь, отлично вычищенный самовар. Тут же, рядом с самоваром, находилась и кофейная мельница. Даже на одном из разнокалиберных сундуков, выглядывавших из-за кровати, виднелась шарманка, как бы в

доказательство того, что слух черкеса способен ощущать не одни трескучие звуки балалайки, но и гармонию инструментов европейского изделия. Внутри шарманки, по общему приговору жителей теперукова аула, должен был находиться если не сам шайтан, то по крайней мере один из помощников его. Были в сакле и часы, издававшие змеиное шипение, сопровождаемое пением выскочившей изнутри кукушки. Шарманка все еще сохраняла способность издавать кое-какие звуки, несмотря на то, что по сто раз в день подвергалась самым тяжелым операциям. А часы уже перестали давно шипеть, и кукушка более не показывалась в том, вероятно, убеждении, что семейство Теперуко и без их услуг знает очень хорошо, когда кушать или молиться. Все же вещи (кроме самовара), были, разумеется, столько же необходимы, как и очки для мартышки.

— Ты слышала, старуха, что важный гость к нам приехал? — проговорил Теперуко несколько тревожным голосом после продолжительного молчания.

— Ничего не слышала, — отозвалась старуха. — Никто не говорил мне об этом. Да как же это? Значит, он без ужина остался?

— Как без ужина? Он, я думаю, теперь уже храпит. Да ведь гость остановился не у нас, а в доме Умара. [104]

— Какой же он нам гость, коли остановился в чужом доме? — с изумлением проговорила старуха и внимательно взглянула на мужа.

— В том-то и дело, — глубокомысленно отвечал Теперуко, — душа моя чуёт, что дело пойдет о твоей Назике. Теперешнему гостю соперников нет на земле адыгской. Последний чабан знает его имя. Жених хоть для дочери падишаха. В жизнь свою не выпускал меча из рук, не вынимал ног из стремян. Лошадей — как саранчи, овец — и не сосчитаешь. И с моим отцом еще знался!

— Как с твоим отцом? — сказала старуха, смутно испугавшись за Назику.

— Ну да, с отцом. Не молокососа же надо твоей дочери.

— Твоя воля, — спокойно сказала старуха.

И снова настала тишина. Тлевший огонь вспыхнул раза два, осветил лицо Теперуко, окаймленное подстриженной, пепельного цвета бородкой, его вздернутый кверху носик, черные глаза, тускло выглядывавшие из глубокой трещины, и лицо тощей старушки, которую всякий мальчишка мог схватить в охапку и унести куда угодно.

Сердце не обмануло Теперуко. Утром явились послы в сопровождении Умара. После обычных расспросов о свежих новостях, Умар встал и кивнул головой хозяину. Оба вышли. Гости переглянулись значительно. Некоторые кашляли и плюнули в угол в знак маленького волнения, но никто из них не обнаружил признаков любопытства. Умар очень скоро вернулся, тем же киванием головы вызвал старшего из посланцев и, доведя его до того места, где стоял Теперуко, строгавший свою палку ножом, сам отошел в сторону.

— Посла не бьют, не вяжут ни на какой земле, — начал посланец, подходя к Теперуко с важностью на лице. — Род твой из тех, у которых мы должны учиться орк-хябзе 9. Я пришел к тебе с хорошей вестью — князь мой ищет твоей дружбы. За ней приехал он издалека. Не смею хвалить князя Айтека, но думаю, что имя его тебе не чужое.

— Да, слава о нем хорошая, — важно отвечал Теперуко. — Такому человеку не следовало бы ехать так далеко за подобным пустяком, мог бы просто прислать тебя или кого другого.

— Берекеть-босын! — вскричал посол, пожимая руку хозяина. — Да благословит и поддержит аллах родство ваше, пока мир стоит. Да обрадуются ему друзья наши, а враги позавидуют.

Тем и кончилось посольство. Вечером снова явились посол, Умар да еще новое лицо, аульный эфенди в ветхой чалме, с самой скаредной фигурой. Умар перемолвил слова два с Теперуко и все трое отправились к сакле княжны. Назика в это время работала с подругами, ничего не подозревая. Едва послы вошли в калитку [105] княжеского двора, девушки их приметили и подняли страшную суматоху, толкали друг друга в бока и хихикали, указывая пальцами на пожилых людей. Один вид почтенных мужей возбуждал в них непреодолимое желание посмеяться. Они не привыкли видеть в сакле Назики седые бороды. «Да они сюда идут! Чума их побери!» — засуетились девушки. Действительно, седые бороды и ветхая чалма подошли к самому окну, где сидела княжна. Умар, как человек домашний, выступил вперед и приветствовал княжну, которая в свою очередь также осведомилась о его здоровье.

— Садись, княжна, — проговорил Умар, но княжна не согласилась, видя незнакомое лицо между посетителями.

— Нас сюда прислал Теперуко, — начал Умар, подняв с земли какую-то щепку и вертя ее в своих руках, — а прислал за тем, чтобы передать тебе свою волю.

При имени Теперуко, Назика отошла от кровати и стала на разостланной на полу рогоже.

— Но мы должны узнать наперед, будешь ли ты согласна на все, что ни прикажет отец.

— Буду, без сомнения, — отвечала Назика.

— Если так, слушай же дальше, душа моя, княжна, — сказал Умар, — отцу твоему угодно выдать тебя замуж.

При этих словах Назика встрепенулась и зарумянилась; она ждала чего-то радостного, бедная девушка. «Не от того ли юноши?» — подумала она и еще покраснела.

— Мне нечего хвалить жениха твоего, — продолжал Умар, все еще вертя в руках щепку. — Твой отец решил, что будущий твой муж достоин тебя. Что ты скажешь на это?

— Я уже сказала, что не имею своей воли.

— Да наградит тебя аллах, — одобрил Умар, — ты говоришь как истинная дочь.

И Умар быстро повернулся к эфенди, который все время следил больше за окружающими предметами, чем за ходом разговора. Серенькие глазки эфенди не могли не заметить подруг Назики, притаившихся позади сакли, и на них-то достойный муж глядел с кошачьими ужимками. Умар без церемонии дернул его за полу черкески, и сказал:

— Твоя очередь.

Эфенди оторопел, ему было стыдно, что его духовную особу застали заглядевшимся на девушек, но, будучи по природе увертлив, он скоро оправился. Потом запустил руку за пазуху, вытащил оттуда деревянную чернильницу и лоскуток не совсем белой бумаги; достал из-за чалмы толстое камышовое перо и расположился на корточках.

— Говори, эфенди, — приказал Умар, — а княжна будет повторять твои слова. [106]

Эфенди слегка закачался, будто кто уколол его иглой, подобрал под себя полы своей черкески и обмакнул перо в бурые чернила.

— Я раб и служитель аллаха на земле, — начал он, — действую во всех делах согласно с кораном, избегаю кривых путей, и если где и отступаю от прямых своих обязанностей, то неумышленно, а по свойственной людям слабости. Человек создан из греха и...

— Оставь все это для другого времени, да примись за дело, — перебил Умар, знавший неукротимое стремление эфенди к красноречию.

Раб и служитель аллаха на земле приятно ухмыльнулся и снова начал:

— Отец твой желает видеть тебя, прекрасную Гурию 10, хи... замужем за достойным князем Айтеком, приехавшим единственно за тобой из дальнего края... ихти... Коран предписывает мне... ихти... спросить тебя: согласна ли ты с желанием твоего отца?

— Согласна, — чуть слышно вымолвила княжна.

— Слышали ли вы, правоверные? — обратился эфенди к своим товарищам.

— Слышали, — отвечали те.

— И будете перед богом свидетелями?

— Как же не быть? Будем.

— Еще один вопрос, — обратился эфенди к Назике: — будешь ли любить и уважать своего мужа и господина... ихти... права которого священнее всех прав земных, и будешь ли верна ему до могилы... ихти?

— Буду, — еще тише шепнула Назика.

Эфенди еще раз обратился с вопросом к товарищам и, получив от них удовлетворительный ответ, принялся писать что-то на своей грязной бумаге. Минут через десять послы простились с Назикой, переговорили с Теперуко насчет калыма и срока к платежу его. Потом отправились к жениху, чтоб и от него отобрать формальное изъяснение согласия. К сумеркам дело совершенно покончили. Бумажку о согласии жениха и невесты передали на время Теперуко. Эфенди за труды получил от жениха доброго коня. А старый жених на другой день утром выехал из аула Теперуко чрезвычайно довольный легким приобретением первой красавицы земли адыгской.

Приготовления к приезду физише (Люди, посылаемые женихом для взятия невесты из дома родителей.) шли быстро, так как жених назначил всего два месяца срока. Десять отборных подруг Назики день и ночь работали ее богатый свадебный наряд. Опытные женщины исправляли при них должность цензоров. От их пытливого взора не ускользала

ни малейшая погрешность или [107] небрежность в шитье. Служанки Теперуко без устали готовили всевозможные кушанья, с раннего утра до темной ночи мололи остеницу, толкли просо, лили в огромных кадушках бузу. Крестьяне то и дело подвозили к кухне дров, резали баранов и откормленных быков. Мать Назики, от природы вялая, слабая женщина, стала на этот раз необыкновенно деятельна. Она не знала ни минуты покоя. За всем присматривала, всюду поспевала. Сто раз в день забежала в девичью взглянуть, как там идет шитье, столько же раз посещала и кухню, исправляла промахи служанок, отведывала приготовляемые яства. «Эка, добрая какая стала», — подсмеивались служанки, исподлобья посматривая на свою госпожу. Старуха собственными руками раскладывала в большие сундуки дорогие ткани и другие ценные вещи, приговаривая беспрестанно: «Все это пойдет на родню жениха, ничего не останется Назике. За то ни один человек не скажет, что она вышла из дома родительского с пустыми руками». Тесемки, вытканые из серебра, подушечки и чехлы для пистолета и другие принадлежности наездника размещались по особым корзинам. Ужаснейшая возня шла во всем доме. Не было во дворе человека, который более или менее не принимал участия в общей суматохе. Только сама Назика с полным и унылым спокойствием глядела на кипучую деятельность. Первые дни после обручения ей было невыразимо грустно, хотя она ясно и не понимала причин своей печали. На самом деле причина тоски ее была понятна, но Назика, никогда не думавшая о любви, никогда не слышавшая любовных рассказов, — первая бы ужаснулась и, пожалуй, не поверила, если б ей сказали, что она тоскует по раненом юноше, даже имя которого ей неизвестно. Грусть свою она приписывала разным причинам: во-первых, подруги слегка шутили над ней и говорили, что ее будущему мужу больше семидесяти лет и что он хоть храбр, как лев, да с лица-то похож на старую бабу. Во-вторых, вся молодежь аула стала обходиться с девушкой как с «несвободным человеком» и держала себя от нее в почтительном отдалении. Все это казалось горьким для Назики, но нужно ли прибавлять, что под воображаемой горечью тут таилось что-то более тягостное и далеко не осознанное!

Между тем роковой день приблизился и весь аул Теперуко был в смятении. С зари до глубокой полночи народ волновался на тесных, кривых улицах, оглашая воздух неистовыми криками. Особенно много людей толпилось на дворе двух больших саклей, в самом центре аула. Там пировали фызише. Буза из огромных чаш лилась в горло и на головы сотни народа. Гости пили за здоровье жениха, невесты, стариков-родителей и целого аула. Десятки столиков со вкусными изделиями черкесской кухни беспрестанно вносились в сакли. Не меньшее количество столиков доставалось и на долю народа... Кончился пир. Народ с криком бросился в [108] сакли, вытащив пьяных гостей во двор, и принялся купать их по очереди в нарочно устроенных банях. И что за чудные были эти бани! Никакие медицинские средства не могли бы так скоро переварить пищу, как эти бани из помойных ям с досчатой перекладной наверху. Гости один за другим вползали на одну сторону и проползали до противного конца на брюхе или на четвереньках, смотря по обстоятельствам. Если люди, покачивавшие сверху перекладину, питали в душе какое-нибудь сострадание, то гости отделялись четвереньками; если же нет — им приводилось черпнуть грязи и ртом и носом. Многие из гостей, выбравшись из прохладительной ванны, с особенной нежностью ощупывали свои ребра. После такой припарки к гостям подводили арбы, в которых восседала молодежь с палками, веревками и прочими понудительными средствами. Гости попарно впрягали в ярмо, чтоб испытать, как велика в них физическая сила. Если пара не в силах была сдвинуть арбу, впрягали еще двух, говоря, что и быки иногда нуждаются в подмоге. Даже почтенные, седые бороды, приехавшие в качестве распорядителей, не избегли насмешки. Их тоже за шивороты тащили из саклей. Гости вооружались против такого бесчестия. «Мы выкупим своих тхамада, — кричали они. — Мы дадим за них все, что при нас есть». «Возьмите выкуп свой домой, — отвечали им. — А из уважения к старости ваших тхамада, так и быть,

немного смягчим испытание. Пусть они принесут с реки несколько котлов воды». Тхамады, крихтя и сопя, притащили требуемое количество воды. Но народ не ограничился таким ничтожным наказанием. «Ведь мы не крестьянку какую выдаем, — кричал он. — Окатим их водой. Пусть себе знают, какую воду мы пьем».

И почтенных старцев окатили с головы до самых пяток... Так прошло три дня. Аульные гуляки истощили свой запас. Не осталось ни одной сколько-нибудь замечательной шутки, все было испробовано над приезжими. Да и гости соскучились порядком. «Довольно уж натерпелись мы, — говорили они, — пора и в дорогу. Мы исполнили все, что велит оркхябзе. Возьмите, что вам приглянется из нашего наряда и сбруи, да отпустите поскорее». Раздевание началось. Молодежь теперуковская отобрала все, что было хорошего на гостях (исключая нижнего платья, оружия и коней), а чтоб гостям не показалось холодно, предложили им лохмотья из чердаков, давно всеми брошенные. Фызише превратились в группу странствующих факиров 11. Смех и свист сопровождали их повсюду. Мальчишки хлопали им в ладоши и швыряли грязью. Невозможно было без смеха смотреть на оборванную толпу в черкесках без рукавов, с подрезанными по пояс полами, в шапках без меха, на голых седельных досках, с одной подпругой вместо трех... Наконец пришел конец страданиям бедных гонцов! Невесту снарядили в дорогу. Отец и мать тайком простились с ней и [109] благословили. Старик, прижимая к груди еще раз свою Назику, не мог удержаться от слез. «Будь скромна, послушна своему хозяину. Сохрани свое доброе имя, не срами и нас. Будь всегда так умна, как была до сего времени», — говорил он, всхлипывая, как баба.

Этим нежным прощанием бедный старик прибавил еще одно пятно к своему имени. Его слабость казалась тем непростительнее, что даже старуха, во всяком случае женщина, простилась с любимой дочерью без рева и рыданий, а с приличной твердостью. Простились с Назикой и подруги. Все они знали, чего в ней лишаются, потому дали полную волю слезам. Молодые люди не могли плакать, как девушки, зато на их лицах выражалось сильное уныние. Назика не выронила ни одной слезинки. Рыдания подруг, дворовых мальчишек и женщин, казалось, вовсе не доходили до ее ушей. С бесчувственным равнодушием подавала она каждому руку на прощание, быть может, вечное. Побледневшее лицо ее, ее ласкающий взгляд, тянувший к себе сердца, не выражали теперь ни радости, ни горя. Кто прежде не знал Назику, тот не мог бы, смотря на нее в эту минуту, составить себе о ней какое-нибудь понятие. То была прекрасная статуя, произведение хорошего мастера, не более.

Готовая арба, запряженная парой здоровых коней, стояла у ворот. Вокруг ограды толпился народ, желая бросить хоть издали прощальный взгляд на свою любимицу. Оживленный говор ходил в толпе. «А что жениху-безбожнику жить поближе от нас. На байрамах 12, по крайней мере, видали бы Назику», — поговаривали многие с досадой. «А кто из молодцов ее провожает?» — спросил кто-то. «Ислам безродный», — отвечал ему сосед. «Выбрали, нечего сказать! Или чума перебрала наших молодцов, что очередь дошла до бродяги?» «Она сама его выбрала». Гонцы жениха в это время стояли перед дверьми девичьей и ждали с нетерпением, когда выведут покрытую чадрой невесту. Но этого им никак нельзя было дожидаться, пока вход в девичью охраняли служанки Теперуко. Они требовали от гостей своей законной доли. «Родителям невесты даете калым за то, что они ее родили, а мы по очереди носили ее ночи без сна, сидели над люлькой. Она и наше дитя». Но гонцы на этот раз были суровы. «И так вы над нами натешились, — сказали они. — Не первый раз бывали мы в фызише, а таких обид нигде не видали».

— Да отроду вы не ездили за такой невестой. Чего хвастать даром! — отвечала толпа.

Гонцы, оскорбившись окончательно, отправились в кунацкую, чтобы взять оружие.

— Мы и без невесты вернемся домой. За это ушей нам не отрежут, — говорили они. — Ведите коней!

— Эка, вы какие чванливые! — заколыхался народ. — Ведь не [110] мы к вам ходили, сами просили невесту. И ступайте себе как приехали. Плакать не будем, найдем и моложе вашего зятя.

В это время вывели невесту, и споры покончились. Служанки получили подарки, арба заскрипела. Гром выстрелов потряс воздух. Серое облако дыма медленно заходило над аулом. Густая масса народа хлынула к воротам. Вот арба у ворот... Сильные кони рванулись, и побежали резво. Оборванная толпа свистнула нагайками по бедрам коней. Туча пыли, поднятая на дороге, скрыла от взоров народа арбу и всадников. «Дай бог ей счастливого пути! Славная была девушка», — говорили жители, расходясь по домам. Те из них, которым лежал путь мимо княжеской кунацкой, кланялись Теперуко, который сидел на камне перед кунацкой, низко опустив голову.

Смех и веселие навсегда покинули дом Теперуко. Сыростью могилы несло от него. Душу богатого семейства составляла Назика. Не стало ее — и биение жизни почти прекратилось. Со дня выезда Назики нога молодого человека или девушки не переступала более порога теперукова двора. А двери девичьей затворились навсегда за своей милой хозяйкой.

Роль физише, то есть посланцев жениха, изменилась, как только они выехали из ворот теперукова аула. Из безответных жертв насмешки, они сделались безнаказанными грабителями. Все испытанное было забыто. Вот вдаль показался всадник. Раздался дружный гик. Пыль взвилась тонким вихрем... Путник настигнут и ограблен в минуту. «Сердиться не смей, иначе еще хуже будет», — говорят ему гонцы с возмутительным хладнокровием. Повторив несколько раз такую проделку, физише вознаградили себя за потерю. Но вместе с обновкой, у многих появились синяки на носах и под глазами; а на более отважных даже рубцы шашки и кинжала. Схватка с невинными путниками не обошлась даром. Впрочем, на это никто не обращал внимания. Мало ли чего не бывает с физише. Уорк умеет сносить шутки. Что за черкес тот, кто для уорк-хябзе не расстанется с жизнью. Нужды нет, что побили крепко.

Счастлив был путник, достигавший до арбы, и успевший крикнуть: «Я твой гость, благородная невеста». Его отпускали целым... На четвертый день путешественники приблизились к своему аулу. Гонец помчался извещать о прибытии княжеской невесты и на дороге кричал каждому встречному: «Физише вернулись!» Народ высыпал на встречу поезда. Лихие всадники безумно закружились по широкому полю, сверкая обнаженными винтовками. Раздался гул выстрелов. Пешие и конные люди смешались и закружились. Физише старались разогнать толпу, яростно врывались в нее, хлестали на все четыре стороны плетью и сами получали не менее [111] тяжкие удары сучковатых палок. Смотря издали, можно было подумать, что в аул врывается неприятель.

С трудом прочищая себе дорогу, арба подкатила наконец к воротам аула. Свадебная песня слилась с выстрелами а громким восклицанием народа. Волны народа сгущались все более, физише брали каждый шаг с боем. Кровли саклей, плетневые ограды были унижены народом; а из полуотворенных дверей и окон выглядывали благородные жены и девушки.

Невесту подвезли прямо к княжескому дому, так как в нем никого не было старше жениха (Если в доме жениха есть старший член, невеста на несколько времени остается жить в чужом доме, откуда вводят ее в дом с разными церемониями).

При том же Айтек был ужасно стар и женат был раз пять, что избавляло его от тяжелых церемоний встречи. Отдых был необходим утомленной долгим путем девушке. Айтек очень благоразумно распорядился, приказав разогнать любопытную толпу, собравшуюся у ворот его дома. По его же повелению выпроводили из сакли всех женщин и девушек, пришедших посмотреть, какие у невесты глаза, нос, подбородок, из чего состоит ее наряд и много ли вещей она привезла с собой.

Назика осталась одна, окруженная княжескими служанками, потому ей незачем было исполнять требования этикета. Она не прикрыла даже бледного лица чадрой, глаза ее машинально блуждали кругом... грусть волновала душу.

Мулла прокричал вечерний намаз 13, девушки подали ужин. Назика отказалась, не до еды было ей, нянька, приехавшая с ней, положила несколько кусочков в рот, но вид Назики отбил и у нее охоту кушать. По окончании ужина, служанки начали исчезать одна за другой. Осталась только одна старшая распорядительница в доме. Она приготовила постель, разместив тазы и рукомойники по их местам, подложила к огню дров и, сложив руки на груди, вопросительно посмотрела на няньку.

— Пойдем с нами, — сказала она тихо, видя, что нянька не поняла ее знака.

— Ах, душа моя, оставь нас на часок вместе, — ответила няня. — Мне кое-что нужно сказать княжне. Я скоро выйду за тобой.

Служанка вышла и притворила за собой дверь.

— Тебе, свет очей моих, нужно стать вон там, — проговорила нянька дрожащим голосом, указывая на то место, где возвышались тюфячки и одеяла.

— Лучше бы умереть мне! — вырвалось у Назики.

— Ничего, дитя мое. Все девушки так говорят сначала. Привыкнешь. [112]

— Нет, у меня не хватит сил... я не могу, Заират... я убегу отсюда.

— Тс! Избави тебя аллах! С каким лицом покажешься после людям? Стыдно. Я, право, не ожидала этого от тебя.

На княжну нашел какой-то припадок. Слезы покатались из глаз, прерывистое рыдание вырвалось из уст. Нянька пришла в совершенное отчаяние.

— Что мне делать, великий аллах! — говорила она, ломая свои руки. — Ребенок, ведь ты бросишь грязь в седую бороду Теперуко.

Рыдания Назики становились сильнее, она ничего не слышала, ничего не хотела понять. Она не знала, что с ней случилось, какое у нее горе. Она не хотела думать о том, какой стыд встретить своего мужа слезами!

— Пора, князь будет скоро, — проговорила служанка, просунув голову в полуоткрытую

дверь.

Заират стояла неподвижно, уставив глаза на Назику, ей совестно было обернуться к служанке. Угадала ли служанка в чем дело, или подумала, что поучения няньки еще не кончились, только она снова скрылась. Пристыженная, растерявшаяся нянька не находила более слов для увещаний; к счастью, сама Назика оправилась.

Она быстро отерла слезы и твердо проговорила:

— Уйди, Заират, куда тебя зовут. Да будет воля аллаха. Я вырвала бы из груди свою душу. Но душу вложил аллах, он один вправе и отнять ее.

Нянька так обрадовалась внезапной перемене, что схватила руку княжны и осыпала ее поцелуями.

— Да будет с тобой аллах! — проговорила она и простилась с ней.

Назика осталась одна, в незнакомом доме... холод пробежал по всем жилам; ею овладел страх, до того времени незнакомый. Назика впала в смутный сон... Дубовые двери тяжело закрипели на петлях и растворились настежь. Вошел высокий старик в черной черкеске...

Наутро молодая княгиня осталась в постели, к большой горести аульных девушек, давно уже приготавливавшихся к танцам. По аулу пошли толки и догадки. Причину внезапной болезни княжеской невесты объясняли различно, смотря по вкусу и наклонности каждого. Старухи утверждали, что какая-нибудь колдунья успела поднести княгине зелья; а более тонкие знатоки сердца строили предположения еще более хитрые. Но ни тем, ни другим не было известно ничего положительного. Предусмотрительность Айтека избавила Назику от сплетней и докучливого любопытства. [113]

«Чтоб ни одна бабья нога не смела перешагнуть моего порога», — наказал Айтек. А воля сурового старика свято исполнялась.

Прошел целый месяц, пока Назика окончательно не встала на ноги. Болезнь значительно облегчила ее. Кроме того, что она отстранила неизбежные толки, она дала ей время осмотреться и привести в сознание новое свое положение. Этому много способствовала и нянька, которая, сидя у изголовья больной, поминутно твердила ей о необходимости перемены. Во все время болезни жены Айтек ночевал в кунацкой, но его скрытой заботливости обязана была Назика спокойствием и полным довольством. Служанки не выходили из сакли и на лету хватили малейшее ее желание. Такая предупредительность немало содействовала и тому, что Назика в месяц успела довольно привыкнуть к новому своему положению. Великий переворот совершился в ее судьбе почти незаметно. Круг ее деятельности расширился и потребовал от нее умения и распорядительности. В короткий срок она усвоила все тонкости домашнего управления. Нужно ли было приготовить какое-нибудь замысловатое блюдо, выткать домашнее сукно, выкроить платье, она не прибегала за советами к служанкам, и сама приказывала сделать так, как ей хотелось. И весь аул единогласно решил, что хозяйки, подобной Назике, хоть бы с ситом в руках объехать свет, не найдешь. Здесь, как и дома, Назика приобрела любовь и уважение окружающих. Молодые девушки постоянно находились при ней, учились шитью, а замужние женщины, в отсутствие своих мужей, приходили осведомиться о ее здоровье, и, посидев часа два, возвращались домой совершенно довольные молодой княгиней. Даже дворня Айтека (привыкшая, как и всякая другая дворня, чернить своих господ) ничего дурного про нее не говорила. И было бы мудрено чернить ее, когда она с последним мальчишкой обходилась

ласково, не выговорила ни одного жестокого слова, не причинила никому ни малейшего огорчения. Несмотря на такую мягкость, все слушали ее беспрекословно. Назика снискала также и расположение старого своего повелителя, даром, что князь считался человеком самого неугомонного и вечно недовольного нрава.

После смерти последней жены князь Айтек два года оставался вдовцом. В это время в доме его произошли большие беспорядки во всем. Служанки прибрали к рукам все домашнее хозяйство, мало заботились о старике и его семействе. Каждая из них думала только о том, как бы подлеститься к хозяину, и выжидала удобного случая, чтобы стянуть что-нибудь из дому, отчего домашняя утварь и другие необходимые принадлежности исчезали одна за другой неизвестно куда.

Трое детей Айтека ходили так неприлично, что их нельзя было отличить от крестьянских ребятишек. Самому князю нередко [114] приходилось краснеть перед гостями: стол его был хуже, чем у какого-нибудь отпущенника. Приходилось донашивать черкеску до последней нитки. Все это Айтек видел и понимал очень хорошо, да и приближенные чуть не каждую минуту твердили ему, что ему нужна хозяйка. Но старик медлил, потому что старух он терпеть не мог, а про вдов и женщин средних лет говаривал: «Лев не возьмет овцы после волка». Случай навел его на молодую невесту. В одном из своих переездов по краю он провел ночь в одном ауле, у старого приятеля, который за ужином молол всякую чепуху и, между прочим, коснулся случайно старого Теперуко.

— Этот человек, — так выразился хозяин, — в жизнь свою сделал одно только хорошее дело — родил дочь красавицу.

Кто-то из товарищей князя стал расспрашивать про Назику.

— Я желал бы каждому из вас и вашему князю иметь бы такую дочь, — отвечал хозяин.

— Право, не худо бы хоть туркам продать. Сам падишах посадил бы ее по правую руку на Стамбульском престоле.

— Почему не пожелаешь нам такой жены? Какая от дочери польза? — заметил Айтек.

— И то правда, — поправился балагур. — Только старикам, как мы с тобой, поздно уже зариться на красавиц. А сын у тебя есть?

— Еще какой! — подхватил один из товарищей Айтека. — Джигит во всех статьях!

— Чтоб я стал искать невесту для поросенка! — перебил князь сурово. — Пусть сам ищет, коли захочет.

— Да зачем ему искать? Пожалуй, хоть я устрою, — вызвался хозяин, охотник до всяких услуг.

— А как ты думаешь, хозяин, пойдет ли за меня дочь Теперуко? — спросил Айтек.

— Не знаю, право, воин ты хоть куда, да стар больно.

— Стар! — произнес Айтек каким-то глухим голосом, — мне далеко за шестьдесят, а все-таки красавица твоя от меня не увернется. Верь этому, если знаешь хоть мало Айтека.

Айтек никогда не изменял своему слову, если оно касалось его чести. Неумышленная

шутка словоохотливого хозяина решила судьбу молодой девушки. Сватовство, как мы видели, конечно было с успехом. Только на другой день прибытия невесты убедился старик в истине слов балагура. Но он не имел привычки пенять на то, что раз сделано. Айтек верно, не стал бы более преследовать невыгодное сравнение своей особы с женой, если б в душу его не вползла, как змея, ревность. Мысль, что жена не может его любить, и быть может, презирает его в душе, одна эта мысль стоила ему неописанных мук и тайных страданий. Айтек чувствовал, что он, как вор, украл целую жизнь невинного существа. Но не совесть мучила его — нет! с совестью он никогда не церемонился. [115]

Его мучило убеждение, что тот, кто крадет, бывает в свою очередь обкрадываем. «Трем вещам не должен доверять мужчина, — говорил князь Айтек, — коню, винтовке и жене. Конь в минуту сражения поднимется на дыбы, фыркнет и осрамит так, что хоть домой не возвращайся. Винтовка осекается в самое нужное мгновение. А жена... о, с этим шайтанским отродьем ничего не сделаешь».

С первого взгляда на жену Айтек убедился в возможности измены. Подозрительность его усиливалась с каждым днем и дошла до того, что он строго запретил спутнику Назики, Исламу безродному, видаться с ней, и когда тот начал энергически жаловаться на невиданное притеснение, то Айтек предложил ему щедрый Подарок с тем, чтоб он немедленно оставил его дом. Ислам отказался от награды и отправился восвояси, круто побранившись с Айтеком. Вслед за Исламом отправлена была нянька, которая, по мнению старика, могла быть опасной. Затем ревнивец образовал из домашней прислуги род полиции со строгим предписанием следить каждый шаг Назики.

Под влиянием ревнивых помыслов старый князь стал чаще сидеть дома, почти отказался от военных предприятий и, как часто случается с воинами в душе, страшно состарился от бездействия. Он разом опустился и одряхлел. Айтек не так уж страстно вдевал ногу в стремя, не так горячо прикладывался к винтовке. «Пять ночей сряду не высижу на седле, — говорил он с глубокой горестью. — Справедлива поговорка: сделался стар — сделался дрянь». Не только пять ночей, но уже и день верховой езды стал обходиться ему недешево; выражение пять ночей употреблял он для того, чтобы слушатели не подумали, будто он куда уже не годится.

Физическая дряхлость князя скоро стала отражаться на его отношениях с молодой женой. Он привязался к ней пуще прежнего, с назойливостью, какой не знал в молодые годы. Старик готов был дни и ночи просидеть возле Назики, не сводя с нее глаз. Круглая шея, полные, мягкие ее формы горячили его воображение, грозный князь у ног своей молодой жены делался чрезвычайно мягким и послушным. Тихо, как бы опасаясь пощечины, привлекал он ее к груди, ласково гладил ей лоб, глаза, вил в кольца ее мягкие кудри, и за все эти нежности просил у жены, как особенной милости, поцелуя... Старик не мог не знать, что этот поцелуй и это дыхание искали иного... И тут опять в нем пробуждалась беспредметная ревность, угрожающая бедами.

Так прошло четыре года — целая вечность: за эти четыре года в семействе Айтека не случилось ничего особенного, кроме того, что на пятый год старший сын старика, после семнадцатилетнего пребывания в доме аталыка 14, занял свой уголок под [116] родительским кровом. Молодая мачеха приняла самое живое участие в юноше и заставила всех позабыть, что у него не было родной матери. Она приготовила бузы и явств в таком количестве, что хватило на два аула, и тем заслужила общую похвалу и благодарность. Народ особенно изумился приему молодой княгиней Джераслана.

Когда Джераслан по обычаю принимал из рук мачехи чашу с бузой, мачеха зашаталась и

едва не упала, а молодой человек чуть не выронил чаши. Случай этот долго переходил из уст в уста, как пример редкой любви мачехи к пасынку. Сам старик остался чрезвычайно доволен добрым расположением жены. Он очень любил сына, который подавал большие надежды на отличного наездника, а это не могло не радовать отца, бывшего в свое время первым между храбрыми.

Старик с особенным удовольствием выслушал рассказы о похождениях Джераслана, обличавших в нем будущего головореза. Четырнадцать лет Джераслан участвовал в набегах, видел не раз человеческую кровь и с юношеским пылом порывался всюду, где можно было подраться. В известном походе на Бекешевскую станицу, в котором пять тысяч отборных черкесских наездников покрыли себя вечным позором, молодой Джераслан находился в малочисленном арьергарде, храбро прикрывавшем бесславное отступление. Ядра жужжали кругом, гранаты лопались среди скачущих всадников и, забегая вперед, рыли землю, кони уставали под тяжестью седоков и падали. В общей суматохе никто не думал подавать помощь опешавшим товарищам. Каждый старался спасти себя. Обычай — лечь подле убитого товарища, но не покидать его труп на произвол врага, был забыт совершенно. Отстававших резали или брали в плен. В такую критическую минуту Джераслан отважился проникнуть в густые ряды преследовавшего неприятеля и вынес из под града пуль покинутого товарища. За этот смелый подвиг песня о «Походе трусов» отличила его эпитетом «молодого льва».

Самая наружность Джераслана была из тех, которые, по мнению черкесов, изобличают благородную кровь. Черты его лица, кроме изящной тонкости, отличались еще полудевической нежностью: если б нарядить его в женское платье, то никто не мог бы узнать в нем мужчину. За это качество прекрасный пол очень жаловал Джераслана. Говорят, что одна женщина сказала про него: «Так и хочется посадить Джераслана к себе на колени!» Джераслан умел пользоваться благосклонностью женщин, и немало хорошеньких глазок заставил проливать слезы позднего раскаяния. Джераслан, как истинное дитя полудикого края, любил хвастать пред товарищами своими любовными победами, даже не был правдив в своих рассказах, но тот же хвастун никогда и никому [117] не рассказывал о подвигах своих на поле брани и среди темных ночей, в опасных набегах.

Джераслан действительно обладал всеми качествами черкесского джентльмена. Он был ветрен, беспечен или, как говорят черкесы, сидя на ветре, тыкал пальцем в воду; был не глуп, но не щеголял умом в том убеждении, что умничанье безобразит молодого человека; не говорил никогда серьезно, хотя мог высказать мысли, над которыми поломал бы голову и первый Солон 15 аула. Характер имел самый неуловимый, можно сказать, безразличный, который изменялся по меньшей мере, десять раз в день. Все действия Джераслана вытекали из минутного настроения. Он не обдумывал заранее и не каялся в том, что раз сделано, хотя бы и признавал ошибку. Отчаянная предприимчивость Джераслана не знала ничего невозможного, ничего такого, пред чем можно бы остановиться в раздумьи. Раз, говорят, он проехал с товарищами по узкой тропинке над обрывистой скалой, сажени две вышиной. Кто-то от скуки предложил вопрос: найдется ли такой молодец, который, будучи преследуем врагами, решился бы пустить коня в эту кручу?

— Такого труса, надеюсь, не найдется между нами, — отвечал Джераслан. — Не велика храбрость в том, кто из боязни к врагу бросится в кручу. Другое дело, если он так, из удалства, от нечего делать, решится на этот подвиг.

— Да, это было б делом хорошим, — сказал другой товарищ. — Только удалцов такого

разбора нынче не сыщешь. Мудрено без причины ломать себе шею.

Джераслан, ничего не говоря, повернул коня, укоротил поводя и, когда конь, трепеща всем телом, остановился на самом крае обрыва, сильно ударил его под брюхо. Раздраженное животное поднялось на передние ноги и стремительно ринулось в пропасть. Товарищи не верили глазам своим, когда Джераслан со своим конем, сделав несколько оборотов в воздухе, очутился у подножия скалы, сидя в седле как прикованный.

Кроме предприимчивости, имеющей огромное значение для черкеса, Джераслан обладал и многими другими качествами. У него насчитывалось большое количество друзей, готовых сесть на коней по первому его зову. А знакомство вел он со всяким, кто хоть раз перемолвил с ним два-три слова.

А как дружба между черкесами держится главным образом на взаимных услугах и подарках, то Джераслан без всякого расчета сорил конями и оружием, и сам, в свою очередь, загребал их обеими руками. От этого он ничего не приобретал и ничего не проигрывал. Подарит, бывало, сегодня приятелю лошадь или винтовку, а завтра сам возьмет у другого; так что одна и та же [118] винтовка, переходя из рук в руки, несколько раз попадалась к старому хозяину и снова отправлялась бродить где попало.

Круглый год, за исключением двух-трех месяцев, он проводил на коне, и все приобретенное чистыми и нечистыми средствами делил между товарищами. С двенадцати лет аталык не справил ему ни одного платья. Несмотря на это, Джераслан был всегда одет прилично, даже находил что подарить товарищу. Впрочем, о костюме он очень мало заботился; надевал что попадало под руки, и самая плохая черкеска шла к нему так, как иному франту не идет изящный фрак, изделие французского мастера. Летом и в самые жестокие морозы одежда Джераслана была одна и та же: тонкий бешмет, да ветхая черкеска с куцыми рукавами, разодранная под мышками. Он не знал даже, что такое шуба.

Один старичок, желая польстить самолюбию Айтека, отзывался о Джераслане такими словами; «Когда этот безбожник прильнет к тебе выманивать какую-нибудь вещь, отдай ему скорее и закрой глаза. Вообрази, что он сыграл со мной. Года два тому пристал ко мне: отдай, говорит, мне шашку; шашка осталась от покойного моего родителя, и я берег ее, как свою бороду. Я говорю ему: возьми все мое состояние, а шашки не могу отдать. Что ж ты думаешь? Безбожник уверил меня честным словом, что он просит ее только так, на короткое время, и что он отдаст ее мне назад в новых ножнах и ручку обделает в серебро. И теперь бери шашку, если можешь. Я остался как кошка, у которой вырвали мясо, я проговорил клятвенное обещание не расставаться с отцовским наследием. Следа даже не открою: так ловко он ее упрятал».

— Не может быть! — восклицал с восторгом обрадованный отец.

— Спроси у сынка своего, коли не веришь, — подтверждал старичок.

Расторопный Джераслан, скоро по возвращении своем домой, сделался правой рукой старика-отца. Случалась ли надобность поехать куда за делом, участвовать ли в собраниях вместо отца, приезжал ли в кунацкую важный гость, — всюду успевал Джераслан. Со времени его возвращения старик еще более опустил и стал совершенным домоседом, не принимал участия ни в домашних, ни в народных делах. Целые дни строгал какую-нибудь палку, точил свой ножик, постоянно пробуя острие его о свою бороду, отчего эта последняя стала походить на остриженную аллею. Старик, вероятно, хотел под своим надзором приучить к жизни наследника своего имени и чести.

Только один раз важное обстоятельство заставило его на несколько дней покинуть дом. В народном собрании в то время шли рассуждения об отправке большой партии на русские границы. Гонец прибыл за старым наездником с приглашением от [119] старейших членов собрания. Голос его был необходим в таком важном вопросе. Старик отправился на зов, приказав сыну готовиться к выступлению в поход. При этом он слегка намекнул, что, быть может, Джераслана изберут в предводители...

Вечером, на пятый день отъезда Айтека, Назика сидела на своей кровати, задумчиво опустив голову на ладонь правой руки. Необычайный блеск в ее глазах и живой румянец, пылавший на щеках, показывали, что в ней происходит сильная душевная борьба. Она не обращала ни на что внимания, даже выронила из рук иглу и бешмет, который пред тем шила к приезду мужа. Служанка и три девушки, сидевшие в углу за работой, поглядывали с недоумением на княгиню. Они не привыкли видеть ее в таком положении.

Назика долго молчала. Наконец, обращаясь к присутствующим, проговорила:

— Оставьте меня. Я нездорова — хочу лечь.

Девушки встали, сложили работу в большую корзину и, пожелав княгине покойной ночи, вышли чинно из сакли. Одна из служанок раздела Назику, поправила ей подушки, набросила на нее одеяло, затворила дверь и тихо вылезла из заднего окна. Оставшись одна, Назика быстро вскочила с постели, достала из сундука завернутую в кисейный платок шапочку, в которой она выехала из родительского дома и которую переменила на черный платок, спустя неделю по прибытии. Надела также новый, атласный бешмет, обшитый кругом серебряными тесьмами; посмотрела раза два в закопченное пятнами зеркальце и в страшном волнении подседа к огню. Лихорадочная дрожь проникла в нее насквозь. Румянец на щеках становился шире и ярче. Огонь в глазах усиливался. Назика поминутно вскакивала с табурета и, подойдя к окну, чутко прислушивалась к малейшему движению на дворе... Прошло часа два. Настала темная, беззвездная ночь. Одному богу известно, какую страшную муку вынесла бедная женщина в этот короткий промежуток. Агония смерти не могла бы так сильно измучить ее, как эта двухчасовая борьба.

Упрямая натура, устоявшая против непрерывных мук четырех лет, сломилась наконец от сильного волнения. То страшный, оледеняющий холод, то пожирающий огонь попеременно овладевали Назикой. Она не выдержала, в изнеможении бросилась на постель, бешено прильнула горевшими щеками к подушке, и несколько жгучих слез выпало из глаз... глухой стон вырвался прямо из стесненной груди и замер в пустом пространстве сакли. Если б подобное состояние продолжалось до утра, то, верно, вместо прекрасной Назики, нашли бы холодный труп. Но, к счастью, окно тихо растворилось... Назика вспрыгнула как молодая тигрица и мигом очутилась в объятиях статного юноши. Страстная немая [120] сцена тянулась несколько времени. Вошедший юноша с жаром прижимал к сердцу молодую женщину, потерявшую на время чувство.

— Сядем... я не могу стоять, — прошептала Назика задыхающимся голосом и повлекла любовника к постели.

— Я там не сяду, это грех, — сказал юноша, указывая на кровать. — Лучше сядем вон там, на ковре.

Назика в страшном бессилии опустилась на ковер. Молодой человек подсел к ней и дрожащими руками обнял шею княгини... Долго шел прерывистый, бессвязный шепот,

прерываемый ежеминутно жаркими поцелуями. В пылу страсти Назика позабыла всякую стыдливость.

— А ведь я до сих пор не снимала корсета (После первой ночи замужества черкешенки не носят корсета), — говорила она в упоении, едва переводя дух. — Посмотри сам, если не веришь. Душа мне говорила, что я еще с тобой увижусь.

— Лучше б нам никогда не встречаться с тобой, — отвечал молодой человек.

— О, нет. Я буду твоя... ты знай, что у меня не было и не будет мужа. Возьми меня куда хочешь. Я повсюду буду следовать за тобой, лишь бы не видеть старика... Возьми меня, умоляю... продержи возле себя, хоть один месяц, хоть неделю... а потом брось, убей меня. Только прошу тебя, вырви меня отсюда.

— Этого нельзя сделать даже с врагом, — отвечал молодой человек, — а я... как я дерзну на это... Ведь аллах убьет меня на этом же пороге...

— Если так, даешь ли мне клятву, что всегда будешь любить меня, — сказала Назика, болезненно прижимаясь к юноше. — Что каждую ночь придешь на место, которое я тебе назначу... Поклянись, умоляю тебя... Иначе, я не проживу неделю...

— Клянусь именем аллаха, — начал юноша...

— Нет... нет... не надо, не говори этого слова, — перебила Назика.

Наступила полночь. Небо стало проясняться. Из-за туч выглянул месяц и снова спрятался. У ворот княжеского дома отряхнулась лошадь, звеня стремянами. Калитка заскрипела. Вошел человек в бурке и башлыке. Сначала он подошел к двери хозяйской и, постояв там минуты две, тихо направился к заднему окну... Он занес руку, чтобы постучаться, но остолбенел. Из щели показался слабый луч, потом слышался шепот разговора. Ночной гость затрясся, ухватился за грудь, зашатался и сел на землю. На несколько времени сознание покинуло его. Очнувшись, незнакомец быстро вскочил на ноги, одним движением сбросил с плеч бурку, дико сверкая глазами, изо всей мочи ударил в окно. Окно оставалось [121] незатворенным изнутри, потому вместе с ударом влетел в саклю и высокий старик, бледный как мертвец. Раздался слабый визг... что-то тяжело упало на пол... затем все стихло в сакле.

Любопытство и страсть к кочевой жизни закинули меня недавно на реку Уарп. Славные здесь виды, да и люди пришлись мне по нраву. Да, здешние черкесы невольно переносят мысль к давно минувшим дням, — славы и бурной свободы. Наездничество у них еще в полной силе. Народ беднее, чем у нас на Кубани, но несравненно чище нравственностью и пристойнее. У нас число почитателей Бахуса 16 возрастает с каждым базаром в станицах, а здесь, в целом ауле, не найдется и пустой бутылки. Женщины прячутся от мужчин. Как я ни старался, однако, во все время пребывания моего здесь, мне не удалось увидеть ни одной женской фигуры. Даже из-за плетневой ограды не мелькнуло ни разу белое покрывало. А на улицах кубанских аулов я очень часто натыкался на самые бесстыдные женские лица и на сцены не очень благовидные. В наших местах редкий мужчина, будь он хоть и молодой, просиживает день в кунацкой (большая часть не имеет даже и кунацкой). Все очень весело проводят время у ног своих жен, а если таковой не обретается, то в присутствии матерей и сестер. Обычай, запрещающий входить в чужое семейство, изглаживается быстро и можно предсказать наверное, что лет через двадцать сделается преданием почтенной старины. На Уарпе не то. Каждый дворянин или отпущенник

считает первым долгом выстроить перед своей саклей приют для гостей. И эти приюты играют очень важную роль. В них сосредоточивается общественная жизнь черкеса.

Кунацкая для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе, с той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, пьют, веселятся за счет хозяина, обсуждают свои дела и набирают новостей в таком количестве, что их не уместить даже на столбцах любой газеты.

Десять дней провел я в кунацкой старшины Карабатыра и не соскучился бы провести еще столько же, если бы одно странное обстоятельство не разрушило моего короткого очарования. Раз мы сидели в обществе молодых людей, пели, шутили и дружески болтали. Мне было как-то особенно покойно и весело. В безыскусственной шутливости и непринужденном смехе молодежи было столько удали и теплой простоты, что я вообразил себя перенесенным в какой-нибудь волшебный мир. Я забыл и прошлые огорчения, и первые неудачи, и примирился с своим положением, как вдруг долетели до нас крики со двора. Мы все высыпали гурьбой из сакли. Народ толпами валил к мосту, где уже виднелась густая кучка зрителей. «Что это?» — спросил я своего хозяина. «Уаллахи, не знаю, — отвечал он — Пойдем посмотреть». Мы пошли [122] довольно быстро и скоро подошли к мосту, переброшенному через реку. Мост был выстроен довольно прочно, из толстых бревен, выровненных слегка, и возвышался на высоких скалистых берегах. На мосту и перед мостом толкался народ. Полунагие мальчики, побросав свои игрушки, взбирались на соседние плетни и кричали изо всей силы.

Почетное положение Карабатыра в ауле дало нам возможность без особенных пожертвований протиснуться через густо сплоченную массу. Мы очутились на мосту, и я увидел сцену, привлекавшую жителей аула. Посередине моста, по обеим сторонам перил, стояли по два здоровых мужчины. Двое на правой стороне спускали с моста на веревке какую-то женщину и, окунув ее со всего размаха в воду, медленно выпустили из рук смотанную в кольцо веревку. Двое других по левую сторону поднимали женщину по другой веревке, связанной с первой под мостом. Операция эта производилась до тех пор, пока женщина не лишилась чувств. Тогда ее подняли и положили на широкую доску, лежавшую на берегу. Из рта и носа женщины вода была непрерывным фонтаном. Черная коса, обрезанная до половины и напитанная влагой, безобразными комками валялась в пыли. Синее лицо и надувшийся живот были отвратительны на вид. Отчаянные вопли этой женщины так меня взволновали, что во все время операции я не мог произнести ни слова. Опомнясь немного, я бросился к Карабатыру и дрожащим голосом спросил его, зачем мучили эту несчастную.

— Да это сумасшедшая, — отвечал он с возмутительным спокойствием. — Наши хакиды 17 всех сумасшедших так лечат... Вернемся в кунацкую. Здесь что-то жарко.

Я молча отделился от моего хозяина и сел на камень, неподалеку от бесчувственной страдальцы. Хозяин с молодыми людьми пошел домой. Масса народа тоже заредела. Полдневный зной сильно накалял землю. Я попросил товарища моего и одного из зрителей отнести жертву хакимской премудрости хоть под тень ближайшего плетня. Через полчаса обнаружили в ней признаки жизни. Бедняжка открыла глаза и, встретив яркие лучи солнца, снова их закрыла. Я наклонился к ней и ощупал пульс, биение его чуть было слышно. Долго всматривался я в ее лицо. На нем еще не изгладились следы изумительной красоты. Тонкая линия черных бровей, большие глаза, изящно округленный подбородок и крошечный ротик, ясно говорили, что эта женщина не была судьбой предназначена к такому плачевному состоянию. Соразмерность и стройность всего ее тела была изумительна. Одна особенность очень меня поразила и возбудила во мне страшное

подозрение: у, несчастной отрезан был кончик носа.

Прохлада под тенью и подувший ветерок благотворно действовали на страдальцу. Она очнулась, присела и кинула кругом [123] себя мутный, безжизненный взор. Затем она схватилась судорожно за спину, вскочила на ноги, и из уст ее вырвался какой-то неопределенный звук, пронзивший меня до глубины сердца. Отчаянно вцепившись руками в свои волосы, она зарыдала дико, безнадежно. Эта раздиравшая душу сцена, к счастью, продолжалась недолго. Сумасшедшая, бросив беглый взгляд вокруг себя, побежала к мосту. Я последовал за нею, опасаясь, чтобы она не бросилась добровольно в воду. Она остановилась на том месте, откуда опускали ее в реку, и начала что-то искать вдоль берега.

В это время показался на берегу мужчина, держа в руках какой-то деревянный обрубок, тщательно закутанный в разноцветное тряпье и опоясанный красной лентой. Это было чучело человека. Мужчина стал на возвышение и пронзительно свистнул. Сумасшедшая оглянулась и, увидев в руках человека чучело, с радостным криком устремилась к нему, схватила обрубок, отпрыгнула в сторону, и стала прижимать кусок дерева к сердцу, осыпая его поцелуями и вся дрожа от радостного волнения. Потом она взвалила чучело себе на спину и, придерживая его обеими руками как бы из опасения, чтобы люди вторично не отняли драгоценность, тихо пошла за незнакомцем. Долго следил я за нею глазами, пока она не скрылась в глубокой балке.

Пораженный до глубины души, я вернулся к своему хозяину. Здесь из расспросов узнал я, что несчастная женщина была некто иная, как когда-то знаменитая красотой Назика, первая звезда теперукова аула. Еще прежде я знал историю Назики в общих чертах, с неизбежными ошибками и преувеличениями. В кунацкой Карабатыра я навел верные справки, и в первый раз услышал страшную развязку этой мрачной повести. В правдивости хозяйских рассказов нельзя было сомневаться.

Подозрительность Айтека, на время усыпленная постоянным пребыванием дома, разгорелась с новой силой, лишь только ему пришлось по делам удалиться на время из своего аула. Он был позван друзьями на совещание о предстоящем набеге, но Айтек, не имея сил сдерживать свое беспокойство, сказался больным и поскакал домой, сломя голову. Товарищи едва успевали за ним и дивились необычайной торопливости, с какой Аптек гнал свою лошадь. Давно уже не видали его таким бодрым... Предчувствие не обмануло Айтека. Чего он так долго и так мучительно ожидал, сбылось. Его глаза увидели ясно, осязательно то, что жило только в предположении. И Айтек поступил, как поступил бы на его месте всякий другой черкес. Любовник жены был убит кинжалом, а отрезанный нос остался вечным клеймом преступной жены. Но это не удовлетворило Айтека. Не зная меры злобе и мщению, он раздел догола жену, своими руками привязал к ее спине труп любовника и в таком виде продержал несчастную трое суток в своей [124] сакле, сам все время просидел дома, забив наглухо все двери и окна. Назика не вынесла жестокого удара и сошла с ума. Но и в этом печальном состоянии сохранила она воспоминание о минутном счастье. Никогда она не целовала своего мужа с таким безумным исступлением, как безумное чучело, которое ей показывали добрые люди аула всякий раз, когда сумасшествие усиливалось и грозило сделаться опасным. Бедной женщине стоило увидеть грубое подобие человека, и пароксизмы болезни пропадали, и восторг сменялся радостным плачем и поцелуями. Назика, впрочем, была гораздо счастливее многих из своего пола. Первый задушевный поцелуй ее жарких уст выпал на долю того самого юноши, который, мелькнув перед нею, как в сновидении, занял первое место в ее сердце. То был молодой Джераслан, перед которым, больным и раненым, она плясала в отцовском доме.

Комментарии

5. Кобуза — старинный музыкальный инструмент, напоминающий скрипку, с волосяными струнами и смычком в форме лука. Описание адыгских музыкальных инструментов, в том числе и кобузы, содержится в статье С. И. Танеева «О музыке горских татар» (Вестник Европы, 1866, т. 1).

6. Шуандыр — герой неизвестного ныне адыгского предания.

7. Кешев допускает здесь ошибку, путая Джебраила с Азраилом (вестник смерти). Джебраил в мусульманской мифологии посредник между Аллахом и Магомедом, при содействии которого последний составил коран.

8. Имеется в виду древняя похоронная ритуальная игра. Подробное описание похоронной тризны содержится в очерке Хан-Гирея «Черкесские предания». (См.: Хан-Гирей. Избранные произведения. Подготовка текста и вступительная статья Р. Х. Хаихожевой. Нальчик. 1974.)

9. Орк-хябзе (уэркъ-хябзэ) — свод житейских правил и этикета господствующего класса.

10. Гурия — райская дева; иносказательно — красавица.

11. Факир — мусульманский странствующий монах, нищенствующий дервиш; иносказательно — нищий, бедняк.

12. Байрам — мусульманский праздник.

13. Намаз (перс. — молитва) — ежедневная пятикратная молитва у мусульман, совершаемая ранним утром, в полдень, во второй половине дня, при закате солнца и наступления темноты. В намаз входит чтение отдельных сур корана и произнесение молитвенных формул, сопровождаемых поклонами, prostиrанием ниц.

14. Аталык — воспитатель. Система аталычества была одной из традиционных форм быта горцев Северного Кавказа. Она заключалась в том, что дети влиятельных княжеских и дворянских фамилий отдавались на воспитание в другие менее значительные по общественному положению феодальные семьи. Причина бытования этого обычая заключалась в обоюдном стремлении крупных и мелких феодалов установить искусственное родство, обеспечивающее неприкосновенность прав привилегированных кругов. (См.: История Кабардино-Балкарии. М., 1967, т. 1, с. 285 — 287.).

15. Солон — прославленный древнегреческий мудрец. (См. о нем: Геродот. История. Новелла о встрече Креза с Солоном.)

16. Бахус — в древнеримской мифологии бог вина и веселья, покровитель виноградарства и виноделия.

17. Хаким (араб. хеким) — врач, доктор.

АБРЕКИ

(Рассказ черкеса)

Нас у отца было всего двое детей — я да старший брат. Выросли мы на земле абадзехов 18, а родились в Кабарде. Еще ребенком, лет семи, помню, я расспрашивал иногда отца, зачем он переселился на чужую землю, далеко от родственников и друзей. «Как тебе знать дела старших?» — отвечал на это обыкновенно отец. Только когда мы подросли и уже могли крепко держаться в седле, отец рассказал нам причину, почему он покинул родной край. Видишь ли, дело-то из чего вышло. Был у отца закадычный приятель, с которым он чуть не в одной рубахе грелся: и горе, и радость, и добыча — все было у них пополам. Раз они поехали, по обыкновению своему, поворовать немножко. День выждали в лесу, а ночью пробрались тихонько в один аул. Здесь они разлучились, чтобы высмотреть в одиночку удобнейшие места для кражи. (Так всегда делается между хорошими ворами; только непривычные к темным ночам бредут гурьбой и зато никогда не знают удачи.)

Когда отец вернулся в назначенное для сходки место, товарища там не оказалось. Он простоял в большом нетерпении до полуночи. Товарищ не ворочался. Тогда отец пошел к высмотренной конюшне, вывел оттуда безо всякой помехи трех добрых коней и отправился домой, думая, что и приятель его вернется домой с такою же добычей. Прошла после этого целая неделя: приятеля все еще не было. Отец не в шутку испугался и бросился тотчас разузнавать, что бы такое случилось с его приятелем. Отец не пил в эти дни; по сто раз в час забегал в дом его навеститься, не воротился ли он, или по крайней мере нет ли какого о нем слуха. Наконец, в один вечер приехало к отцу несколько незнакомых лиц с требованием возвратить украденных коней. Отец ахнул от изумления и досады, однако ж прикинулся, что ничего не понимает. Он подумал, что приезжие только подозревают его в краже, как это часто случалось. Но потом дело разъяснилось. Друг отца, пойманный на месте кражи в конюшне, назвал своего товарища и тем хотел купить себе свободу. Однако его продержали до тех пор, пока не удостоверились, что именно отец украл трех коней. Отец вынужден был отдать лошадей, которых все это время держал привязанными в лесу. Случай этот черной кошкой проскочил между приятелями. Из друзей они сделались вдруг злейшими [126] врагами. Ссора недолго протянулась. При одной встрече новых врагов недостойный друг отца пал. Родственники его стали, угрожать отцу, хотя при жизни покойника они всеми силами старались сбыть его как-нибудь с рук. Отцу моему волей-неволей пришлось оглядываться по сторонам и избегать встречи с новыми врагами. Дело все-таки не обошлось без маленьких стычек и вынимания винтовок из чехла. Отец говорил, что если бы враги захотели на самом деле убить его, то случаи к тому представлялись почти на каждом шагу, но они храбрились только для виду, чтобы люди не считали их трусами, не соблюдающими родовой чести. Под конец они предложили отцу через посредника оставить край, чтобы не напоминать им каждую минуту о неотомщенной крови. Отец с негодованием отверг это бесстыдное предложение и поручил посреднику сказать, что оружие должно порешить это дело. Дело мало-помалу перешло в руки людей. Прибегли к шарьяту 19. На отца пала плата за кровь. А как у него не было на это ни средств, ни охоты, то он и удалился к абадзехам. Здесь он нашел самое радушное гостеприимство. Общество, в котором он поселился, взяло на себя прокормление его семейства на первую зиму, а весною вспахало ему отдельное поле и предоставило на всегдашнее пользование лучшую часть покоса.

Первые старшины абадзехские искали дружбы моего отца; каждый осыпал его щедрыми подарками и лаской, желая привлечь к себе. На другого беглеца, пожалуй, никто бы не захотел даже посмотреть потому, что человек, не ужившийся в родном краю, как хочешь, не всякому может показаться хорошим. Но отец мой был не такой. Его нельзя было не уважать. Редко кто мог бы стать впереди его там, где требовалось умение обворожить знакомого и незнакомого. Из уст его словно ручьи меда текли. Если захочет, бывало, кому понравиться, так будет говорить с тем хоть целый год и не выронит ни одного неприличного слова, не сделает ни одного такого движения, которое могло бы оскорбить дворянский вкус. Может оттого он хорошо узнал все эти тонкости, что рано сиротой остался. А известна доля сироты. Никто не проглотит в жизни столько горьких капель, как бездомный бедняк. К каждому человеку он ласкается, как собака, у всех ищет покровительства и защиты, потому и всем хочет понравиться. Бедственно, конечно, такое житье — и врагу не следует его пожелать, — но правда и то, что тот, кто вырос в сиротстве, не походит уже на прочих людей. Он не сравнимо лучше их. Почему? — спросишь. Потому, что не знал с колыбели ни ласк, ни нежностей; ходил зимой босой, в лохмотьях, ел объедки чужой семьи; если побивал его до крови ровесник, то он сносил терпеливо, хотя мог бы и большее отплатить за обиду; он видел, как мать заботливо окутывала своего сына в жестокие морозы, своим дыханием отогревала [127] окоченевшие члены, тогда как он, бедный сирота, продрогнув до костей, с посиневшими губами, жался к чужому очагу, боясь ежеминутно, чтоб его не оттолкнули оттуда. Он

видел, как однолетки его скакали в праздники на резвых лошадках, закинув за пояс красивенькие пистолеты, между тем как он толкался в толпе, глотая обильные, ни для кого не дорогие, слезы. Зато каждая обида, каждая боль сердца, каждая накопившаяся на душе желчь, укрепляла его, как хрупкое железо закал, и подняв голову среди невзгод, он уже делается не чувствительным к душевным и телесным страданиям; его уже ничто не томит. Отец мой — дай ему бог место в раю! — испытал на себе все это. Чужой очаг научил его, как нужно обходиться с людьми. Не было такого неуживчивого человека, с которым он не поладил бы. Счастлив был князь, имевший его при себе. Отец возвышал его в глазах людей своими благоразумными советами и знанием дворянского обычая. За это его так и прозвали княжеским спутником.

Между адыгами такому человеку везде, как дома. Его никогда не посадят с конца, а всегда выдвинут вперед. Имея такого главу, семейство наше сделалось вскоре как бы урожденным в незнакомом краю. А как подросли мы, как стали выезжать вместе с другими юношами, так, поверишь ли, на нас начали смотреть точно на князей. Кунацкая наша стала любимым сборищем всех, кто с винтовкой на плече садился на коня, — не из одного нашего аула, а из целого околотка. Так правилом и сделалось, чтобы каждая партия непременно выезжала с нашего двора; иначе, думали, и удачи не будет.

Отец давно твердил нам, что нанесенная ему кабардинцами обида останется без возмездия. «Я, может, скоро умру, — говорил он потом, — но помните, что вы абреки». Не раз водил он моего брата знакомить с местностью и выучил его так хорошо, что брат знал каждую тропинку в Кабарде и вдоль Кубани: ни темная ночь, и никакие туманы не могли сбить его с дороги; хоть с завязанными глазами он мог бы провести куда угодно. А ты, верно, знаешь, что в наездах хороший вожак нужнее, чем самый храбрый наездник. Всякий знакомый с темными ночами скажет тебе то же самое. Храбрый человек только поощряет товарищей своим примером, он не выпустит лишнего против других заряда; но без вожака никакая партия, если только в ней есть хоть один человек с мозгом в голове, не пустится в дальний путь. Бывали случаи, да не так еще давно, что целые шайки отборных наездников погибали, как стадо скотов, а все оттого, что оставались без проводников в чужой земле, как рыба, выброшенная на песок. Уж такого стыда не могло случиться там, где находились мы с братом. Если бы рассказать тебе десятую часть тех опасностей, через которые невредимо проскользали мы, уаллахи, ты бы подумал, что я вру. [128]

Да, так! Я сам, очевидец, иногда сомневаюсь, не во сне ли все это было. Сам посуди, не похожи ли на проделки ходжи, например, вот эти два случая (беру самую малость, потому что всего и в месяц не перескажешь). Раз, в осеннюю пору, когда обнаженная земля не могла укрыть не только человека, но и птицу, мы с братом провели шайку мимо ворот русской крепости, под самыми носами часовых на каланче. Лошади наши, почуяв близость жилья, громко ржали. Мы сами очень ясно слышали кашель караульных и звук оружия, перебрасываемых от скуки с руки на руку. Сорок всадников проехали мимо крепости так же незаметно, как если бы пролетала над головами часовых ночная птица. Такие случаи повторялись всякий раз, как мы отправлялись на добычу, потому что тогда, как и теперь, где переправа через реки, там русские выставляли или крепость, казачий пост, или сторожевую вышку. Пешеходу даже трудно было обойти их. Другой раз брат мой оказал такую услугу, что его с того времени не иначе называли, как первым вожаком. Случай этот расскажу тебе подробнее, потому что он довольно замечателен. Едва ли от кого другого услышишь что-нибудь подобное, хотя каждый адыге, если он не просидел век свой у очага своей сакли с закопченной от дыма бородой, засунув ноги в золу, насчитывает в своей жизни тысячи чудес.

В числе пятидесяти отборных всадников перешли мы Кубань и проникли в самую глубь

казачьих земель. Время стояло рабочее. Скрываясь дня два в темном лесу, мы видели не в дальнем от нас расстоянии жнецов и косарей. Слышали веселый говор и песни гяуров и с нетерпением ждали распоряжения старших в купе (партии), чтобы броситься на готовую добычу. Назначили минуту нападения под вечер, когда рабочие собирались в свои хутора. Мы живо приготовились. Поправили седла, осмотрели оружие и, разделившись на две партии, шагом направились из леса. Партия, в которой находился я, должна была остановиться на окраине леса и ждать, пока другая, пройдя по балке, не преградит жнецам дороги в хутора. Помню, как сильно во мне билось сердце, каким огнем пылало все мое тело. Разве один охотник, наскочив на раненого оленя, испытывает такое чувство, какое испытал я в те незабвенные минуты. Я досадовал на медленность; уши мои жадно прислушивались, не раздастся ли сигнальный выстрел и знакомое «бей». Товарищи мои тоже удерживали себя силой. Между тем быстро темнело. Последняя краска дня исчезла за вершиной леса. Наконец, послышался сигнал. Мы с гиком высыпали из лесу и врубались в самую гущу жнецов. Опорожнив винтовки, ударили в шашки и через полчаса покончили дело. Казаки отчаянно оборонялись косами и вилами, а многие даже оружием, так что имей они хоть мало времени собраться с духом, нам едва ли бы удалась попытка. Впоследствии я сам видел, как трудно разорвать табор [129] из связанных повозок. Но в этот раз нападение было произведено так быстро и неожиданно, что каждый гяур остался неподвижно на том месте, где стоял. Много мужчин легло на месте, много скрылось в лес. Добыча наша была очень велика, потому мы не обратили внимания на бежавших. На каждого из нас приходилось по три ясыря (пленных), все почти из мальчиков и молодых девушек. Мы затруднялись, кого из них выбрать и кого оставить. Большая часть товарищей забрала по четыре и более пленных. Так иногда жадность помрачает умы людей! Однако, когда рассеянная партия наша собралась в кучу, люди благоразумные, бывалые, советовали бросить по крайней мере третью часть добычи. Некоторые даже громко высказали противное мнение: «не всякий день можно наткнуться на такой случай, и потому брезгать тем, что бог послал, не следует». За этими толками мы больше провозились, чем за схваткой. Ты сам знаешь, какой человек адыге. В пустяках он шагу не сделает против воли старших, претворяется таким скромным, безгласным, что, уаллахи, невольно подумаешь, не обратился ли он в того старичка в сказках, что по одному знаку своего господина останавливал птиц в облаках и из глубины семи полос земли вызывал невиданных красавиц. Но как только дело коснется его интересов в разделе добычи или в чем другом, тогда лучше зажмурь глаза, заткни покрепче уши и отвернись в сторону. На слово старшего последний молокосос, только что выпущенный из-под полы кормилицы, готов отвечать двадцатью. В тот вечер я сам не меньше других петушился. «Кто не любит добычи, может и с пустыми руками поехать. Легче еще будет!» — проговорил я несколько раз довольно громко. Брат услышал меня и так погрозил нагайкой, что я не только закусил губы, но еще и отпустил тотчас трех своих пленных, оставив у себя только одну девушку. Брат мой начал увещать и других, только не нагайкой, а умным словом.

— В этом купе, — сказал он, — я вижу много достойных дворян, которые и по уму и по храбрости выше меня, но, надеюсь, они меня извинят, если я к их уважаемому голосу осмелюсь прибавить и свой. Бог — да будет свята всегда Его воля, и да славился, пока мир стоит, имя Его — благословил наше предприятие. Мы шутя, можно сказать, завладели огромной добычей, перебили врагов истинной религии. Ни один товарищ не оцарапан. За все это каждый да вознесет в душе своей аллаха! А теперь подумаем о том, что мы находимся посреди русских станиц: путь наш не короток и усеян постами да пикетами. Казачьи отряды беспрестанно снуют по дорогам. Благородные юноши, собравшиеся здесь, избрали меня вожаком. Я горжусь этим выбором и все силы свои употребляю на то, чтобы оправдать доверие товарищей по оружию. В случае какого несчастья — от чего избави нас, боже! — [130] вся вина падет на мою шею. Поэтому я прошу или выслушать мо слово, или же снять с меня ответственность вожака. Отвечать за

участь пятидесяти наездников среди враждебной страны я не берусь; а как простой товарищ готов разделять с вами все опасности.

— Говори свое слово, Харакет! — сказали старейшие из купа. — Кто не послушает тебя, тому да будет стыдно перед этим; купом.

Молодежь притихла, видя, что дело идет не в шутку.

— Если позволено мне говорить, — продолжал брат, — так вот что я скажу. Известно каждому, что излишняя добыча обременительна как для коней, так и для всадников. Скажите, многие ли из нас не отказывали утомленному пешеходу в просьбе — посадите его позади седла? А теперь, к сожалению, куп наш не может похвастать благоразумием. Добыча ослепила его недостойным образом. Большая часть юношей, вижу, нахватала по два, по три ясыря. Что же из этого? — спросите вы может быть: — ведь чем больше добычи, тем больше и славы? Но подумал ли кто, что спина лошади не бревно, что со связанными руками нельзя пробираться по неприятельской земле? Бросьте, товарищи, лишний груз. Не забудьте, что нередко нам приходилось довольствоваться парой быков или двумя-тремя клячами. Теперь же, по милости аллаха, по ясырю всякий себе может взять. Но нужно десяти по крайней мере человекам быть свободными от всякой тяжести. Пятеро будут постоянно впереди и высматривать, нет ли где звезды; другие — пять — сзади — обманывать погоню. Послушайте моего совета. Клянусь, я проведу вас, как на ладони.

В купе долго шептались. Всем было жаль расставаться с половиной добычи. Особенно затруднялись, кого назначить в прикрытие. Никто не желал, конечно, отказаться от добычи ради славы охранения отряда. Один указывал на другого, говоря: «ты бы пошел в прикрытие, лошадь у тебя добрая». А тот, в свою очередь, тоже ссылается на соседа. Если же кто и желал внутренне участвовать в свободном отряде, не решался высказать этого, боясь, чтобы не обошли его при дележе. И здесь прежде всех заговорил мой брат. Такой уж он был странный, не мог никак смолчать. И до сих пор еще удивляюсь, как даже знатные, гордые дворяне слушались его. Должно быть, родятся такие люди на свете, которые что ни вымолви, все выходит хорошо, и перечить им нельзя. Что ж бы ты думал? В такую минуту, когда советы отца родного не могли бы ничего сделать, когда корысть затмила весь разум, все приличия в купе, слово брата подействовало на всех. Десять всадников мигом побросали добычу и двинулись в путь. Облегченный куп тоже тронулся. Брат с пятью товарищами поехал вперед; пятеро других, на лучших конях, отстали позади, не теряя, однако ж, нас [131] из виду. Небо совершенно потемнело. Черные тучи предрекали или грозу, или сильный дождь. Однако все обошлось благополучно. Мы ехали всю ночь без остановки и на рассвете были уже в пол-часе езды от Кубани. Здесь куп остановился, чтобы посоветоваться насчет дальнейшего пути. Был предложен вопрос: переехать ли Кубань, пока еще не совсем рассвело или подождать до наступления вечера в балке? Голоса разделились. Одни утверждали, что чем скорее переедем реку, тем можем быть безопаснее от неожиданных встреч, так как по ту сторону Кубани русские не так охотно ездят. Другие, напротив, полагали, что так как погоня неизбежна, то не лучше ли выждать время и узнать, куда она направится. Русские никак не могли бы подумать, что мы, захватив такую огромную добычу, решились остаться все еще внутри их страны, потому поиски их должны были устремиться за Кубань. Следов своих мы не опасались. Сухая трава, начавшая желтеть, не могла нас выдать. Притом ехали мы большей частью кошеными или потравленными лугами. Наконец сами кони, замученные долгим путем, нуждались в отдыхе. Все это заставило партию принять последний совет. Куп расположился в балке, вблизи ручья. Лошадей расседлали и, спутав прочно, загнали в одну кучку на самом травяном месте. Человека четыре присматривали за ними. Большая

часть купа, разостлав под собой бурки, легла отдыхать. Надзор за пленными поручили двум расторопнейшим молодцам. Я с двумя товарищами, как самые младшие в партии, развели живо огонь и начали варить кашу. А как котелок был очень мал, всего человек на шесть, то приготовление каши для целого купа производилось в несколько приемов. К полудню обед был готов, полбарана, оставшегося от вчерашнего дня, изжарили отлично на вертеле. Мы насилу разбудили куп. Пока раскладывали доли на листья лопуха, кто имел обыкновение молиться — помолился. Когда все расселись по местам, я с товарищами разнес кушанье по порядку, начиная с самого старшего. После долгого поста каждый с жадностью принялся за свой кусок и вмиг покончил с ним. Пленным тоже поднесли по куску: но никто из них не посмотрел даже на нас: не до еды, верно, им было. Накормив партию, мы взяли порции караульных за лошадьми и отправились было к ним, как вдруг один из них прибежал чуть дыша. Увидев его, все повскакали с мест и схватились за оружие и седла, не разузнав еще что такое случилось. Караульный, трус что ли он был, или запыхался очень, только ни слова не мог проговорить, а все показывал рукой в ту сторону, где находились лошади. Тут, конечно, всякий догадался, в чем дело, и человек десять быстро побежали к лошадям. Куп засуетился. Кто всыпал порох на полку винтовки, кто поправлял кремнь, кто закручивал бурку, чтобы привязать ее к луке, — никто не стоял праздно. Послышался топот наших коней, и не больше [132] как минут через пять весь куп был на конях. Но тут-то и обнажилась затруднительность нашего положения. Пуститься прямо из балки гуртом на ровное место было бы безумно, потому что с тяжелой добычей партия не сделала бы и версты от легкого отряда казаков. Потянуться вниз по балке к Кубани, значило добровольно отдаться в руки неприятеля, потому что балка оканчивалась пикетом, в котором по меньшей мере находилось полсотни человек. Счет, положим, не великий сам по себе, но очень достаточный, чтобы навести раздумье, когда имеешь позади себя вдвое сильнее врага. Пришлось выбрать одно из двух — бросить всю добычу и искать спасение в быстроте коней или дулом винтовок проложить себе путь. Иного выхода не представлялось. Не будь у нас пленных, встреча с сильным отрядом никого бы, конечно, не испугала. Мы не удовольствовались бы тем, чтобы без вреда уйти от него, а затеяли бы с ним непременно драку. Но теперь было не то. Проклятая добыча заставила всех призадуматься. Что если кто проболтается по возвращении домой о бесстыдном бегстве? — так рассчитывал каждый про себя: — какими глазами будем смотреть на людей? В этих мыслях безмолствовал куп. Между тем всадник, посланный выглянуть из балки, донес, что отряд быстро приближается двумя партиями. Медлить было нельзя. В балке не было ни куста. Неприятель тотчас же мог нас заметить. Один выстрел, — и из пикета казаки, перерезали бы нам дорогу. Что ты ни говори, брат, а кто не видел таких опасностей, тот не вправе еще называться мужчиной. Мне кажется, при одном воспоминании об этом, я вырастаю на целую четверть. Смерть, это пугалище людей, которую мы ждем со страхом, не так ужасна, как станешь лицом к лицу с ней: встречаешь ее с твердым намерением подаваться от нее ни на шаг. Как будто вот, вот вижу и теперь перед собой мужественные лица нашего купа; на каждом из них так и говорилось: «умру, но не брошу добычи». Верно, куп остался бы в этом положении до прихода неприятеля, если бы вдруг не заговорил беспокойный мой брат. Голова безбожника, подумаешь, за всех работала.

— Настоящая минута, — сказал он, выступив среди круга, — одна из тех, в которой узнается черкес. Когда дело дойдет до винтовок, ни один человек из этого купа не обратится вспять. В этом я убежден так же твердо, как и в том, что теперь над нами светит солнце, а с неба взирает миродержавный аллах, готовый помочь любимым своим сынам. Конечно, умирая от меча гяуров, мы сделаем приятное аллаху. Но аллах не сказал, чтобы рабы его с завязанными глазами бросались навстречу смерти; он требует от них только, чтоб они не бежали от смерти малодушно, когда он пошлет ее к нам. Враг идет теперь на нас. Избежим его, если можно; если же нельзя, то падет каждый из нас праведным [133]

мучеником за веру. Давеча я дал слово провести вас как на ладони и, при помощи бога, исполню свое обещание. Только держите мой совет. Совет же мой таков: всадники с пленными пусть отправятся вверх по этой балке. Брат мой знает дорогу. Он выведет их из оврага в лес, который может укрыть хоть десять тысяч всадников. А я с легким отрядом, разыграем с неприятелем шутку лисицы с волком.

Едва проговорил он это, как весь куп зашевелился молча. Я первый пришпорил лошадь, за мной и другие, и сорок всадников вытянулись по узкой тропе. Брат с товарищами быстро двинулись вниз и, отъехав на выстрел от нас, высыпали вдруг, будто нечаянно, из оврага, а потом прикинулись испуганными, и крупной рысью понеслись по окраине балки, прямо к пикету. Оба казачьи отряда, соединившись вместе, ударили за ними, думая, вероятно, что и мы с пленными тянемся по ложине, в ту же сторону. Наши молодцы не торопились: неприятель был не очень близко, да к тому же необходимо было беречь коней для дальнейшей хитрости. А казаки просто потрясали землю: их крики, свист нагаек и топот коней доносились даже до наших ушей. Надежда разорвать на куски малочисленных врагов придавала им бешеное нетерпение и отнимала всякую возможность обдумать хорошенько, что такое эти десять человек, которые осмелились открыто явиться перед ними и, казалось, добровольно рвались на погибель. Эта необдуманная торопливость гяуров, можно сказать, спасла наших товарищей от неминуемой гибели. Проскакав версты две дружно, неприятельский отряд начал растягиваться в длинную цепь. Чересчур сытые, невыезжанные их кони не скакали, а тащились; иные бесцеремонно растянулись на земле и никакие увещания нагаек не могли поднять их на ноги. Только человек двадцать на хорошо подготовленных лошадях выделились из отряда и быстро нагоняли наших. Они уже могли послать за ними пули; но этого не сделали. Летучий наш отряд доскакал до пикета, мигом перескочил его и поворотил в чистое поле. В эту самую минуту седлали коней на посту. Неприятель поздно догадался об обмане и с новой яростью пустился вслед за нами.

Между тем мы благополучно прошли балку и вступили в обширный лес. Опасность миновала. Их дерзкая отвага могла кончиться очень плохо. Помочь им мы не могли. Оставалось только просить в душе помощи аллаха, да с трепетом прислушиваться к каждому порыву ветра с той стороны, где остались они. Путь наш шел все лесом, где и тропинки не попадалось. Всадники отставали друг от друга, да так далеко, что нередко приходилось криком и свистом поддерживать связь. Как передовой, я больше всех натерпелся в этот день. Разумеется, по такой дороге не далеко уедешь. До темной ночи мы с трудом проехали всего, может, [134] десять верст, зато это короткое пространство обошлось нам гораздо дороже, чем все бывшие на моей памяти странствия. Мы высунули языки, как собаки; большая половина лошадей или захромала, или изранилась... Днем еще кое-как ползли, по крайней мере, видели что-нибудь вокруг себя, и выбирали удобнейшие места. Но с наступлением ночи тысячи невзгод разом обрушились на нас. Вся наша забота устремилась к тому, чтобы не отбиться совсем друг от друга и не заблудиться. Никогда не позабуду этой проклятой ночи. Лес, темный и среди белого дня, так страшно нахмурился, что лошадь едет-едет, да вдруг стукнет лбом в дерево и, ошеломленная, замечется во все стороны, или, дрожа, присядет. Крики и гам наполнили лес. Один с размаху влетел в ров и просил оттуда о помощи; другой, сорванный с седла упругой веткой, кричал: «держите лошадь!» Не видишь, кто кричит, пойдешь отыскивать его ощупью, либо сам попадешь в ту же беду, либо убьешь целый час. Спасибо еще, что пленники все время держали себя смирно. Будь они немножко посмелее, да поумнее, уаллахи, все до единого разбежались бы. Мы не только их, но и себя не могли беречь. Иногда такая досада брала меня, что я подносил кинжал к своему горлу. Не знаешь, куда идти, направо ли, налево ли; не видишь ничего под самым носом. Сук лезет прямо в глаза и только тогда догадаешься об опасности, как посыплются искры из глаз. Въедешь под низкое дерево и чуть голова

ущелее на плечах. Шапок никто не смел надевать: их каждую минуту нужно было отыскивать в темноте, потому все привязали их к седельным лукам. Оружия тоже не мало пострадали. Множество пистолетов повисло на ветках, половина винтовок переломалась пополам или осталась без замка и ложа; с лошадей срывались уздечки, и всадники ехали, куда лошадь хотела. Один товарищ чуть-чуть не лишился жизни самым позорным образом. Ехал, ехал, да повиснул на раздвоенном суку. Не успей он взвизгнуть, так живо бы затянуло горло. К счастью, его другой товарищ случился тут и выручил вовремя. Да перечислять все беды этой ночи и слов не достанет. Довольно сказать, что из всего купа не осталось человека без порядочного шрама. Наутро не было конца шуткам и смеху. Но тогда не до шуток было, многие готовы были с досады заплакать по-бабьему. Наконец, не видя никакой возможности продолжать путь, измученный куп с большим трудом собрался на одной поляне. Некоторые хотели было остановиться здесь, но большая половина не согласилась на это. Как бы то ни было, до рассвета нужно было соединиться с летучим отрядом, если только он благополучно избежал опасности. Но как двинуться дальше на избитых, израненных конях, которые едва дышали? Прибегли к единственному средству. Каждый привязал как можно туже ноги своего пленного к стремянам так, чтобы нельзя было соскочить с седла, [135] а сам, ведя коня своего под уздцы, должен был держаться одной рукой за хвост передней лошади: это — чтобы не разлучиться. Составилось подобие игры мальчишек, в которой все с зажмуренными глазами держатся за полы черкесок и ходят по лугу с журавлиным криком. Но мы кричали не по-журавлиному, а скорее по-собачьему. И тут вся беда опрокинулась на мою несчастную голову. Тогда как все прочие шли в цепи, не заботясь о дороге, я один расплачивался за всех, по милости моего брата, тычками и сотнями всевозможных неприятностей. Я двигался наобум и, разумеется, очень часто натывался на непроходимые места. Тогда я брал другое направление, совершенно случайно, без всяких соображений, а цепь послушно вилась по моим следам. Приходилось полчаса и более вертеться на одном месте. Как ни почетно было мое положение и как оно не прельщало меня своей новизной, но все-таки я несколько раз собирался отказаться от него. В эти минуты место в цепи представлялось мне чистым раем. Но меня ободрял пример моего брата, который умом и расторопностью, незаметно для гордых товарищей, постепенно приобретал над ними первенство.

Я вспомнил его поговорку: «кто хочет быть мужчиной, тот не должен ни перед чем отступать, никогда не терять присутствия духа». Идя ощупью в страшной мгле, останавливаемый поминутно ударами сучьев, я твердил эту поговорку вместо молитвы. Она придавала мне бодрость и силу. Я шел смелее и мало-помалу, увлекаемый своими геройскими усилиями, посреди мрачно нависшего, непроходимого леса, затягивал песню. Эта неожиданная веселость действовала и на весь куп. Начинали разговаривать и шутить над перенесенными трудностями. «Живя еще на земле, мы попали в ад», — сказал кто-то в цепи; и на это замечание все отвечали дружным хохотом. При таком настроении купа и сама затруднительность нашего положения делалась как-то незаметна. Тем временем приближалась полночь. Несколько звезд моргнуло на темном небе; но напрасно мы старались узнать между ними нашего всегдашнего путеводителя Темир-Козыка (Буквально значит «Железный кол». Под этим именем известно между горцами созвездие Большой Медведицы, которая заменяет для опытных наездников компас. (Здесь и далее примечания автора.)). На этот раз он коварно изменил нам.

Среди ободрительных мыслей, которыми я вооружался, ежеминутно приходит мне в голову вопрос: куда мы идем, и где мы найдем своих товарищей? Я не знал даже, в какую именно сторону направлены наши лица — к стороне ли Кубани или в противную. Ждать же рассвета для разрешения моего сомнения было неловко. Мы, пожалуй, могли подобно слепцам набрести к утру [136] на берег Кубани, обставленный станицами. Я знал одно, что соединения с летучим отрядом нужно было ехать все лесом, имея по правую руку течение

Кубани. Эти соображения приводили меня снова в отчаяние. Прибегнуть же к товарищам за советом я считал для себя унижением.

После долгого утомительного пути мы выбрались на обширную поляну, где нас вдруг поразил приятный свет. Мы обрадовались ему, как редкой находке. Наши глаза, доселе встречавшие одну сплошную мглу, отдыхали. Грудь дышала свободнее. Легкий ветерок, вырвавшийся бог весть откуда, отрадно пахнул нам в лицо. Куп расположился перевести дух от усталости, держа за поводья своих коней.

— Мы вышли из ада и вступили в рай, — сказал прежний голос. — Сто тысяч лет долой с плеч!

— Эй, еще не торопись, — отвечал ему другой, — мы только что миновали одну полосу из семи полос ада; шесть еще впереди, а это преддверье рая, данное для того, чтобы мы еще более почувствовали новые трудности. Велики грехи наши! А ты как думаешь, красавица моя? Э, да чего ты пригорюнилась, словно мокрая кошка? Или спать хочется? Жаль, что мы не на ночлеге, а то бы мы с тобой славно погрелись.

— С кем ты болтаешь? — спросил кто-то.

— С кем? Известно, с моей пленницей: с кем же больше говорить мне таким медовым языком.

— Спроси-ка прежде у нее, понимает ли она что-нибудь из твоих слов.

— Мало, брат, мне нужды до этого! Поймет, когда будет нужно. А теперь я сам себя не очень хорошо понимаю.

— Что так?

— В пятках моих столько иголок, что я сомневаюсь, осталось ли их сколько-нибудь в лесу; а на лице такие рубцы, что если захочу, уверю всех наших девушек, что участвовал в жаркой битве — и никто не подумает, что мы всю свою храбрость положили в войне с ветками.

В это время мне слышалось что-то вроде свистка. Я наострил уши — все тихо кругом. Товарищи все еще продолжали шутить, значит, ничего не слышали. Обман, подумал я, и ничего не сказал товарищам. Спустя немного свист раздался снова, несколько яснее первого.

— Нам, кажется, подают знак, — сказал я.

— Что, что, какой знак? — спросили разом несколько человек.

— А вот прислушайтесь внимательнее.

Наступила совершенная тишина. Свист повторился в третий раз и уже очень явственно.
[137]

— Так и есть: это наши молодцы! — с радостью вскричали мы в один голос. С нашей стороны прозвучал ответный свисток; задним тотчас слышался и четвертый.

— Ну, теперь в дорогу! — сказал я, взяв лошадь свою за повод — Отряд наш впереди. Свистун, продолжай свое дело. Ну-те, с богом!

Ободренный куп шагом поднялся с минутного привала и опять вступил в мрак леса. Неумолкаемый свист служил мне верным вожаком: я шел прямо по тому направлению, откуда он доносился. Приближалось к рассвету. Небо очищалось, а вместе лес прояснялся понемногу. Уже птицы шевелились в листьях, готовые с первым лучом порхнуть из мрачных своих жилищ. Наши молодцы встретили нас на небольшой поляне. Одни из них лежали на бурках, устремив глаза к мерцавшим звездам; другие чинили повреждения в сбруе; а взмыленные их кони стояли, понунив головы, сцепленные друг с другом уздечками. Брат мой сидел на высоком дереве, и оттуда подавал нам сигнал.

— Добро пожаловать! — закричал он, спускаясь с своего поста, как только мы вступили на поляну.

— Будь угоден аллаху — отвечали ему с нашей стороны.

— Гостинец каков?

— Выбирай любое.

— Ну, слава богу, выбрались из чертова притона, — говорили наши джигиты. — Отдохните немножко, да в путь, прямо на сторону Карачая.

— Это как? — с изумлением спросили мы.

— Да так же. Иного выхода нет. Все броды заняты.

На другой день два раза натыкались мы на отдельные отряды, но они ничего не могли нам сделать, даже не дали знать о нас на линию; иначе нам бы не уйти. Еще четверо суток тащились мы все вверх по течению Кубани. На пятый день, вечером, расположились недалеко от Каменного моста, что при слиянии Теберды с Кубанью. Тут стоит памятник И. К., из которого гяуры выстроили сторожевую башню. Десятка два солдат постоянно живут в башне, охраняя мост. Брат мой, посланный высмотреть переправу ниже моста, донес, что река в разливе, и что на наших измученных конях, да еще с пленными за спиной невозможно и думать о переправе. Что тут делать? Рассуждали долго, наконец, все, по совету брата, решили переехать по мосту. Но как переехать мост, охраняемый каменной башней, против которой винтовки наши были бессильны? А окна башни глядели на нас, грозно нахмурившись. Они, казалось, так и говорили: попробуйте лишь сделать шаг, и посмотрите, что с вами будет. Наш брат смерти не боится, если только она предстанет открыто перед лицом, так, чтобы была возможность и самому что-нибудь сделать, а не смотреть связанным бараном. [138] Придумали хитрость. Брат тихонько подполз к самой башне и, лежа на брюхе, высмотрел все. Часть солдат спала в своих конурках среди башни, другие сидели у ворот башни и, осиливаемые дремотой, то кланялись вниз, то очнувшись, осматривались кругом, и снова закрывали глаза. Когда брат рассказал виденное им, многие из купа соблазнились беспечностью часовых и требовали тотчас же напасть на башню и перерезать всех солдат. Но их предложения не приняли: во-первых, потому, что при этом покушении мы сами могли бы пострадать без всякой пользы, — ибо что у бедного солдата может быть, кроме черствого сухаря, который тверже всякого камня? А раненый или убитый товарищ мог еще более затруднить наш и без того тяжелый куп; во-вторых, если б даже и удалось нам без всякой потери перебить солдат, то этим мы только раздражили бы врагов и усилили бы погоню.

— Тут ничем не поможешь делу, как только хитростью, — сказал мой брат, — если прямо броситься к мосту, то полудремлиющие солдаты проснутся тотчас же и товарищей своих подымут, заберутся в башню и начнут стрелять в нас из отверстий. Этак дело плохо пойдет. А я посмотрю — не удастся ли как-нибудь иначе. Хитрость уже раз выручила нас, — не поможет ли она и теперь. Видите ли, что мне пришло в голову? Я поднимусь на эту горку, что вон позади башни, и пушу вниз камень. Солдаты подумают, что это медведь или кабан, и пойдут в мою сторону. А вы будьте готовы, и как только я прибегу назад, скачите к мосту, только не кучкой, а один за другим, потому что мост не совсем широкий. Эдак, даст бог, дело уладится хорошо.

Кончив речь, брат сейчас же скрылся в темноте. Спустя немного с горы полетел огромный камень и с шумом бухнул с высокого берега в реку. Слышен был даже плеск воды. Затем послышались голоса. В это время один из пленников наших, чувствуя, должно быть, близость своих земляков (хотя глаза всех были крепко завязаны), вскрикнул что-то по-своему, но сильный удар по голове рукоятью шашки замкнул ему уста. Должно быть, однако, крик был услышан часовыми, хотя не совсем за шумом реки. Несколько человек наудачу двинулись к нам. Мы стояли в яме и не иначе могли быть замечены, как если б они приблизились шагов на десять. Уже было наведено несколько винтовок, готовых вырвать нечестивые души из грязного тела, как вдруг с горы покатила целая глыба камней, земли и гнилых пней. Солдаты остановились. Они, казалось, рассчитывали, что бы такое могло это значить. В эту минуту послышалось по горе глухое мычание, что-то похожее на рев кабана. Вмиг солдаты засуетились, молча и тихо стали подкрадываться к площадке, которой оканчивалась гора. Не успели мы оглянуться назад, как тут же очутился наш мнимый кабан. Куп с шумом выскочил из ямы и устремился быстро к [139] мосту, но едва поравнялся он с башней, как раздался выстрел оставшегося у ворот часового. Обманутые солдаты сбежали с горы, производя своими неуклюжими сапогами шум, заглушавший топот лошадиных копыт. Страшный, горловой крик, так хорошо знакомый нам с давних пор, разрывал воздух пополам. Однако, пальбы не было. Мы преспокойно перешли мост и пристегнули коней. И только тогда дали вслед за нами залп, но ни одна пуля не прожужжала мимо наших ушей. Точно ветер относил их обратно к хозяевам. Долго еще слышались за нами неистовые крики и бряцание оружия, но мало-помалу все стихло в ночной темноте. Один лишь гул Кубани провожал нас далеко и, казалось, лаял на нас за вражду нашу к новым ее господам.

Вот какие дела делали мы в былое время! Теперь ничего похожего не бывает. С каждым днем жалко мельчает народ адыгский; тошно подчас становится, как оглянешься вокруг себя, да помотришь, какими глупостями заняты черкесы. О! если б эта земля, на которой мы с тобой стоим теперь, если бы этот прах получил вдруг язык, он бы заговорил: «Вы, нынешние адыги, жалкие муравьи, вы недостойны топтать своими нечестивыми ногами грудь мою. Оставьте меня! Удалитесь в другое место! Я честно служила вашим отцам и дала в себе приют их гниющим костям. Вы не вправе лечь подле них. Я вас не приму. Не ваша теперь я: вы меня продали своими же руками. Так ищите же себе новой отчизны!» Так и сказала бы она, если бы могла говорить. Где те отважные, неустрашимые наездники, под ногами которых тряслась и стонала земля, которые на всю жизнь венчались с мраком ночи, променяв теплую постель и красивых жен на сырое ложе под открытым небом, спокойную жизнь на вечные хлопоты. Да, нет теперь таких наездников и не будет их уж никогда! Если в ком и осталась душа смелая, кусающаяся, и тот должен погибнуть в постыдном бездействии, в золе домашнего очага, не совершив ни одного порядочного дела, в пример своим детям и внукам. Да и не так еще пропадают свежие силы земли адыгской... Посмотри вокруг себя — увидишь ли хоть одного юношу, который бы не пил или не желал выпить водки и не тыкал в зубы трубки. А страсть к нарядам? Разве одно это

не показывает уже, что черкесов нет более, что остались лишь тени их, жалкие, пугливые тени, которых во сто раз лучше мертвый остов предков. Прежде и первый всадник на всей адыгской земле не носил на плечах своих таких пышностей, что видим ныне на подлом рабе. Где, наконец, увидим мы наших славных гегуако, где услышим их сильное, жгущее душу слово? Нет более гегуако! Род их вымер. Не для них нынешнее время. Не рыцарские подвиги прославляют теперь наши песни, — они поют, так окатилась девка в ауле или как такой-то муж не выполняет своего долга, и как за то бьет его жена. Помет! — и [140] больше ничего... Однако я совсем устал, рассказывая тебе бог знает что. Уаллахи, и говорить не стоит. Но так уж созданы мы, что любим более всего свое прошлое: в нем только и отдыхаем душой. Не думай, однако, что я каждому встречному рассказываю свои похождения. Нет! Не поверю чужим ушам тайн души. Но ты... другое дело. В тебе с первого раза я нашел что-то такое, чего нет в других наших юношах. Родись ты немного пораньше, из тебя мог бы выйти порядочный наездник. Знаю, что многие из наших смотрят на тебя косо, также хорошо понимаю твое положение, и сердечно тебя уважаю. Тот не мужчина, кто не умеет крепко держаться за то, что раз взял в руки. Мой совет: уживайся с русскими, но не ради каких-либо наград, а ради своих же братьев, которые очень, очень нуждаются в помощи и хороших советах. Ведь чего путного было ждать от тебя, если бы ты остался навеки между нашими юношами. Пропал бы даром: ни я, и никто другой не ставил бы тебя и в грош. Ну, прощай на короткое время. Я скоро заверну опять к тебе. А теперь спешу в соседний аул. Там один человек обещал мне за маленькие услуги подарить на зиму шубу. Не смейся. Теперь ничего не получишь без услуг — век, можно сказать, базарный. А не то было прежде. Бездомный человек, каков я, всю жизнь проводил в первой встречной сакле, ел и пил наравне с семейством — и с него ничего не требовали. Прощай! Рассказ, пожалуй, буду продолжать, если он тебя занимает.

Вот и шуба на зиму, но я не получил ее, а почти вырвал силой. Ох, времена! Обещал человек чуть не клятвенно, а как дело дошло, до исполнения, вдруг переменялся и пошел сыпать отговорки: «завтра, послезавтра». Только тогда и выпустил из рук шубу, когда я, рассердившись не на шутку, выехал со двора, с тем чтобы никогда не возвращаться... Но черт с ними, с этими новообращенными, скрягами! На чем я остановился прошлый раз? Я говорил об одном из приключений за Кубанью. Подобных приключений было немало в моей жизни. Но я уже упомянул тебе, что рассказывать их долго. Из рассказанного случая можешь судить, сколько раз находились мы между двух огней. Ни для кого, однако, эти путешествия не приносили столько пользы, как для нашего дома. Не говоря о хозяйственной части, которая быстро росла, вес и значение наши в обществе увеличивались с каждым днем. На нас смотрели теперь не как на пришельцев, искавших защиты и покровительства, но как на самых значительных членов аула. В ряду молодежи, благодаря высокому уму брата моего, мы заняли самое видное место, между тем как в народных совещаниях почетное место подле аульных владельцев отводилось всегда отцу. Его голос могущественно раздавался во всех спорных делах. Содействие его дорого ценилось тяжущимися сторонами. Конечно, [141] не все благосклонно смотрели на возрастающее влияние абреков. Завистников и недоброжелателей было немало; даже открытых противников насчитывалось десятками. Если бы вес наш в обществе держался только на минувшем успехе, то нас, кличи, скоро забросили бы в угол, как это всегда случается с выскочками; но дело наше, по милости бога, было прочно. Каждый набег в чужие земли, каждое рассуждение в народном суде укрепляли корни нашего влияния. Беспрестанные столкновения с людьми разных мест и общие дела дали нам обширный круг знакомства, так что я нисколько не солгу, если скажу тебе, что в целом обществе, не исключая и богатейших старшин, не было дома обильнее нашего хлебом-солью и гостями. Не стану много толковать о высоком уважении, которым пользовались мы среди чужого нам по происхождению народа абадзехского; достаточно сказать, что старшина Ханца-Харун, в ауле которого мы жили, охотно отдал дочь свою за моего брата. А род наш —

скрывать нечего — еще не из чисто-дворянских. Дед мой был ни больше, ни меньше, как мясоваром князей К...

Но счастье — вещь странная. И приходит оно незаметно, как и отходит также. Отец мой часто сравнивал счастье с отлично убранном конем среди гладкого поля. Увидев его, путник останавливается, подкрадывается к нему тихонько на цыпочках. Вот он близко к нему, стоит лишь руку протянуть — и конь его. Не тут-то было. Конь порхнул, взвился на дыбы и брыкнул так, что ком грязи, вылетевший из-под его копыт, высек искры из глаз, словно из огнива. Обманутый путник, чуть не плача с досады, что выпустил из рук славную добычу, поехал уныло по своей дороге; а конь сам собой пошел в конюшню человека, которому он и во сне никогда не грезился.

Счастье подшутило и над нашим семейством. Вдруг явилась холера. Сотни людей перешли в лучший мир. В число их попал и отец наш. Последние слова, слышанные нами от него, были таковы: «Живите ладно с людьми; пусть пример мой будет вам в этом полезным уроком». Смерть отца не произвела сначала никаких перемен в нашем доме. Брат заступил его место и действовал во всем с таким умением, что казалось, дела наши пойдут еще лучше. Может, это нам так показалось оттого, что люди, нас окружавшие, были пока заняты каждый своими утратами. Язва выгнала из их головы все заботы. Но как только она прекратилась, мы догадались, к чему клонились предсмертные слова отца. Нам стало ясно, что вся крепость наша заключалась в отце. С потерей его мы будто крыльев лишились, и ничем уже не отличались от большей части молодежи. Голос наш мог быть выслушан разве только в купе, да и то не всегда, а в особенных случаях, как, например, те, о которых я говорил. Враги поняли наше положение [142] лучше нас самих, и стали действовать настойчиво и дерзко. Нашлись между нами такие молодцы, которые взялись упрекать Ханца-Харуна в том, что он своими руками вымазал себе лицо грязью. «Возьми дочь свою назад», — советовали они ему. Конечно, исполнить это было не так легко, как сказать; но тем не менее уж одна молва об этих происках подрывала нашу силу в глазах народа. Мы были еще так малоопытны в такого рода делах, что не могли без гнева сносить нападки врагов, и тем еще более усиливали их. Злейшим из врагов наших был один Баракай, из рода короткий меч. До нас он считался первым вожаком и одним из расторопнейших наездников в купе. Но на беду он был молодец лишь там, где не было ему соперников, по пословице: на безлюдье и кабан взбирается на холм. Он молчал, когда брат мой занял его место, и ни одним словом не высказал перед ним своего недовольства. Зато за глазами он давал полную волю своему бабьему языку и поносил нас всеми средствами, какие только могла изобрести его куриная голова. Злоба таких людей неистощима. Работая в потемках, как кроты, они ничего не упускают из виду, всем пользуются с умением и успехом. Баракай неумоимо ратовал против нас и сеял невидимо раздоры между нами и прочей молодежью. Разумеется, не всякое его слово принималось; одни слушали его от безделья и скуки; другие затем, чтобы посмеяться над ним же; третьи, более простодушные, верили ему во всем, и в свою очередь кричали, «что семейство Тадж зазнается слишком, что это ни на что не похоже, что нужно сбить с него рога». Я искал не раз удобного случая сцепиться как-нибудь с бабою-Баракаем, но брат удерживал меня от этого, говоря, что не нужно начинать первым, чтобы не быть виноватыми перед обществом. «Ты подожди, — говорил он, — Баракай пока лает по-собачьи, но скоро заговорит по-человечьи, и тогда...» Но судьбе было неужгодно, чтобы мы дождались окончания собачьего лая. Разрушение семейству нашему подуло, только не со стороны Баракай, а с такой, откуда ни мы, ни враги наши не ожидали. Раз вечером, когда я с братом, сидя одни в кунацкой, рассуждали о необходимости нового набега, к нам вбежал незнакомый молодой человек и, с трудом переводя дух, вскричал: «ищу покровительства аллаха и благородного дома Тадж». Мы вскочили быстро с мест. Брат спросил его, в чем он ищет покровительства нашего. Молодой человек, ничего не говоря, указал рукой на

двор. Мы вышли — и что ж увидели? Прислонившись лицом к плетню, стояла молодая девушка. Тут же около нее был привязан взмыленный конь. Ворота ограды, отворенные обыкновенно до поздней ночи, были заперты. Мы поняли, в чем дело.

— Распорядись, Мата, — сказал брат и вернулся к гостю, в кунацкую. [143]

Я отпер ворота и, подойдя к девушке, сказал ей: «пойдем, красавица, в дом». Девушка не трогалась с места, отвернулась от меня и начала плакать в рукава своей рубахи. Я хотел было взять ее под руки, но, вспомнив, что это может не понравиться молодому гостю, крикнул из дома служанку.

— Ради самого аллаха, отпустите меня домой, — проговорила девушка вдруг, всхлипывая.

— А что? Ты уже и каешься? — спросил я, смеясь.

— В чем мне каяться, когда я не была никогда согласна... Меня украли без моего ведома. Сжальтесь надо мной, если вы чтите бога. Не губите несчастной...

Тут подросла служанка и, взяв ее под руку, повела к дому. Я пошел вслед за ними. Служанка ввела ее в саклю жены брата. Я дал служанке наставления, как обходиться с гостьей, и приказал строго не оставлять ее наедине. Я уже выходил со двора хозяйской, как служанка догнала меня и; сказала, что гостья умоляет меня выслушать от нее несколько слов. Я очень удивился такому желанию, но должен был поневоле исполнить просьбу женщины. Став позади сакли жены брата, я приказал служанке вывести туда гостью, так как, по обычаю, мне нельзя было войти к жене брата. Гостья не замедлила явиться, и уж на этот раз заговорила очень смело. Видно, отчаяние придавало ей силу.

— Я уже говорила тебе, — начала она, — что похитили меня без моего ведома и согласия. Я никогда не желала и не желаю принадлежать тому, кто привез меня сюда. Он прибегнул к вашему покровительству только затем, чтобы сделать свой незаконный поступок законным. Не отвергайте же и униженной просьбы незащитной девушки. Не допускайте в вашем доме позорного насилия над моей невинностью. Пусть нас судит правоверное общество. Если и коран и люди отступятся от своей правды и откажут в защите бедной девушки, тогда... Что же делать? Я постараюсь перенести свое несчастье. А до того времени, если что случится со мной, вы отвечаете перед богом и людьми. Я же считаю себя безопасной под вашим кровом. Вот все, что я хотела сказать...

Услышав такие слова, я поспешил сообщить их брату наедине. «Дело скверное, — проговорил брат, выслушав меня, — подождем до завтра». После этого разговора он вызвал из кунацкой молодого гостя, чтобы переговорить с ним. Но в это время послышалось несколько голосов за оградой. Я вышел из ворот и увидел огромную толпу, шедшую прямо к нашей кунацкой. В толпе находились Ханца-Харун и лучшие тхамалы аула. Тут был почти и весь аул. Все держали в руках большие дубины, будто шли на охоту за собаками. Я донес об этом брату: все мы трое вошли в кунацкую и сели, как бы ничего не подозревая. Скоро [144] у ворот раздался говор толпы, вслед затем вошли к нам два старика.

— Аул весь стоит у ворот дома Тадж, — сказал один из них после селяма.

— Милости просим в кунацкую, — отвечал брат. — Хотя у нас не хватит сил угостить целый аул, однако рады посещению.

— Благодарим за гостеприимство, — сказал тот же старик. — Если дело дойдет до угощения, мы не сомневаемся в вас. Но теперь не до него. И ты, Харакет, и ты, Мата, слушайте внимательно посланцев общества. Хотя вы не родились между нами, однако сделались нам братьями. Двадцать лет живем мы вместе, и до сих пор никто, сколько нам известно, не имел причины быть недовольным вами. Надеемся, и в ваших сердцах нет против нас ничего дурного. А потому общество просит вас возвратить похищенную незаконно девушку родственникам ее. От этого не будет обиды вашему очагу... Так ли передал я поручение общества? — обратился он к своему товарищу. — Если что забыл, напомни.

— Совершенно так, — отозвался тот.

Брат долго думал, опустив глаза в землю. Я ждал его слова. Гость наш, забившись в угол, трясся как в лихорадке. Посланцы, изложив свое дело, постукивали палками о пол, давая тем знать, что обществу должно дать скорее ответ.

— Мы, — проговорил брат не поднимая головы, — будем подлы, если не сумеем ценить всех благодеяний, оказанных нам обществом. Мы поступим равно очень глупо, если осмелимся не выслушать требования лучших людей аула, мизинцы которых умнее наших голов. Но выдать человека, пришедшего в дом наш искать защиты, при всем нашем уважении к обществу, мы не в силах. Однако, чтобы не быть виновными перед обществом, поручаем дело его справедливому суду, и поверьте, мы снесем все, что ему заблагорассудится на нас наложить.

— Нет, душа моя, Харакет, не обижайся, если старцы скажут тебе откровенно, что ты ошибаешься, как ребенок. Тхамеды так уважают ваш кров, что никогда не захотят наносить ему позор. Ты не так судишь. Не нужно суда там, где неправда очевидна. Зачем же попусту горланить? Ваш гость, пусть не во гнев ему будет сказано, сделал большую ошибку. Но его пока никто не винит, ибо какой юноша не делает ошибок? Но ведь общество состоит не из одних юношей. Из уважения к вашему дому оно, пожалуй, сделает одно снисхождение. Пусть Мата с одним товарищем спросит девушку: согласна ли она пошла за этого молодца? Если так, спора не может быть; если же нет, вы не в праве защищать этого дела, не вооружая против себя целого аула.

При этих словах гость наш затрясся пуще прежнего, точно вонзили ему в грудь острый кинжал. [145]

— Никто на свете не вправе вырвать у меня жену, — вскричал он дрожащим голосом, забыв всякое приличие перед почтенными старцами, и бледный, как мертвец, подскочил к ним. — Пока я жив, не позволю и родному брату расспрашивать ее.

— Эй, не петушись, молодец! — возразил старик. — Ты не уничтожишь целого аула. Не городи чепухи. Лучше вложи дело в руки вот этих мужей, что стоят перед тобой. Если они вывезут — счастье твое. Своей куриной силой ты сделаешь немного.

— Через мой труп разве дойдете к жене моей! — закричал юноша, но брат удержал его.

— Если ты наш гость, — сказал он ему, — поручи дело нам. Беды наши теперь общие. Успокойся же пока.

Старики вышли к толпе и, спустя немного, вернулись, требуя, чтобы я с одним товарищем

из толпы расспросил девушку. Я взглянул на брата. Он кивнул в знак согласия и вышел, зная заранее ответ девушки. Действительно, она повторила прежние слова еще с большей силой и настойчивостью, и прибавила, что выдали ее не родственники, а какой-то приятель нашего гостя, который бывал у них в доме. Когда товарищ мой передал ответ посланцам, они оба в один голос вскричали:

— Вот видите ли, общество даром и шагу не сделает. Дело самое вопиющее — что вы скажете на это?

— Суда требуем, — отвечал брат. — Без него мы никак не можем успокоиться.

— Да ведь суд положит решение по желанию девушки, — возразили старики.

— Суда! Суда! Какое бы ни было его решение! — твердил брат.

— Хорошо. Мы скажем об этом тхамадам. Пусть будет по их желанию...

Старики вышли.

— Ведь они правы, — сказал Харакет, обращаясь к гостю. — Суд не может не уважить голоса девушки. Разве имеешь еще какую надежду?

— Надежда моя на вас да на бога, — отвечал юноша. — Если бывал когда-нибудь случай, чтоб у мужа силою отняли жену, то что делать, проглочу оскорбление. Если же это первый пример на земле адыгской — и то воля аллаха.

— Какой суд! Суда нет на пустяки! — раздалось громко в толпе; посыпались ругательства и угрозы. Мы слушали скрепя сердце. Волнение увеличивалось по мере того, как разгорячались некоторые. Каждое слово, произнесенное во всеуслышание, подхватывалось массой и повторялось сотнями народа. «Да мы не только пришельцам, но и своим никогда не позволяли таких вольностей!» — заревел один из толпы и со всего размаха ударил дубиной в ограду. Старый плетень пошатнулся, и иглы колючника [146] дождем посыпались наземь. Мы все трое выскочили из кунацкой.

— Что это? Неприятели или соседи пришли сюда? — закричал брат, входя в толпу.

— Да, мы можем сделаться и врагами, если не ценят нашей дружбы, — крикнули из толпы.

— По домам! Девушка уведена! — пронеслось вдруг с того конца, который примыкал к нашему дому.

Гость наш, стоявший подле нас с пистолетом в руке, одним прыжком исчез в толпе. Рванулся было и я за ним, но брат схватил меня, за руку.

— Не горячись, Мата, попусту, — проговорил он — Дело кончено, не воротишь его. Наша кровля покрылась позором.

Удивился я, слыша такие слова в устах Харакета. В эту минуту я готов был отступить от него, так недостойн показался он мне.

— Ты ли это говоришь, брат? — спросил я с упреком, позабыв всякое уважение к нему.

— Да. Это говорю я, Харакет.

— Если так, то ты сегодня не тот, кого считал я первым человеком... Ты... нынче трус...

— Пусть будет так, — живо возразил брат, стоя неподвижно на одном месте. Не знаю, что происходило в ту минуту в душе его, и думал ли он о чем-нибудь. На мой взгляд он стоял, как будто ничего с нами не случилось: как будто перед нашими же глазами не обесчестили нашего дома.

— Умереть бы нам теперь же, на этом месте, чем пережить такое бесславление! — вскричал я, и слезы невольно выступили из глаз.

— Умереть — не важная штука, — отвечал брат. — Всякий раб сумеет умереть. Пользы мало из того. Не смерть, а жизнь нужна нам, чтобы стереть с лица клеймо.

В это время подошла к нам гурьба людей, ведя под руки нашего молодого гостя, бледного, как полотно, с опущенными вниз глазами. Черкеска на нем, новая и очень щеголеватая, была разодрана в клочки, пистолета не было в руках.

— Берегите своего гостя, — насмешливо сказал нам один из державших его. — Дело потерянное, не след уж гоняться за ним. Лучше позабыть о нем.

— Да, мы постараемся забыть его, — возразил брат таким голосом, что насмешливый господин не нашел больше что сказать.

Мы взяли своего гостя за руки и оплеванные удалились в кунацкую, а гурьба шумно отправилась восвояси. Долго сидели мы молча, не поднимая друг на друга глаз. Пришел крестьянин наш и рассказал, как увели нашу гостью. Тем временем как мы переговаривались с посланцами, один из родственников девушки пробрался в ворота хозяйской (второпях мы забыли [147] распорядиться запереть их и приставить к ним людей) и, став позади сакли, вызвал ее оттуда. Разумеется, она тотчас же вышла к нему. А домашние наши не сумели удержать ее. Служанке, заметившей ей, что не следовало бы ей так делать, она отвечала: «Я не рабыня, чтоб не иметь своей воли».

Молчание наше тянулось чуть не до полночи. Огонь в очаге давно погас, и мы сидели в потемках.

— Зачем мы сидим? — прервал наконец брат.

— Тебе это решать, — отвечал я. — Ты давеча сказал, что жизнь нам нужна, а теперь укажи, для чего она нужна.

— Гость наш, идешь ли по следам нашим? — спросил вдруг брат печального, убитого юношу. — Мы столько же оскорблены, как и ты, если еще не больше.

— Я на все согласен, что вы прикажете, — проговорил юноша. — Готов даже отказаться от мести, если это вам угодно.

— Если так, медлить нечего. В эту же ночь мы должны оставить аул, в котором нет уже места для нас.

— Этого я ожидал, конечно, после того, что с нами произошло. Но как это сделать... Ведь у нас есть дом, имущество? — начал я.

— У нас теперь ничего нет, кроме лошади, шашки, винтовки да страшного позора на лбах, — перебил брат.

— Все же надо как-нибудь устроить. Иначе нас могут считать бог знает за кого. Нет, как хочешь, брат, я так не выеду.

Нужно тебе сказать, что я больше хлопотал из-за жены брата, так как он сам ничего о ней из приличия не мог заговорить. Насчет крестьян и другого имущества я не беспокоился. Объяснить свои мысли лично брату я не мог, разумеется, хотя обстоятельства наши и могли бы извинить отчасти подобную нескромность. А пока было между нами недоразумение, дело тянулось бы, пожалуй, и до утра. Потому я вызвал из кунацкой нашего гостя, и через него начал переговариваться с братом. Через час мы были готовы к выезду. Харакет решился пустить жену на волю, несмотря на все мои увещания не делать этого. Наш гость, оказавшийся ученым человеком, написал на клочке бумаги, приготовленной им для собственного брака, развод брата. Смысл этого свидетельства был такой: Харакет не имеет никакого неудовольствия на жену, напротив, в продолжение своего супружества был постоянно признателен к ней; что единственной причиной развода послужили обстоятельства, и что, наконец, он, Харакет, при двух свидетелях, на вечные времена отказывается от всех прав своих на нее и предоставляет ей полную свободу выбрать себе второго мужа, а в вознаграждение за ее ревностно-исполненные обязанности уделяет ей сорок туманов и весь находящийся в доме скarb. На другом клочке бумаги написали распоряжение насчет крестьян и движимого имущества. Крестьян отпустили на волю до тех пор, [148] пока мы, или дети наши (если они будут), не потребуем от них прежнего холопского повиновения. Скот, лошадей и баранов предоставили в их полное распоряжение. Оба свидетельства отдали старшему из крестьян, присовокупив к ним и несколько словесных наставлений.

Затем мы сели на лучших коней, взяли три заводных и выехали из аула, сопровождаемые лишь лаем недремлющих псов. На другой день, вечером, мы были уже на земле махосев 20. Старшина Каирбек и прежде еще знавший Харакета, радушно принял нас в свою кунацкую, сказав, что не только аул Ханца-Харуна, но и семь королевств имей мы врагами, и тогда не отказал бы нам в гостеприимстве. Впрочем, ни чьей защиты мы не искали, потому что защита наша заключалась в собственной нашей силе.

Недели две прожили мы без всякого дела. В кунацкой Каир-бека ежедневно собиралось множество людей. Смех и веселье не умолкали до поздней ночи. Стрельба и скачка являлись тотчас, как надоедали разговоры. Сам хозяин принимал во всем живое участие и везде был первым. Редко видел я человека, подобного Каирбеку. Это был батыр во всех отношениях. Ласковый и суровый в одно и то же время, он подчинял себе каждого, с кем имел дело. Одним умом он отстранил от власти своего старшего брата и прибрал в руки всех махосев, ворочал ими, как своими рабами, отнимал крестьян у господ, опираясь лишь на то, что они дурно с ними обращаются и тем заставляют их прибегнуть к его защите. Самовластие его не знало предела. Самые буйные страсти кипели в этой богатырской, с виду чуть не женской душе. За все пребывание свое в доме Каирбека не помню, чтоб он хоть раз переночевал у себя. Чуть сумерки, он уходил бог знает куда и возвращался только с восходом солнца прямо в кунацкую. А в хозяйской сидела молодая его жена, очень недурная, как я слышал. С узденями своими Каирбек обращался чрезвычайно гордо, подчас надменно и нагло. Язык его, словно острая коса, резал просто голову. Уаллахи, я скорее согласился бы подставить шею под шашку, чем выслушать

выговор Каирбека! Немало удивлялись мы терпению махошев. Да явись такой удалец, как Каирбек, у нас в абадзехии, клянусь, через десять дней отправили бы его на расправу Азраила 21. А тут и возражать никто не дерзал. Сказать правду, мы скоро охладели к Каирбеку, несмотря на радушие его к нам и на его высокие достоинства. Может быть, это происходило от непривычки нашей к такому падишахству. Достоинство и хорошее происхождение везде в почете — против того и спора нет, но ни в каком случае не должно им поклоняться, сносить от них всякие обиды. Дворянский обычай указывает каждому черкесу приличное ему место, дает знать, что можно ему делать и чего нельзя. Тому нет места между адыгами, кто захочет [149] стать выше всех, кто пожелает поставить волю свою законом для других. Такого человека всякий заметит, всякий будет стремиться как бы подрезать ему крылья. И будь он силой равен хоть грому, имей на плечах своих, сто голов, рано или поздно, а сломит себе шею. Так случилось и с Каирбеком.

Не менее Каирбека надоели нам и махоши. Это такой народ, что и причислять-то его не следовало бы к адыгам. Народ тихий, скромный, куда до абадзехов! И молодежь их какая-то вялая, мертвая. Нет в ней ничего этакого поджигающего кровь, ничего смелого, дерзкого. Что за необходимость была нам жить с такими людьми? Притом же, мы покинули дом свой вовсе не затем, чтобы наблюдать житье-бытье махошев. Месть говорила в нас ежеминутно. Ничто не могло заглушить ее. Она требовала пищи, а мы еще не поднесли ей ни одного кусочка. Да и что подумал бы враждебный нам аул? Не нам было сидеть сложа руки да любясь неукротимым буйством нашего гостеприимного хозяина. Каша его становилась в горле, пока сердце горело жаждой мщения. Посоветовавшись между собой, мы оседлали своих коней и, опоясавшись шашками, явились к Каирбеку.

— Что это? — спросил он, живо приподнявшись при виде нас, — вы уже собрались оставить меня. Нет, не думайте этого, я вас не пушу. Кладите оружие на место. Не слышали вы разве пословицы: «гость в плену у хозяина». Долой сейчас же шашки!

— Благодарим за ласку, Каирбек, — отвечал брат. — Но дело наше таково, что сидеть долго на одном месте нам было бы очень неприлично. Ты сам, думаю, не одобришь такой праздности.

— Так точно. Дело ваше не терпит замедления, понимаю душу мужа, потому не стану вас удерживать. Только дайте мне слово воротиться ко мне тотчас по окончании дела.

— Слово — дело не шуточное для дворянина, — сказал на это брат. — Дать его должно с полной уверенностью, что сдержишь его. А что с нами случится — ведает один бог. Не делай же нас обманщиками.

— Хорошо, братец, хорошо. Быть по-твоему! — вскричал Каирбек, подбежав к Харакету. — Бог даст всегда успех такому мужу, как Харакет. Дорожите его словом, молодые люди! — прибавил он, обращаясь ко мне и к товарищу нашему, Измаилу. — С ним вы и в аду найдете себе дорогу. Бог с вами, прощайте. Если окажется во мне нужда, я готов всегда вам услужить. Итак, счастливого пути!

Мы поблагодарили хозяина и выехали со двора.

Недалеко от ханцовского аула находился большой густой лес. Теперь он весь порублен русскими. В то время жители редко туда ездили за рубкой строевого леса, и то, если набиралось их около [150] сотни ароб. Они опасались убыхов 22, которые целыми партиями скрывались в лесу в ожидании добычи. Мы расположились в самом

недоступном месте этого леса. Лошадей, спутав на три ноги, пустили в лес, а сами с помощью кинжалов вырубили с трудом десятка два молодых деревьев и сложили из них довольно прочный шалаш, который мог защищать нас от непогоды и даже от внезапного нападения. Узкий вход заделали так искусно, что снаружи никто бы не заметил его. Внутренность шалаша очистили сначала от трав и корней, потом засыпали и утоптали мягким черноземом, разделив ее на три отделения: в каждое отделение насыпали свежей зелёной травы. Посредине вырыли яму для огня, против отверстия, сделанного наверху шалаша. Отверстие это приходилось под кудрявым дубом так, что дым, выходящий из отверстия, совершенно исчезал в густой листве. Устроившись таким образом, мы держали совет, как пропитать себя в глухом лесу. Положили обратиться к одному из вернейших крестьян наших. А чтобы холоп не напакостил как-нибудь, решили указать ему большой дуб при самом входе в лес: в дупле его он должен был каждую неделю, класть припасы. Шалаш же не открывать ему ни под каким предлогом. На первый раз мы удовольствовались лесными яблоками и грушами.

Когда наступила ночь, собрались в путь. Чтобы себя не обременять ничем, оставили лошадей подле шалаша. Для предохранения от волков обложили их натертыми порохом тряпками. Подняв полы черкесок за пояс и перебросив за плечи винтовки, мы тронулись молча. Ночь стояла такая, какая и нужна была нам. Густые тучи медленно плыли по небу. Каждый из нас молился в душе, чтобы они не разразились дождем. Молитва наша была услышана. Вместо дождя поднялся сильный ветер. Лес глухо зашумел. Гладкое поле возле аула свистело как-то пронзительно и жалобно. Каждая травка будто плакала. Какое-то уныние проникло мне в душу. Недостойные мужчины чувства начинали овладевать мною... я плюнул и стал бормотать про себя какую-то веселую песню. Измаил и Харакет тоже молчали. Свист ветра и на них действовал не лучше, чем на меня. Глупые минуты находят иногда на человека без всякой причины: вдруг ни с того ни с сего начинаешь грустить, бог ведает по ком, и внутри тебя словно кто лопатой ворочает. Говорят, сам враг людей, проклятый шайтан насылает их на человека, чтоб отнять у него все мужское и сделать его бабой. Должно быть, тут не без козней нечистой силы, иначе отчего бы случиться такому стыду с людьми, которые нарочно изгоняют из сердца всякие нежности? Черт ли, другой ли кто был тому причиной, знает один бог, только все мы трое в тот вечер походили на людей, идущих на похороны. Не поднимая друг на друга глаз, мы очутились под аульной оградой. Нас [151] поразила необыкновенная тишина. Ни лая собаки, ни мычания коровы, разлученной на ночь с телком, ни даже протяжного крика пасечника, оберегавшего обыкновенно по ночам свои ульи от покушения соседей, ничего не слышалось в непроницаемой мгле. Один ветер свободно разгуливал по спящему селу, срывал с саклей камышовые крыши и разносил их так далеко, что хозяйева, если б захотела на утро собрать их, не нашли бы и щепки; старые плетни скрипели и валялись от сильного напора ветра. Прежде чем войти в аул, мы на минуту остановились. Брат с Измаилом взялись приготовить все необходимое для предстоящего дела, а мне велели переговорить с крестьянином насчет провизии, да предупредить его, »чтоб он в эту ночь караулил весь наш двор. Мне указали место, и мы расстались. С трудом и опасением я добудился холопа и, передав ему наскоро, что нужно, поспешил оставить место, которое вызывало во мне воспоминание о прошлом счастье. Мне казалось, что место это прижигало мне пятки. Меня тянуло в нашу кунацкую, я желал хоть раз еще взглянуть на нее. Я шел быстро... ноги мои чуть касались земли, колени дрожали, сердце мое билось так сильно, что я слышал каждый его стук, в ушах раздавался ужасный шум, будто вблизи меня работал кузнец; я вбежал в ограду, страшный вид опустения больно кольнул меня; я подошел к двери кунацкой и толкнул ее дрожащей рукой, но дверь была забита изнутри. Подбегаю к окну, тоже заперто. Сердце мое сжалось, слезы чуть не прошибли из глаз. Как мне хотелось взглянуть, хоть впотьмах, на внутренность нашей кунацкой, этого теперь и выразить не могу. Я насилу оторвался от стен кунацкой и направился к назначенному мне

месту. Товарищи были готовы и ждали только меня. После краткого совещания мы опять разделились. Брат взял на свою долю середину аула, самую населенную и опасную, а нам с Измаилом велел действовать с боков. По окончании дела все трое должны были сойтись на холмике, тотчас за оградой. Расставшись с товарищами, я бегом пустился к своей части, вырубил огня, завернул горящий трут в тряпку, потом взял горсть сухой соломы и, вложив в нее тряпку с трутом, размахивал до тех пор, пока солома не вспыхнула. Тотчас я всунул ее под крышу первой с краю сакли. Зажег другой пук соломы и дал огня соседней сакле. Таким порядком, не более как в полчаса времени, я успел обежать все строения назначенной мне половины, не исключая амбаров, конюшен, даже курятников. Мы все трое в одно время столкнулись с горящими пучками в руках. Я с трудом узнал своих товарищей. Лица и руки их были густо вымазаны сажей, а бороды и усы укоротились наполовину: это второпях пламя запалило их.

— Что, все? — спросил брат. — Не забыли ли какой сакли? Ветер быстро раздувал пламя и, как степную траву, гнал с [152] крыши на крышу. Темно-бурый дым взвился широкими полосами. Раздались крики и вопли. Люди пробуждались из глубокого сна. Не желай никому подобного пробуждения!

Скоро мы очутились на своем холму и сели отдыхать от утомления, имея перед глазами плоды своих усилий. Аул весь виден был нам, как на ладони. Обширный костер с каждым порывом ветра разгорался сильнее. Огненные языки жадно протягивались с одной стороны в другую. То была река, выступившая из берегов, только река огненная, всепожирающая, ничего не щадящая. Никогда более не видывал я такого зрелища. Аллах керим! Что это была за ночь! У другого волоса опрокинули бы шапку от одного рассказа о таком происшествии, а мы чуть не плясали от радости. Стоны и вопли детей и жен, отчаянные крики мужей, спасавших свою семью и самые необходимые вещи, как например, одежды, оставленные второпях в сакле, рев скотины, ржание коней, задыхающихся в запертых конюшнях, протяжный, заунывный вой собак, все это слилось в один общий плач, в одну жалобу. Под эту музыку мы ощущали в себе необыкновенно-светлое чувство. Как будто и теперь еще вижу перед собой Харакета, сидящего на холмике; лицо его, озаренное отражением костра, так и дышало счастьем. Губы его поминутно шевелились, готовясь передать то, что происходило в душе; но обычная твердость сдерживала его. Он жадно следил за каждым извивом огня и, казалось, опасался, чтоб не уцелело что-нибудь из аула. Между тем, пламя все усиливалось и багровым, зловещим светом озаряло далеко окрестность. Люди кидались в огонь, стараясь затушить его. Большая часть их едва была прикрыта исподним платьем. Полунагие женщины рыдали при виде погибавшего жилища и судорожно прижимали к себе испуганных детей. Быки, прорвав рогами хлевы, яростно бросились в толпы народа и свирепо топтали все попадавшее на пути. Ветер завывал с новой силой и страшно колыхал огненными волнами, шипел и свистел. Жители мало-помалу перестали суетиться. Они убедились в своей бессилии и, сложив покорно руки на груди, предоставили все воле божией. Молча взирали они, как пламя пожирало плоды их долголетних трудов. Затем начали составляться в кружки: слышались ругательства и проклятия, бог знает на кого. Едва ли знали они виновников ужасного своего пробуждения, да и не время было им рассуждать об этом. Они только тушили ярость свою богохульствами.

— Теперь пора нам на охоту, — сказал Харакет, поднимаясь с места. — Смотрите, целиться в крупных кабанов, а не в тощих. Промахнуться мудрено: иголку можно поднять с земли — славное освещение!

— Это выходит по пословице: сверх чесотки веред, — сказал я смеясь. [153]

— Ничего, ханцовцы сильные ребята, вынесут и ту и другую. Одна чесотка не свалит их с ног. Ну, вперед... Да, еще одно слово — стреляйте не с одного места, а с разных. Сходиться опять здесь.

Мы рассыпались в разные стороны. Я подкрался очень близко к одной кучке, взвел курок винтовки и начал водить дулом, выбирая на ком бы остановить его. Я узнал довольно крупного человека и сделал движение, чтобы спустить курок... но рука замерла, точно кто перетянул ее палкой, сердце дрогнуло. Я весь сгорел от стыда. «За что же я его убью? — подумал я невольно: — Ведь он не видит меня, не подозревает опасности, он безоружен». Никогда не одобрял я затылочных героев и считал их всегда подлыми трусами. Я встал, чтоб идти к холму, как вдруг на другом конце аула раздался выстрел, а за ним, спустя немного, и другой, и третий, все с разных точек. Народ снова засуетился и смешался как стадо овец при нападении волка. Он не знал, что б это значило. «Убийцы, убийцы, ловите их!» — кричали со всех сторон, и массы беспорядочно устремились кто куда, надеясь, верно, тут же поймать убийц за хвост. Выстрелы становились все чаще и чаще. До ушей моих несколько раз долетали предсмертные стоны раненых. Кровь опять заиграла во мне. Мне вдруг представилось, с каким неудовольствием узнают товарищи о моем бездействии. А, главное, я боялся, чтоб они не стали подозревать меня в женственной мягкости сердца, и чего доброго, в постыдной трусости. Потому я быстро направился к одной толпе и навел снова винтовку. Курок звонко щелкнул. Рука моя опять затряслась. Винтовка сама собой опустилась с сошек. Мне, наконец, стало досадно за себя. Лихорадка начала меня бить. «Неужели ты так слаб?» — словно шепнул мне кто-то. Дрожа всем телом, я приложился и невольно закрыл глаза... Выстрел загремел — и кто-то, выхватившись из толпы, с ревом растянулся на земле. В голове моей все помешалось. Не помню, как добрался я до холма...

Спустя немного, явились и товарищи, держа в руках еще раскаленные винтовки.

— На первый раз довольно, — сказал Харакет. — Теперь можно и отдохнуть.

Мы отправились в лес. Зарево пылающего аула провожало нас до самой опушки, освещая нам дорогу. Ночь я провел без сна, несмотря на совершенное изнеможение. Картина пожара неотвязчиво носилась перед моими глазами, а тяжелый стон безвинной жертвы невыносимо терзал мне уши. Я вскакивал и осматривался долго и внимательно вокруг себя, желая увериться, не наяву ли все это происходит. Я завидовал Измаилу и Харакету. Они храпели самым безмятежным образом. Можно бы подумать, что они заснули на пути из Мекки 23: так мало походили они на истребителей целого аула. Проснувшись утром, брат говорил, протирая [154] глаза: «вчера на шее моей висело пудов двадцать; теперь чувствую, что половина свалилась». Я сделал черпак из листьев, принес в нем из речки воды и дал умыться Харакету; потом высыпал перед ним горсть спелых груш, запасенных еще со вчерашнего дня. Остальное время до вечера мы провели в глубоком молчании, развалившись на мягкой травяной постели. Но у каждого из нас была своя мысль — каждый по-своему рассуждал о том, что еще остается нам делать, и как бы ранить еще больше наших врагов. Вечером я пошел к назначенному дубу. В дупле его лежал целый мешок пшена, узелок с сыром и копченкой, котелок, две чашки, плоская длинная доска, употребляемая косцами вместо стола, и другие принадлежности полевой жизни. Забрав все это, я направился было к нашему шалашу, как вдруг из-за ближнего дерева показался доверенный крестьянин. Он сообщил мне, что пожар истребил весь аул, кроме нашего двора, так что жители хотят переселиться на другое место, что убито пять человек и ранено трое, и что, наконец, ханцовцы единогласно признали нас виновниками общего несчастья. Они приняли всевозможные меры к поимке или умерщвлению нас. Прежде всего они разослали гонцов во все соседние аулы с просьбой не принимать нас нигде как

гостей; в противном случае ханцовцы угрожали им своей неприязнью.

К открытию нас главным образом способствовало то, что двор наш остался невредим от огня. В порыве ярости общество бросилось было вымещать свою обиду на нашем доме. И оно исполнило бы это, если бы крестьяне не объявили секрета, который скрывался до того времени, то есть, что они люди свободные. Дело кончилось тем, что Ханца тотчас взял к себе домой дочь с отказанным ей добром, а жители разошлись по своим пепелищам, стуча зубами от ярости. Когда я рассказывал все это товарищам, брат сказал: «Пусть ханцовцы ищут нас по соседним аулам: а мы будем следовать за ними шаг за шагом. Орел слетает на цыплят в открытом месте. Выстроится новый аул, и мы не замедлим явиться».

В полдень мы покушали с отличным аппетитом и легли спать, а ночью снова очутились в ханцовском ауле. Удушливый запах дыма носился еще в воздухе. Горящие уголья тлели под кучами золы, вспыхивая изредка. Разные фигуры, образовавшиеся из глины, торчали на развалинах домов, как пугало в огороде. Вид разрушения был еще ужаснее в ночной темноте. Это был настоящий ад. Тягостное впечатление легло мне на сердце и давило невыразимо. Ведь так еще недавно с обитателями этой развалины мы братски делились хлебом-солью. Еще не успел умолкнуть в ушах голос их дружбы. И вот мы виновники их несчастья. Хозяйки, из рук которых мы ели лучшие куски, девушки, считавшиеся нашими сестрами, дети, которых мы качали на руках, — все они, [155] по милости нашей, должны теперь ночевать под открытым небом, лишённые первых потребностей жизни. Такие мысли осаждали меня беспрестанно. Даже чувство тяжкой обиды, нанесенной нашему дому, не могло совершенно оторвать меня от малодушных размышлений. Несмотря на то, я готовился нанести новый удар врагам и ни одним словом не выразил пред своими товарищами, что происходило во мне.

Ханцовцы, желая по крайней мере избавиться от смрада и угара, оставили пепелища и расположились на ночь в чистом поле. Но и тут мы не дали им покоя. Прикрытые мглой, мы невидимо посылали смерть сидевшим вокруг костров мужчинам. Бедные ханцовцы, не ожидавшие нового горя после того, что случилось, пришли в такое смущение, что громко зывали к аллаху, с дерзостью, неприличной мусульманам. Отчаяние их было несказанное. Они кучками выбежали из круга туда, откуда раздавались выстрелы, но мы не мешкали, и в это время целились в них с другого конца. Так обошли мы круг, пробежали его потом посередине, стреляя по встречным, и, когда весь табор поднялся на ноги, отправились шагом к себе. Несколько всадников выскакали в погоню, но совсем по другому направлению. Они кричали во все горло: «ловите! ловите!»

— Если найдете! — отвечал на это, смеясь, брат... Наутро я узнал от крестьянина, что раздраженное общество разослало во все стороны людей с целью открыть во что бы то ни стало наши следы. Кроме того, оно наняло самых расторопных молодцов выведать нас тайком, войти в сношения, а потом выдать нас ему в руки или застрелить. Составили из лучших наездников ночной обход, и в то же время начали запасаться материалом для постройки нового аула, призвав на помощь соседей, так как у самих ханцовцев не осталось от пожара и половины ароб и быков. Наш лес должен был теперь привлечь жителей. Кто-нибудь невзначай мог набрести на наше убежище. Потому, когда наступила ночь, мы покинули лес, чтобы до окончания постройки нового аула скрыться где-нибудь вблизи. А чтоб узнать, не открыто ли наше жилище во время нашего отсутствия, оставили в нем старую черкеску и несколько газырей с порохом, как бы забытые второпях. Тот, кому бы пришлось побывать в шалаше, конечно, не мог бы никак отказаться от подобной находки. Приятель, к которому мы явились, жил в ближайшем к ханцовцам ауле и был один из отъявленнейших врагов околота, хотя и не скрывался ни от кого. Он нередко имел с нами дела, потому с большой охотой скрыл нас в своем амбаре, посреди мешков

проса и кукурузы, а лошадей наших запер в особой конюшне, где обыкновенно запрыгивалось все, что не терпит людского взора. Три раза в день хозяин сам приносил нам есть и сообщал при этом слухи, доходившие до [156] него. Долго, впрочем, он не засиживался с нами, опасаясь возбудить в ком-нибудь подозрение. Из домашних его, одна хозяйка знала о пребывании нашем в кладовой. Прошла неделя в таком добровольном заточении. Разумеется, в такой короткий срок хан-цовцы не успели обзавестись новым хозяйством. Между тем скука бездействия начинала сильно нас томить. Да и стыдно было нам перед самими собой проживать в душной конуре, словно амбарные крысы. Еще много дела предстояло нам. Не одним огнем было вымещать обиду и не все таиться под кровом ночи. Нужно было показать себя врагам и среди дня, чтобы они не подумали, будто мы прячемся от них из боязни. Мы расстались с хозяином. Он до тех пор не хотел нас отпустить, пока не взял с нас обещания вскорости вернуться к нему.

Около полуденного намаза мы явились неожиданно перед новыми жилищами ханцовцев. Не в голой степи уже увидели мы врагов своих. Толстые колья, воткнутые крепко в землю, большим полукругом захватывали огромное пространство: это были зачатки будущей сильной ограды. Кучи хвороста, очищенные от листьев, грудками возвышались там и сям. В иных местах был выведен плетень. Посреди полукруга виднелись сакли, еще не мазанные глиной и слегка прикрытые зеленой травой. Попадались еще и большие просторные шалаши, которые мало чем уступали саклям; из тех и других дым валил густыми клубами. Видно было, что опустившиеся головы ханцовцев выпрямлялись. Мы быстро въехали в черту аула. Десятка два мальчишек играли в альчики при самом входе в ров. Увидев нас, они оставили игру, и с любопытством посмотрели на наши лица. Казалось, они что-то припоминали. Я с Измаилом тихо приблизился к ним, схватили двух из них подмышки и повернули коней. Остальные ребята с криками бросились к саклям. Несколько человек показались на рву с винтовками, прицелились и выстрелили по нас. Пули свистнули мимо. Затем выскакала из аула и погоня. Наши кони, отдохавшие целые две недели, неслись как из лука стрела. Но несмотря на это, погоня была уже близка. Ее злобные восклицания и ругательства доносились до нас. В ней мы узнали и старого Харакет, скакавший позади без добычи, поворотил своего коня, выхватил мигом винтовку и, как вихорь снежный, ударил в лицо врагам. Прогредел выстрел. Оглянувшись снова, мы увидели двух коней, мчавшихся к аулу с опрокинутыми под брюхо седлами, без седоков. Харакет уже нагнал нас. Погоня, однако, не отставала. Лес зачернел перед нами. Мы приударили коней. Харакет еще раз схватился с погоней и спешил снова одного врага. Зато у самого под правой рукой проскочила пуля, унося с собой кусок черкески и бешмета. Доскакав до опушки леса, мы тотчас же спешили. Пленных и лошадей поручили мне, с тем чтобы я углубился с ними как можно далее [157] в лес. А Харакет с Измаилом, прикрывшись деревьями, остановили преследователей. Загорелась перестрелка. Погоня, раздраженная неудачей и подстрекаемая надеждой зараз уничтожить злейших врагов своих, спутала коней и пешая ударила со всей яростью на Харакета и Измаила. Но каждый дуб стал перед ней неприступной крепостью. Дорого поплатилась она за свою смелость. Харакет и Измаил, как кошки перебегающая от дерева к дереву, каждую пулю свою посылали наверняка, тогда как враги палили наудачу и наносили больше вред сучьям и листьям древесным. Перестрелка длилась до тех пор, пока с обеих сторон не истощился весь запас пороха. Тогда поневоле они разошлись...

В ту же ночь мы приехали к своему приятелю и после короткого совещания мы с ним взяли мальчиков и пустились в дорогу. Подобную добычу нельзя было долго укрывать под носом врагов: следовало как можно скорее сбыть ее с рук. На следующий день утром, мы слезли с коней перед кунацкой старшины Каирбека. По обыкновению его не было дома. Приходилось ждать его до восхода солнца; до того времени поднялись бы на ноги дворовые и гости; а мы вовсе не желали, чтобы секрет наш сделался известен кому-

нибудь, кроме самого хозяина. Что тут делать? Товарищ мой, Джунис, известный мастер на шутики, нашелся тотчас. Вошел прямо на двор хозяина и стуком в окно кухни разбудил служанку дома. «Так и так, — говорит ей, — по приказанию Каирбека привезли мы двух мальчишек. Надобно сейчас же спрятать их в таком месте, где бы их никто не мог видеть. Так, мол, приказал сам хозяин. Да чтоб она, собачья дочь, не проболтнула тайны, иначе пойдет путешествовать на хвосте коня от хозяина к хозяину». После такого наставления, разумеется, служанке ничего не оставалось, как припрятать подальше наших пленников и натянуть крепчайшую узду на бабий свой язык. Джунис прибавил еще, чтоб она ни под каким видом не заговорила с пленными и если б они сами покусились что сказать, то зажала бы им рот. Успокоившись насчет пленников, мы вошли в кунацкую. Одни из гостей молились на разостланных на полу оленьих шкурах, другие, сидя на дворе, совершали омовение, а третьи издавали сильнейший храп, как будто на свете не существовало вовсе ни заботы, ни молитв. Мы спросили о Каирбеке, хотя, может быть, лучше самих гостей знали, где проводит он это время. Нас просили подождать. Развесив свое оружие на стене, мы сели на одной из длинных скамей, расставленных по углам кунацкой. Раннее посещение наше возбудило любопытство; гости исподлобья осматривали нас, желая, вероятно, по нашей наружности узнать, что мы за люди и зачем так рано приехали. Некоторые даже будто нарочно выходили на двор и, зевая да потягиваясь, осматривали наших коней. А прямо нас спросить никто не решался, зная наперед, что не получают настоящего [158] ответа. Наконец, воротился и хозяин. Увидев меня, он быстро, не давая произнести обычного приветствия, спросил: «где ты, молодец, оставил своего брата?» Вместо прямого ответа я сказал, что желал бы переговорить с ним наедине. Каирбек схватил меня за плечо и поспешно вывел из сакли. Джунис последовал за мной.

— Это что за человек? — спросил живо хозяин, когда мы очутились позади сакли, показывая рукой на Джуниса.

— Это мой товарищ, — отвечал я.

— Ну, так говори же, где оставил ты брата?

— Брат остался пока в доме этого мужа и прислал тебе поклон да маленькую добычу. С просьбой зарыть ее в землю так, чтоб и следа не осталось.

— Ого, какой молодец! — проговорил весело хозяин. — Зарыть в землю, да еще так, чтоб нельзя было и следов сыскать! Одно слово: молодец твой брат! Не любит, чтоб изо рта торчал кусок; нужно, говорит, совсем проглотить. Попробуем-ка и мы... да не большой ли кусок-то? Пожалуй, не влезет еще в рот.

— Кусок очень невелик по твоей пасти, — сказал Джунис, — всего двое мальчишек.

— А ты когда мерил мою пасть? — спросил хозяин, вперив острые глаза свои в Джуниса.

— Нужно только раз взглянуть на кабана, чтоб убедиться в ширине его рта, — отвечал тот, не раздумывая.

— Гм!.. Да, где же ваша добыча?

— В твоей кладовой.

— Как так? Без моего ведома!

Тут Джунис рассказал ему хитрость, к которой мы прибегли по необходимости. Каирбек остался очень доволен нашей проделкой. Особенно понравилось ему то, что мы так хорошо знали его львиные замашки. Желая еще более поразить нас своим могуществом, он оставил у себя пленных, с тем, чтобы подарить их в тот же день одному из своих гостей. Нам же дал пять отличных коней, выезженных так, что садись да и поезжай. Другой бы на этом и остановился, потому что чего более стоили два мальчика? Но Каирбек, бывало, как разгорячится, забывал решительно всякие расчеты. Пригоршнями кидал свое добро.

— Вы, — говорил он, — люди бездомные, некому справиться вам одежду и обменяться вам не с кем. Возьмите у меня по одному платью, то есть не с моего плеча, а с плеч моего дальнего гостя и товарищей его. Раздевание их предоставляю одним вам, так как вы сняли с меня их обузу, Я бы не прочь и своим платьем поделиться с вами, но, уаллахи, кроме того, что видите на мне, нет, ничего лишнего.

Мы, разумеется, не прочь были от такого предложения, тем более, что платье на нас начинало сильно расползаться, но [159] воспользоваться предложением не могли без ущерба своему дворянскому достоинству. Как ты знаешь, по обычаю, раздевание гостей, получивших подарки, принадлежит исключительно дворне хозяина и людям, особенно близким к нему. Это мы дали заметить Каирбеку.

— Это не помеха, — возразил он, — я так устрою, что ни гости, ни дворня ничего не узнают об этом. Не стыдитесь!

Действительно, он что-то шепнул гостям и те беспрекословно исполнили его желание. Но все это казалось недостаточным щедрому хозяину. На прощание он поднес мне еще два двустольных турецких пистолета — один брату, другой мне. В то время пистолеты эти так же дорого ценились, как нынче пистолеты с шестью выстрелами. Оружие самое надежное. Не чета нашим кремневым: и под дождем, и при ясной погоде грянет одинаково, никогда не обманет. Главное, двух сразу можно положить, одного подле другого. Послужил мне подарок Каирбека — спасибо ему, вот он и теперь еще при мне, и до последней минуты будет со мной. Если бы только прибавить к нему другую такую же парочку, тогда и семь человек в поле не были бы страшны мне. Особенно добыть бы шестивыстрельный — о, это сложная выдумка гяуров! Поворачивай только колесо, и цель прямо в лоб: шесть выстрелов! Да это, черт побери, находка! Уаллахи, я бы отдал все, что у меня есть, лишь бы найти такой клад. Да нет! Безбожники наши ни за что на свете не променяют его. Но бог даст, когда-нибудь добуду его!

И Джуниса не обидел щедрый Каирбек — подарил ему славный кинжал, за который можно бы сейчас дать два тумана. На том мы и расстались с Каирбеком. «Вот что значит седлать коня в добрый час», — твердил Джунис всю дорогу. Даже сам брат, ничему не изумлявшийся, едва поверил, когда мы представили ему подарки Каирбека.

Отдохнув день, мы снова отправились на ловлю. На этот раз и Джунис к нам присоединился. Ударили среди белого дня на ханцовцев, рубивших лес для постройки, нарочно выбрав то время, когда все они, утомленные работой с утра, собрались в общем шалаше подкрепить себя пищей и отдохнуть. Отогнали из-под самого носа тридцать быков. Целый град пуль посыпался на нас на очень близком расстоянии, но не причинил нам ни малейшего вреда, напротив, еще более помог нам: быки, испуганные громом выстрелов, понеслись вперед с такой быстротой, что кони наши едва успевали за ними. Погони никакой не было, потому что верховых между дровосеками не оказалось. Спокойно

пригнали быков в ближний аул и продали их на кумач бывшим там армянским купцам. А поверенные купцов немедленно угнали их к русским. Ханцовцы почувствовали наконец, каких неугомонных врагов [160] послал им бог в наказание за грехи. Да! Они лучше бы согласились иметь против себя целый аул, нежели трех бездомных бродяг. С враждебным аулом они бы не побоялись столкнуться лицом к лицу, а укротить нас не было никакой возможности. Словно ястреб на стадо цыплят, налетали мы на них и, нанося беспощадный удар, мгновенно исчезали, не оставив по себе другого следа, кроме слез и жалоб. Имена наши сделались пугалищем не для одних детей, но и для взрослых. Ужас, наводимый нами, походил на трепет человека при мысли о страшной фигуре Азраиля. Не мудрено после этого, если в целом околоте только и говорили, что о нас. И странная вещь! Одни ханцовцы горели к нам ненавистью и жаждали нашей крови, чтобы залить ею нанесенные нами раны; а в окрестностях, даже ближайших к ханцовцам, те самые люди, которые во всякой другой беде брали на свои шеи одинаковую с ними долю, которые клятвенно были связаны с ними, — и те не желали нам зла, напротив, явно сочувствовали делам нашим. Особенно молодежь, страстная ко всему чрезвычайному, просто обожала нас и брала себе в образец. К нам приставали один за другим все недовольные праздностью, обиженные несправедливостью людской и такие, которые не питали в душах ровно ничего дурного, но были соблазнены нашими делами. Даже из ханцовцев пришло к нам трое молодцов. Таким образом, составила у нас большая шайка из отчаяннейших голов в околоте. Присоединяясь к нам, каждый требовал взять с него клятву в том, что он до последней минуты останется верным товарищем всех членов шайки, но брат мой не захотел связывать ничью совесть. Вообще Харакет не очень благоволил к незванным товарищам. Ему не понравилось, что эти люди без всякой причины готовы резать первого встречного и причинять вред бывшим своим соседям. Это уже делалось разбоем и воровством, а мы всеми силами избегали таких прозвищ. Дело наше было иного рода. Оно было вызвано мстью, следовательно, никто нас не мог упрекать ни в корыстолюбии, ни в беспричинной жестокости. Если мы угоняли скот, увозили людей, то это делали вовсе не из видов обогащения, а только из желания причинить как можно больше боли врагам нашим. Злоба сердец наших никогда не простиралась за ограду ханцовского аула. Не раз нам случалось встретить врасплох имущество других аулов — и совесть не может упрекнуть, чтобы мы когда-нибудь прельстились им, даже чтоб имели это в мысли. Если соседи ханцовские принимали нас иногда враждебно, то мы всегда старались внушить им, что худа им не желаем, а если они питают против нас какой-нибудь злой умысел, то да судит их аллах! Из этого легко понять, что мы вовсе не были рады увеличению нашего кружка. Кроме разницы в целях, представлялось и другое важное неудобство. Шайка в пятнадцать, двадцать человек не [161] могла скрыться в случае нужды, в первом попавшемся бурьяне или ауле; а втроем мы никогда не задумывались, как сгладить следы ног своих. Захоти, мы без всякой опасности могли бы жить даже среди самих ханцовцев. Несмотря на все это, мы однако не высказывали новым товарищам наших мыслей. Харакет говорил: что все они мало-помалу поотстанут от нас, и что поэтому не для чего отталкивать их недобрым словом. Это, пожалуй, еще вооружило бы их против нас. А мы не искали других врагов, кроме ханцовцев. Таковую шайку, разумеется, невозможно было держать в доме Джуниса, потому мы вернулись к своему шалашу. И черкеска, и газыри лежали на своих местах. Постройка нового аула все еще продолжалась и не обещала скорого окончания, а сидеть праздно в лесу — было до смерти скучно. Куп стал каждую ночь выезжать из лесу двумя партиями, и обе возвращались с разными добычами уже на рассвете. Одну партию водил Харакет; мы с Измаилом неразлучно находились при нем; другую водил Джамгурчи, испытанный юноша, не раз участвовавший в набегах наших на русские станицы. Беглецом он стал вследствие отказа в руке любимой девушки. Трудно поверить всему, что совершили мы в это время. Ужас наполнил сердца не одних уже ханцовцев, а всего околота, — товарищи наши не разбирали никого. Чуть наступали сумерки, ни один человек не переступал черты аула. Мы опрокидывали вооруженных всадников и вязали их

по рукам и ногам, словно пастухов каких. Не раз отгоняли лошадей и скот, выжгли все аульное сено до последней копны. Враги наши совершенно растерялись.

В непрерывных наездах протекло месяца полтора. К тому времени аул выстроился и обнес себя двойной оградой из колючника. Мы явились к нему, но предприятие на первый раз не удалось. Отряд обходных не допустил нас проникнуть в аул. Тогда Харакет придумал новое средство. Он сделал из высушенного соснового дерева тончайшие дощечки и измазал их густо толченой серой, смешанной с порохом. Такие дощечки загораются от солнечной теплоты. Нам удалось кое-как бросить по такой дощечке на крыши около двадцати саклей. Но попытка снова не удалась. Вспыхнувшие крыши тотчас же были потушены.

В это время попались нам в руки пять мальчиков. По приказанию Харакета я, Джунис и еще один товарищ повезли их к убыхам. Дорога была дальняя и очень утомительная. Дня четыре пробыли у убыхов, и как только сбыли с рук свою добычу, немедленно пустились назад. Темною ночью достигли мы, совершенно изнуренные, нашего притона. Соскочив с лошадей, мы бросились в шалаш и остановились в недоумении. Вместо узкой двери нас поразило огромное отверстие. Стены шалаша обвалились, подпорки лежали разбросанные там и сям. Я обошел все углы — пусто [162] кругом; ощупывая руками стены — ни бурок, ни башлыков и никакого другого признака жилья. Я с отчаянием подбежал к Джунису и, едва сдерживая слезы, спросил: что бы могло значить, такое опустошение? Джунис отвечал, что должно быть молодцы; наши, соскучившись в лесу, укрылись куда-нибудь в аул; но это,, очевидно, были одни слова. Сердце мое не поверило Джунису. Оно говорило мне очень ясно, что товарищи наши не могли удалиться на другое место, не дождавшись нас. Джунис молча достал трут, отвязал с пояса отвертку и начал рубить огонь. Я с трепетом ожидал, когда осветится шалаш и глаза мои ясно увидят окружающие предметы. Сухое сено наконец вспыхнуло, и мы увидели? наше прежнее жилище. Но прежнего в нем не осталось ничего. Казалось, голодные волки грызлись в нем за несколько минут до нашего прихода. Трава, служившая нам постелью, сбитая, как полость, была разбросана клочками. Часть стены и верх шалаша едва держались в ожидании первого напора ветра. Глаза мои беспокойно бродили кругом, и вдруг остановились неподвижно на одной точке. Кровь застыла в жилах, сердце перестало стучать... я весь окаменел.

— Вот наша кровь, — проговорил я, задыхаясь, и указал рукою на угол, забрызганный весь кровью.

— Да, вон еще, — отвечал Джунис угрюмо и показал в противоположный угол. И там чернела запекшаяся кровь. Я ничего» более не видел, не слышал. Не помню, как выскочил я из шалаша, как вспрыгнул на коня и поскакал во всю прыть, не разбирая ни рвов, ни пней, готовых размозжить мне голову. Одни кровавые пятна искрились в моих глазах... Зардевшийся конь, шатаясь и едва переводя тяжелое дыханье, стал у ограды ханцовского аула. Я бросил его на собственный его произвол и перескочил через плетень. Быстро пробежав несколько улиц и дворов, я остановился перед саклей доверенного холопа и застучал в дверь. Спросонья он долго не мог прийти в себя и требовал, чтоб я наперед объяснил ему, кто я таков и зачем к нему пожаловал. Вместо объяснений я сильно ругнул собачьего сына и поклялся шибко отстегать его плетью, если он в ту же минуту не выйдет ко мне. Угроза мигом протрезвила заспанного негодяя. Он выскочил из сакли в одной рубахе. Не помню, было ли на нем еще что-нибудь.

— Где наши? — вскричал я, как только раб просунул голову в низенькие двери.

— А ты где был? — спросил он в свою очередь и с удивлением: и страхом уставил на меня свои сонные глаза.

— Говори скорее, что случилось... ну!

— Да ведь ты сам... — залепетал он, отступая назад.

— Говори! — закричал я, трясясь в лихорадке. — Не то мать будет завтра плакать по тебе.
[163]

Запинаясь и глотая конец каждого слова, раб передал мне ужасную весть. Как деревянный обрубок, прислоненный к стене, стоял я перед холопом. Каждое слово его остриями десяти кинжалов вонзалось мне в сердце и причиняло нестерпимую боль. Сам ты посуди, мог ли я сохранить твердость мужчины в эту ужасную минуту. Нет, ты не упрекнешь меня в постыдном малодушии, если когда-нибудь доводилось тебе выслушивать подобную весть, если сердце твое хоть раз болело так, как болело оно тогда у меня. Что дороже жизни для человека? А я проклял ее в тот миг...

Дело произошло так. Ханцовцы, доведенные до отчаяния, прибегли наконец к хитрости, чтоб избавиться как-нибудь от страшных врагов. План был составлен и немедленно приступили к его выполнению. Один молодой человек в ауле знал, что Джамгурчи тайком видится со своей возлюбленной. Тайну эту он открыл кому нужно. На другую ночь после нашего отъезда с мальчиками, куп наш, по обыкновению, выехал из леса пошарить вокруг аула. Джамгурчи отделился от купа, как и всегда под тем предлогом, что желает посмотреть поближе на ханцовцев. Никто, конечно, не подозревал в нем какой-либо тайны; все были уверены, что он, как расторопный малый, высматривает добычу, чтоб известить потом остальных товарищей: так он всегда делал, так же, без сомнения, поступил бы и в тот вечер, если бы непредвиденный случай не повернул вдруг все вверх дном. Как только подкрался Джамгурчи к сакле любовницы, его вдруг окружили со всех сторон и не дали даже пошевелинуться. Однако, вместо того, чтобы скрутить ему руки и поднести дуло под нос, с ним заговорили самым ласковым голосом. Джамгурчи немало был удивлен, увидев перед собой первых тхаматов аула, которых нельзя было ожидать в такую позднюю пору просто на улице, не только что подсматривающих за шашнями молодежи. Между тхاماдами находился и отец возлюбленной Джамгурчи. Одно из двух предложили на выбор Джамгурчи: выдать им в руки Харакета с товарищами, и в ту же ночь получить руку любимой девушки, или же навсегда выкинуть из головы мысль о женитьбе. Чтобы вернее подействовать на мягкое сердце юноши, опытные старики прибавили еще, что если он не выполнит требуемого, то на другое же утро возлюбленная его будет волей или неволей отдана другому. Джамгурчи не долго колебался. Сердце его изменило обету товарищества и предалось сетям женщины. Заключив сначала брачный союз с отцом возлюбленной, Джамгурчи поклялся на алкоране навести в следующую ночь посланных из аула на жилище купа. Он назначил им место в лесу, где они должны были ожидать его, и вернулся к товарищам как ни в чем не бывало. Наступил срок. Куп, весело болтая, сидел в шалаше. Огонь пылал на очаге, освещая [164] беззаботные лица. Шашлык шипел на вертеле; котелок, вися над огнем на деревянной цепи, с шумом варил пшено. Джамгурчи незаметно ускользнул в это время из шалаша... Ужин был готов. Лежавшие на боку приподнялись, собираясь приняться за него... как вдруг раздался выстрел, и несчастный Харакет, сорванный с места, растянулся в другом углу и испустил дух, успев только до половины вынуть кинжал из ножен. Пуля попала в правую лопатку и вышла через левый бок, пройдя сердце. Куп не успел еще прийти в себя от изумления, как послышался другой выстрел, и Измаил лежал в последних судорогах. Тогда все схватились за оружие и в беспорядке бросились из шалаша; но густая цепь людей

загородила им дорогу. Залп из сорока винтовок молнией сверкнул во тьме ночи. Большая половина купа легла тут же, как подкошенная трава, прежде чем успела щелкнуть курками своих ружей. Четверо или пятеро пробились сквозь цепь и скрылись в лесу.

Так исчез грозный куп, наводивший ужас на всю окрестность. Ханцовцы оказались не храбрее своих сожителей. Да иначе и не могли они отделаться от таких людей, как Харакет и Измаил. Только из щели могли они покуситься на их львиные души. Ведь собака кусает человека сзади, а не спереди. Стать лицом к лицу с людьми вроде Харакета не всякий дерзнет. Не человек он был, а лев — без преувеличения. И мне было лишиться его! К чему не привыкает ничтожный человек? Какие несчастья не скользят по его душе? Как вода расступается перед брошенным камешком и потом смыкается, так точно и сердце наше принимает удары судьбы и поглощает горечь их в себе...

Когда крестьянин кончил рассказ, я кинулся вон от него и долго бродил бессознательно по темным улицам, сопровождаемый горячим лаем собак. Я не знал, куда мне деться, что делать. Я чувствовал, что мозг в голове шевелится... Не скажу тебе, какие чувства пробегали в это время по моему сердцу. Помню только, что в ушах моих, как прибор волны, стучал лай собак и больше ничего... Придя несколько в себя, я решил было разбудить кого-нибудь из жителей и на нем выместить смерть товарищей, но потом раздумал и медленно выбрался из аула. Лошадь моя мирно паслась недалеко от того места, где я оставил ее. Казалось, она понимала мое теперешнее одиночество и потому не хотела меня покинуть. С трудом и после долгих исканий нашел я наконец место на опушке леса, где как собак зарыли, без кефина и дженази (Кефин — саван, дженази — надгробная молитва) брата и Измаила. Свежая насыпь, не успевшая еще осесть, грустно чернела. Ноги мои подкосились... я упал на могилу милого брата и зарыдал, как ребенок... Душа моя жаждала слез, как раскаленная зноем земля — дождя. Грудь моя разрывалась, [165] но слез у меня не было, глаза мои были сухи. Не помню, что далее происходило со мною... я очнулся, когда в воздухе пахнуло холодком рассвета. Темные окраины неба быстро приподнимались. Красные лучи утра пробивались сквозь груды туч. Тени скользили над головой, спеша куда-то скрыться. Я снова припал лицом к земле и жарко целовал ее. Горячо помолился я за неоплаканные души брата и Измаила и, поклявшись их памятью мстить за них до последних минут жизни, поехал к шалашу, чтобы прикрыть землей кровь и навсегда расстаться с несчастным убежищем.

Выполнил ли я свою клятву и успокоил ли тлеющие кости товарищей, можешь судить из дальнейшего рассказа. А теперь я; не в силах продолжать. Харакет и Измаил, как будто живые, перед моими глазами. Они меня не упрекнут — я это знаю. Но все-таки мне становится тяжело при воспоминании о них.

После долгих размышлений я нашел наконец, что мне делать. Три дня и три ночи ехал я безостановочно, не жалел своей лошади, а на четвертый, вечером, увидел белые шатры, раскинутые вдоль берега Лабы. Это был русский лагерь. Я въехал в него не как друг. Первый, кто говорил со мною, был какой-то казанский татарин, знавший несколько по-черкесски.

— Что тебе нужно, кунак? — спросил он.

— Толмач! — проговорил я.

— Я толмач, — сказал казанец, ткнув себя пальцем в грудь. — Ты лазутчик, что ли?

— Да.

— На что тебе толмач? — допрашивал солдат.

Я объяснил ему, на что нужен толмач, и он без дальнейших расспросов повел меня к самой большой палатке во всем лагере. В ней жил начальник отряда. Меня скоро ввели туда, полагая, вероятно, что я приехал сообщить что-нибудь очень важное. Начальник потребовал тотчас одного из служивших при нем черкесов, а казанцу сказал что-то, после чего тот, стоявший до того времени навтыжку, попятился к двери и вышел задом. Черкес пришел. Меня спросили, зачем я приехал в лагерь, не имею ли чего сообщить? Я отвечал, что приехал единственно из желания подружиться с русскими, но что готов услужить чем могу. Начальник обласкал меня и обещал наградить, если я укажу отряду удобные пути и доставлю нужные сведения о делах абадзехских. После этого черкес повел меня к своему купу. Такии образом, очутился я посреди русских, с которыми никогда не думал встретиться иначе, как на поле битвы. В прежнее время я бы почел мысль о таком сближении величайшей подлостью. Но теперь оно не казалось мне ничем особенным. Я скоро привык к русским и стал смотреть на них не так, как прежде. [166]

Черкесы, находившиеся в отряде, приняли меня как бы старого своего знакомого. Они старались угодить мне во всем, отводили мне среди себя первое место. Но скоро я открыл причину всех этих вниманий. Дело в том, что эти почтенные люди лезли из кожи, чтоб понравиться начальнику. Потому не удивительно, что они смотрели на меня, как на средство к своему возвышению перед русскими. Каждый из них домогался овладеть мною и, выведавши у меня что нужно, донести о том начальнику от собственной своей особы. Поэтому я вовремя взял все предосторожности против их умысла и решился быть с ними как можно осторожнее. Не затем удалился я из родной земли, чтобы внести в нее вопли и слезы, никогда не имел я желания помогать русским против моих братьев. Да избавит бог от этой мысли всех мужей земли адыгской! Я жаждал не черкесской крови, а только крови ханцовцев. Лишь их вопли и стоны могли усладить мой слух.

Чуть не каждый день приставал я к начальнику с предложениями навести его врасплох на неприятелей. Начальник, приписывая это моему усердию, давал мне денег, сукна и разные другие вещи, а все-таки не двигался с места. Так простояли мы два месяца. Нетерпение мое росло с каждым часом. Мысль, что ханцовцы наслаждаются покоем и, быть может, вовсе забыли когда-то страшных врагов, эта мысль точила меня червем. Дни проходили за днями. Я сидел молча в шатре черкесов, и не хотелось молвить ни с кем слова. Я не находил ни одного человека, сродного мне по душе, и потому презирал всех окружающих. Правда, был между милиционерами один молодой человек, который провел несколько лет в бегах в земле абадзехов. Он отчасти понял меня и искреннее всех привязался ко мне, хотя меньше всех выказывал мне внимания. Он пытался не один раз намеками предостеречь меня от своих товарищей. Но я притворялся не понимающим его. Даже на дружеское предложение его поселиться в его доме, по возвращении милиции из отряда, я отвечал уклончиво. Но последствия жестоко пристыдили меня за такую холодность к благородному молодому человеку. Лишившись брата, я как-то сделался не способен любить кого-нибудь. Все люди казались мне или злыми, или подлыми лицемерами. Да и можно ли ожидать любви от того, кто ненавидит себя? А я, признаюсь, таков. Я сам себе опротивел. Одну цель имел я в жизни, и цель эта достигнута. Не вижу более, для чего мне жизнь. Руки мои выкупались в крови, душа не находит более наслаждения в ней. Зло не может удовлетворить человека, не знавшего в жизни ничего, кроме зла. И мед приедается. Но пора мне окончить свой рассказ. Пусть хоть один человек в мире узнает, что такое людская злоба и до чего способна она иногда довести человека. Пусть кто-нибудь обсудит хорошенько печальную повесть семейства Тадж. Пусть кто-нибудь взвесит [167] беспристрастно, какие последствия имели бы неутомимая деятельность и ум двух человек,

если б они были направлены постоянно ко вреду врага и к пользе своих. Ты способен сообразить все это. Сердце мое чувствует в тебе что-то родное. Но пути наши различны... да будет, как суждено! Я не ропщу, не ропщи же и ты.. Ты такой же, как и я, сирота... Итак, доскажу тебе дальнейшую свою историю, хотя ты не найдешь в ней ничего нового, а разве повторение тех же кровавых подвигов, которыми наполнил я твои уши. Если бы рассказывал я тебе какую-нибудь сказку, то, пожалуй, прибавил бы что-нибудь приятное, ласкающее слух, но рассказ мой — быль, с начала до конца истинная быль, изображающая, может быть, не одно семейство Тадж, а тысячи ему подобных, чтобы не сказать, всех обитателей адыгской земли. Право, если хорошенько посмотришь, увидишь, что все случившееся с нами, ежедневно повторяется перед глазами, только, разумеется, в ином виде и при иных обстоятельствах. В молодости еще слышал я, как один мудрый старец говорил громко собравшемуся около мечети народу: «род адыгский создан аллахом наподобие собачьему. Никогда не было и не будет в нем согласия и доброго совета. Грызть вечно самого себя — его удел. И погибнет он не от чужой руки, а от собственной». Разве слова эти не оправдались теперь. Кто, как не сами адыги погубили адыгов?..

Решившись на одно из двух — вывести русских в поход или оставить их лагерь, я отправился раз вечером в палатку начальника. Со мною был и переводчик, уже заранее наученный мною, что и как говорить. После долгих переговоров я объявил начальнику, что если он упустит из рук готовое счастье, то оно навсегда станет к нему задом. Я говорил с таким огнем, как некогда в кругу сверстников накануне нападения на русские селения. Мечь поджигала мой язык. Начальник, видя мою упорную настойчивость, усомнился в искренности моего усердия, и спросил меня, чем я могу ручаться в успехе предприятия. Я отвечал, что отдаю голову на отсечение в случае неудачи. «А если ты думаешь, — кончил я, — что я как-нибудь скроюсь, обманув тебя, то держи меня постоянно при себе, окружи, если хочешь, часовыми, и в тот час, когда убедишься в моем обмане, прикажи привязать меня к пушке и выстрелить». Начальник поддался наконец, — чтоб ему никогда более не знать удачи! Решено было на следующий день сняться с лагеря. На прощание гяур протянул мне, в виде награды, два тумана. Я их не принял, сказав, что возьму не прежде, как дело будет окончено. Когда мы вышли из палатки, переводчик стал укорять меня, зачем я отказался от подарка. Он крепко сожалел о двух туманах, как будто сам выронил их из своего кармана. Но не два тумана занимали меня. Вся внутренность моя так и трепетала при мысли, что враги мои снова узнают тяжесть [168] руки Тадж и дорого заплатят за минутный отдых и краткое обольщение, будто я более не существую, или если и существую, то немощен как змея, у которой вырвали жало. Ночь я не смыкал глаз. Бурка прожигала мне бока. Все тело мое горело. Рыдания ханцовских жен опять раздались в ушах отрадной песней. Палатка показалась мне душной. Я вышел на чистый воздух и сел позади шатра. Изредка долетали до меня полусонные крики с цепи, выдвинутой из лагеря, да бессвязный бред из ближних палаток. Легкая прохлада, пронесшаяся в воздухе, освежительно коснулась моего горящего лица. Я почувствовал облегчение. Сердце забило тише. С головы свалился тяжелый свинец. Мысли мои укладывались. Незаметно прервалась нить их... и мной овладел сон. Я видел Харакета. Он обнажил не зажившие еще раны и умолял залечить их. Я дал ему свою руку. Вид мертвеца был ужасен. Сделав отчаянное усилие, я раскрыл глаза. Предутренняя свежесть дохнула мне в лицо. Уже черная тень ложилась на землю. Луна была недалеко от заката. Я встал на ноги, прошелся раза два вокруг палатки и сел опять на прежнее место. Что бы снова не заснуть, я начал следить глазами за быстро убегающим месяцем. Стало светать. Лагерь зашевелился. Я вошел в палатку и, набросив на себя бурку, притворился спящим. Я не хотел, чтобы товарищи узнали, как я провел ночь. Это легко бы возбудило в них всевозможные подозрения. Стали просыпаться в палатке. Весть о выступлении в поход вызвала в милиционерах разные толки. Одни ей радовались в надежде по возвращении из

похода вернуться домой; другие чуть не подкидывали шапок от сладкой мысли отличиться в деле перед русскими и получить награды. Едва же речь касалась до меня, все понижали голос. Рассказ переводчика о вчерашнем посещении начальника очень не понравился купу. Он никак не ожидал, чтобы я, безвестный какой-нибудь пришелец, мог так скоро втереться в доверенность к начальнику. Понятно, что наемные лазутчики пуще всего страшились соперничества. Больше всех ненавидел меня переводчик. Он не жалел слов, чтобы возбудить против меня и других.

Я терпеливо сносил все обидные рассуждения про мою особу. Но когда один шутник начал уверять всех честью, будто я изгнан из общества абадзехского старыми бабами за покражу кур и за то поклялся жестокой мстью, я уже не в силах был удержаться и, быстро сбросив с себя бурку, присел. Все мигом притихли, а шут самым жалким образом выказал свою заячью храбрость. Он весь посинел и разинул рот чуть не до ушей. При всем моем бешенстве, я не мог не улыбнуться. Прочие товарищи чувствовали себя тоже не совсем ловко. Я не показал ни малейшего вида, что слышал весь их разговор. В полдень весь лагерь пришел в движение. Палатки складывали в повозки. Солдаты чистили свои ружья и [169] точили тесаки; а наши купали лошадей и подрезывали им копыта, Я радовался, глядя на волновавшуюся массу людей. В ней каждый казался мне поборником и неумолимым мстителем за кровавую мою обиду. Моя звезда будет освещать путь этой массе и вести ее к моей цели!.. Скоро меня потребовали к начальнику. Я застал его вместе с пятью другими офицерами за круглым столом, обставленным бутылками и тарелками с различными явствами. Начальник сидел посредине и пускал изо рта вверх кольца табачного дыма. «Якши, кунак! Якши!» — закричал начальник, едва только я занес ногу за порог шатра, а за ним вторили и все остальные.

— Якши, — отвечал я. «Кушал твой иок?» — спросил начальник, поднося ко рту пустой стакан. Я сказал: «иок». Но он налил; полный стакан водки и, кивнув мне головой, проговорил: «Алла верди!» «Якши иол», — отвечал я, приложив руку ко лбу. Он налил опять стакан до края и протянул мне. Я покачал головой давая тем знать, что не пью.

Начальник расспрашивал меня чрез казанца, куда я его поведу, каким путем и сколько времени придется быть в дороге. Сначала я затруднялся ответом, но потом ободрился и сказал: «Если ты был так доверчив, что решился следовать за незнакомые человеком в глубь неприятельской земли, и так благороден, что поверил простому слову иноверца, то довершай же, как начал: предоставь мне свободу действия. Каким бы ни было путем, а я доведу тебя до цели, и с помощью божьей устраню всякую опасность. Ты уже знаешь, чем готов я отвечать в случае неудачи. Но если ты не веришь дворянскому моему слову, то давай алкоран, я поклянусь на нем. Больше этого не скажу ничего. Через три; дня ты будешь у цели. Если хоть один выстрел потревожит движение отряда, то голова моя и меч в твоих руках». «Якши, джигит!» — закричали в один голос и начальник и офицеры.

Не стану утомлять тебя подробностями нашего похода по непроходимым местам. Я много перенес за эти три дня. Товарищи мои старались заподозрить меня в глазах начальника, войска роптало на трудность дороги. Начальник сто раз в день призывал меня для объяснений. Дело мое висело на волоске; я каждую минуту трепетал за него. Но бог мне помог. На третью ночь мы уже подошли к аулу Ханцы и в глубоком молчании обложили его со всех сторон густой цепью. Живо отворили ворота, барабаны загрохотали, раздались крики — ура! Половина войска ворвалась в спящий аул и стремительно ударила на сакли. Ханцовцы проснулись — и жестокая резня началась. Сперва жители пытались удержать врага на улицах и храбро оборонялись, но солдаты, ударив на штыки, рассеяли их по домам; кто не хотел попятиться, лег на месте. Пришлось приступом брать каждую саклю; но как: на это нужно было много времени и крови, прибегли к помощи [170] пламени.

Пожар быстро распространился. Осажденные поневоле бросили свои укрепления и пошли искать смерть или плена. Грустный зикир (Песня, которую горцы поют, готовясь к битвам) смешался с криками солдат. Борьба на жизнь и смерть охватила все пункты аула. Обе стороны работали холодным оружием — тут некогда было заряжать ружья. Ханцовцы продавали каждый шаг ценой своей крови. Каждый из них явил себя героем. Я видел, как мальчик в предсмертных судорогах уцепился одной рукой за воткнутый в живот штык, а другой описывал вокруг головы убийцы слабые удары; рука его не могла уже причинить вреда, но стиснутые зубы и зловещий огонь закатывавшихся глаз грозили ужасно. Я носился из улицы в улицу. Мрачные, забрызганные грязью и кровью тени мелькали вокруг меня. Там с треском падал плетень, за которым укрывались несколько отчаянных стрелков, и солдаты с диким ревом перебежали через него. Догоравшие жилища валялись среди удушливого смрада... Приближалось к рассвету. Пожар мало-помалу слабел, не имея для себя более пищи. Гул битвы то вдруг стихал, сменяемый визгом жен и детей, то с новой яростью отдавался в окрестности. Я незаметно попал в самый разгар битвы. В крепкой ограде одной сакли засели человек пятьдесят и с бешенством отбрасывали все приступы солдат. Последние, находясь в открытом месте, терпели ужасный урон от частой стрельбы осажденных. Я спрыгнул с коня и с обнаженной шашкой устремился к воротам ограды. Грянуло громкое «ура» — ободренные солдаты, держа ружья наперевес, рванулись за мной. Град пуль осыпал нас и положил человек двадцать на месте. Остальные мигом выломали ворота и ворвались в ограду. Натиск был так стремителен, что осажденные не успели скрыться в саклю. Зазвенели шашки и солдатские приклады. Как львы дрались ханцовцы, поклявшись не выходить живыми из ограды. На крики бойцов сбежалось много людей с обеих сторон. Двор наполнился битком. Резались долго и упорно. Солдат было вдвое больше врагов, но отчаяние придало последним такую силу, что они одержали бы непременно верх, если бы не подоспела вовремя помощь к русским. Напор свежих штыков окончил кровопролитие. Пятьдесят ханцовцев сдержали слово, как следует мужам, и один подле другого легли в ограде, положив кругом себя кучи солдат. По взятии этой ограды не было уже ни одной замечательной схватки; там и здесь только звякали одиночные выстрелы. Лучшие люди аула все до одного схватили мученические венцы. Разве одни подлейшие трусы, достойные не винтовки, а вертела, да дряхлые старики, остались в живых. Шумные улицы опустели и притихли. Одни пугливые чадры шныряли туда и [171] сюда, не зная, куда деться, и слышались вопли грудных младенцев и ребятишек. Солдаты с криками радости рассыпались по пепелищу и забирали все, что уцелело от пламени. Отовсюду тащили пленников и пленниц и пропасть вещей. Особенно падки были они на все съедобное. Открыв где-нибудь бочку с сыром или маслом, солдаты сбивались в кучку и, подпрыгивая весело на одной ноге, закусывали с большим аппетитом, как бы справляя тризну по убитым товарищам. Один случай особенно обратил на себя мое внимание. В низенькой, продранной во многих местах ограде одного пчельника столпилась гурьба воинов. Солдаты подхватывали на руки сапетки, и убедясь, что взять их с собой невозможно, со всего размаха бросали их оземь. Белые соты выскакивали из разбитых сапеток; пчелы, вылетев с визгом из своих жилищ, отчаянно кружились над головами незваных гостей. Я молча смотрел, и в душе моей проснулось что-то такое, чего я никогда прежде не чувствовал. Мне как будто жаль стало этих ульев. Мне вдруг представился старик с белой, как лунь, бородой. «Смотри, что ты наделал, — казалось, говорил он, — ты в один миг разрушил то, что составляло заботу многих лет моей жизни. Ты топчешь чужими ногами пропитание бедной моей семьи. Вот малые дети, у которых вырвал ты последний кусок. Бог накажет тебя за их слезы». Глаза мои невольно отвернулись от шумного круга моих новых товарищей, я ударил коня, чтоб отъехать прочь, как вдруг позади меня послышались торопливые шаги. Я быстро обернулся: у хвоста моей лошади стоял человек высокого роста, покрытый с головы до ног кровью. Он приставил дуло своей винтовки между моими лопатками и готовился дернуть за курок. «Так это ты привел к нам гостей?

— проговорил он глухим, задыхающимся голосом, — ты, значит, дал клятву не оставлять нас ни минуты в покое... успокойся же теперь сам!» Я не успел пошевелинуться... молния сверкнула в глазах, что-то прожгло мне внутренность. Я почувствовал, что лечу с большой высоты — далее ничего не помню... Я очнулся вечером другого дня, когда отряд наш был уже почти на полпути к Лабе. И был очень слаб, чувствовал тошноту, и невыносимую боль под сердцем. Меня подняли замертво прибежавшие на выстрел солдаты. Русский хаким сделал мне перевязку. Положение мое было самое незавидное среди таких людей, как милиционеры. Они бы, наверное, бросили меня, как лишнюю обузу, если бы не нашелся между ними добрый человек; это был молодой Ислам, тот самый юноша, которого я оттолкнул от себя в лагере. Он на груди своей довез меня до самого лагеря, а оттуда к себе домой. Семейство его приняло меня как родного. Старуха — мать Ислама не сделала различия между им и мною; а одиннадцатилетняя сестра его, пугавшаяся меня сначала, мало-помалу привыкла ко мне, и стала ухаживать за мною, как за родным [172] братом; целые дни просиживала она над моим изголовьем, отгоняя концом своих рукавов мух от меня и ловя на лету мои желания; ее карие глазки заменяли мне все лекарства; от взгляда их утихала боль. Я становился просто ребенком... Душная сакля, в которой я лежал, чем дальше, тем сильнее привязывала меня к себе...

Через четыре месяца я встал с постели, и, совестно сказать, но делать нечего, договорю — женился на сестре моего друга. Как случилось, право, не могу тебе объяснить; до сих пор еще и не растолковал себе этого. Знаю только, что в этом случае я поступил как будто не в полном своем уме. Год я прожил очень спокойно; обзавелся кое-каким хозяйством и начал походить на других людей. Но все это мне наскучило, Я стал убеждаться, что взялся не за свое дело. Дни мои тянулись вяло... Я сам заметно киснул и дряхлел. Дошло мало-помалу до того, что я возненавидел свое положение и ничем уже не был доволен. Я кое-как свалил с плеч непривычную обузу и стал по-прежнему одиночным скитальцем...

И с тех пор вот уже прошло три года, как я слоняюсь из угла в угол, не имея ни постоянного жительства и никакой ясной щели. Не осталось в стране адыгов такого места, где б не ступила нога моя, да едва ли найдется хоть один сколько-нибудь известный человек между кабардинцами, ногойцами, абазинцами и карачайцами, который бы не знал меня, и которого, в свою очередь, я не высмотрел бы с ног до головы. Не мало между ними встречал я хороших мужей, истинных уорков 24, которые предлагали мне у себя и постоянный угол, и кусок хлеба без косого взгляда. И не вина их, если я нигде не уживался. Так уж верно суждено мне не знать никогда покоя! Но этим еще не кончаются мои похождения. Еще раз имел я случай столкнуться с ханцовцами. Как-то я узнал от одного пленного абадзеха, что после погрома ханцовцы, ушедшие от смерти и плена, то бегством, то разными необыкновенными случаями в числе ста душ поселились в ближнем ауле; это б еще ничего, но между ними находились предатель моего брата Джамгурчи и злейший враг наш, Баракай. Оказалось, что ранивший меня в ночь погрома был не кто иной, как тот же предатель Джамгурчи. В пылу битвы он догадался, кто виновник неожиданного посещения русских, и тот же час оставил ряды сражавшихся, чтобы найти меня и кровью моей омыть всеобщее бедствие. Как только услышал я это, во мне снова проснулось прежнее беспокойство. Дело мое еще не совсем окончено, подумал я, шататься праздно не годится. Имя ханцовцев уже не существовало, но те, которые прежде других должны были погибнуть, те еще живы, их грело солнце, уста их не переставали улыбаться. Думал я не долго. Собрал пять отборных молодцов из праздной молодежи, не дававшей мне покою вечными просьбами вести ее куда-нибудь за [173] добычей, и без шума отправился в дорогу. Я запасся на дорогу письменным видом от знакомого лабинского начальника, под предлогом разузнания абадзехских дел. Билет этот был необходим по двум причинам; он отклонял от меня всякое подозрение в дружеских сношениях с абадзехами, да кроме того, с ним мы могли прямо, не делая лишних обходов

мимо русских крепостей, добраться до цели. Так и сделали. Прибыли в тот самый лес, где некогда имела притон наша шайка. Оставив товарищей в лесу, я пешком побрел в глухую полночь в аул, перелез через плетень, и остановился в раздумьи перед ближайшей к воротам саклей: Решившись на отчаянное средство, я стукнул в ставни окна. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Гость, ищущий ночлега», — отвечал я, и отойдя от окна, вынул кинжал на всякий случай и скрыл под буркой. Скоро растворилась дверь и предо мной явился человек среднего роста, широкоплечий, в незастегнутом бешмете, с пистолетом в руке.

— Милости просим, вот моя кунацкая, — сказал он, указывая рукой на соседнюю саклю и готовясь повести меня туда.

— Благодарю, — отвечал я, — у меня есть здесь приятель, да, к сожалению, я не знаю его сакли, так как он недавно перешел сюда.

— Как его зовут?

— Джамгурчи, если изволишь знать.

— Как не знать! Он мой сосед. Вот, вот его сакля. Видишь? Я заприметил саклю.

— А не знаешь, дома ли он?

— Дома. Он был у меня поздно вечером.

Я сделал несколько шагов по направлению к сакле Джамгурчи.

— Да где же твоя лошадь, или ты пешком? — спросил он. Вопрос озадачил меня неожиданностью.

— Что ты говоришь? — спросил я в свою очередь, притворившись неслышащим, а между тем обдумывал, что сказать.

— Лошадь твоя! — крикнул хозяин, воображая, верно, меня глухим. Он крикнул так громко, что спавшие псы проснулись и подняли гвалт, и ставни, в которые я стучал за минуту перед тем, с шумом раскрылись.

— Лошадь мою спрашиваешь? — повторил я

— Да.

— Я ее оставил у ворот. Вот как разбужу Джамгурчи, отворим ворота и введем ее. Да вот было позабыл... у меня есть еще здесь другой приятель, Баракай. Нельзя ли уж зараз узнать и его дом?

Услужливый хозяин показал и жилище Баракаея, прибавив, что и он сидит дома. Я поблагодарил его и быстро [174] направился к сакле Джамгурчи; но едва недавний собеседник мой вошел в саклю, разговаривая с какой-то женщиной, вероятно, своей женой, и громко захлопнул за собой дверь, я переменил направление, перепрыгнул обратно через плетень и поспешил к своим товарищам. Они ждали меня совсем готовые. Может, не более как через два часа мы покончили свое дело; вывели из конюшни Джамгурчи двух коней, оставив в ней одного; из Баракаевой же-одного коня, а другого

тоже оставили. Выезжая с шумом со двора, я подъехал к окну Джамгурчи и, сильно ударив в него плетью», крикнул: «Эй, хозяин! Ты спишь, а конюшня твоя взломана, и кони выведены. Покинь теплую постель, если ты муж с усами, а не баба с волосами». То же сказали и Баракаю. Затем мы тронулись шагом по арбяной дороге. Ночь стояла довольно ясная; предметы различались далеко; тем не менее я опасался, чтобы преследователи не сбились как-нибудь с нашего следа и не направились в другую сторону. В предотвращение этого я приказал двум товарищам вести лошадей пока не торопясь, а чуть завидится погоня, пуститься вскачь. Я же с остальными товарищами своротил с дороги и спрятался в бурьяне. Я не обманулся в расчете. Скоро послышался топот лошадиных ног; не遠далеке от нас, на холме, показался всадник. Он покружился раз десять на одном месте; размахивая шашкой, и потом вновь опять пустился с холма. Вслед за ним выскочил из-за холма и другой всадник. Оба в ряд вихрем пронесли мимо нас, говоря что-то между собой. Мы тотчас выехали из своей засады и отняли у них всякую возможность обратиться в бегство. Преследователи обернулись к нам лицом и стали посреди дороги точно столбы. Оба придерживали приклад своих винтовок, готовые при первом движении выхватить их из чехла. Когда мы подъехали к ним шагов на десять, оба в один голос крикнули: «стой, ни шагу дальше!» Но мы продолжали ехать и окружили их с трех сторон. «Кто вы и зачем здесь?» — вскричал один взволнованным голосом. В нем я узнал Джамгурчи. Дело было решено. Натянув сильно повод, я что было мочи ударил своего коня, а конь подо мною на ту пору был такой, какого не сыскать на всей Кубани, тигр — не конь; рванулся он так, что искры посыпались из моих глаз... Два львиных прыжка, и я очутился под носом Джамгурчи, который стоял неподвижно, не скажу от страха — греха зачем брать на себя, — а скорее от удивления. Еще раз свернулся клубком мой тигр, фыркнул и, налетев на врага, ударил его широкой грудью. Удар пришелся как нельзя вернее, как раз в бок. Лошадь Джамгурчи отлетела, как пух, шагов на десять и с тяжелым стоном повалилась наземь. Но всадник, ловко, соскочив с нее, остался на ногах и, прежде чем успел я выхватить шашку, выстрелил из винтовки. Пуля прошла под левой моей рукой, захватив часть газырей. Испуганная лошадь взвилась подо [175] мной и шарахнулась назад. Джамгурчи сделал несколько шагов вперед и в упор выстрелил в меня из пистолета. Я упал с лошади, но вмиг поднялся снова. В эту минуту товарищи прицелились в Джамгурчи. Я крикнул, и все они разом опустили винтовки. «Теперь очередь моя!» — сказал я Джамгурчи и медленно подошел к нему, ударил его шашкой в то самое место, где шея сходится с правым плечом. Джамгурчи пошатнулся, дернул за рукоять своей шашки, но руки его опустились — и он тихо присел. «Я это знал...» — прошептал он едва внятно. Я приставил дуло пистолета к его лбу, и он принял горячий свинец не моргнув даже глазом... Обернувшись, я увидел труп подлого труса Барака, который ни в коем случае не должен бы лежать подле храброго Джамгурчи. Мы взяли лошадей и оружие убитых, не тронув их одежды, и поехали в обратный путь. Только на отдыхе почувствовал я маленькую боль в правом боку — то был след второй пули Джамгурчи. Она прожгла небольшую черту, коснувшись слегка двух ребер. Так кончилась вражда наша с ханцовцами. Отомстил ли я за смерть Харакета и Измаила, и смыл ли грязь, брошенную в лицо нашему роду, — суди сам. Теперь, кажется, не осталось у меня ни одного кровного врага... Да, я и забыл совсем о кабардинских врагах отца. До сих пор еще они не забыли о мести. Я не раз уже сталкивался с ними. Что будет, то будет. Не мне их искать, а им меня. Одно верно, что при встрече с ними я не сворочу с дороги. Чье счастье возьмет верх — знает один бог. Но шепну тебе в заключение, что сердце подсказывает, сердце с некоторого времени твердит постоянно, что пора мне наконец успокоиться.

Комментарии

18. Абадзехи — одно из самых многочисленных адыгских племен, селившееся в Кавказских горах от бассейна р. Афипс до бассейна р. Лабы. Граничили на западе с шапсугами, на

севере с бжедугами, хатукайцами и темиргоевцами, на востоке с мамхеговцами, на юго-западе с убыхами. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957, с. 150.)

19. Шарьят (шариат) — свод религиозных и бытовых правил мусульман.

20. Махоиши — адыгское племя, занимавшее территорию на западе до земли абадзехов по течению р. Фарс, на востоке по левому берегу р. Лабы. Граничили на западе, юге и востоке с егерухаевцами, мамхеговцами, бесланеевцами, на севере с ногайцами. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957, с. 152.)

21. Азраил (Хазраил) — вестник смерти в мусульманской мифологии.

22. Убыхи — горское племя, имеющее много общего как с адыгами, так и с абхазами. Занимали территорию, расположенную на Черноморском побережье между реками Хостой и Шахэ. На юго-востоке граничили с абхазскими племенами (джигеты, ахчипсоу), на северо-западе с шапсугами, на севере с абадзехами. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957, с. 155.)

23. Мекка — главный религиозный центр ислама и паломничества мусульман; находится в провинции Хиджас Саудовской Аравии.

24. Уорк — дворянин. В обязанности уорка входила военная служба во время княжеских походов.

НА ХОЛМЕ

(Из записок черкеса)

(Приписка издателя)

Невдалеке от ворот нашего аула, против окна моей кунацкой, возвышается небольшой холмик, с плоской макушкой и не совсем покатыми боками. Сам по себе он ничем не отличается от других холмиков, которыми усеяна почти вся окрестность; напротив, гладкая поверхность его неприятно поражает взор. Среди самого разгара лета, когда все кругом так весело улыбается, когда собратья этого холмика, находящиеся подальше от аула, одеты снизу доверху в богатые наряды, на нем не увидишь ни травки. Стоит он одиноко, печально, словно факир среди веселой разряженной толпы. Полуденное солнце прожигает насквозь его лысую макушку. Зато ни один из его собратьев не пользуется и тысячной долей того почета, каким пользуется он в известном классе населения аула. Важное значение его в жизни аула оказывается в ту пору дня, когда солнце, дотащившись с трудом до верхней точки своей высоты, пускается потом вдруг изо всей мочи улепетывать на запад, увлекая за собой целое море нестерпимо-удушливого зноя. Этот момент на моих часах обозначается так: солнечный луч, являющийся утром тоненькой полоской на пороге моей кунацкой достигает тогда третьей вешалки на стене, считая от дверей. В эту же пору по-настоящему следовало бы нашему мулле прокричать свой азан 25, но он остается безмолвным к великой досаде набожных старушек, которые выжидают его появления на ступеньках минарета, как манны небесной. Тогда-то начинают показываться у ворот, одна за другой, расслабленные от действия зноя, а еще более от продолжительного послеобеденного сна фигуры людей. Пред ними с ленивой важностью, как-то нехотя, выступают тощие волы с потертыми шеями, густо вымазанными растопленным курдючным салом для предохранения от назойливых мух. Они то и дело останавливаются, уныло вытянув головы, свертываются потом наподобие кренделя, причем несколько приподнимают одну из задних ног и, почесав заботливо концом своих рогов у себя под, брюхом, продолжают путь. Несчастные животные, кажется, не, могут никак отделаться от неприятного воспоминания о недавней [177] прогулке в лес, когда ленивый хозяин, наполнив свою арбу на скорую руку гнилыми дровами, вырванными года два назад сильной бурей, гнал их домой из всех сил, чтобы скорее избежать полуденного

припека. Проводив волов за ворота каменьями и комками отвердевшей грязи, сами хозяева по старой привычке садятся на холмике для того, как говорят они, чтобы проветрить глаза. А холмик как будто нарочно создан для проветривания заспанных глаз. С него можно видеть, что делается далеко кругом, можно заглянуть во внутренность каждого двора в ауле. Вон там, на конце аула, приятель, сбросив шапку с гладковыбритой головы, с засученными рукавами, разгребает лопатой накопленную в продолжение целого года кучу навоза. Вон ближе промелькнула белая чадра и мигом исчезла позади сакли. Из конюшен выводят лошадей на водопой. Женщины попарно и в одиночку возвращаются с реки, кокетливо сгибаясь под тяжестью полных котлов и ведер, прицепленных к концам длинных коромысел. Наконец, под самым холмом идет большая проезжая дорога, по которой снуют непрерывно направо и налево конные, пешие и арбы. Скачет по ней нарочный казак с кучей цедулков за пазухой в ближайший пост; посадка его и болтающаяся на спине винтовка, конец которой высовывается из ветхого прорванного чехла, вызывает на холме насмешки и критические замечания. Едет кучка казаков из станицы занять на ночь переправу немного выше аула. Говорят и поют они так громко, что собаки поднимают гвалт по всему аулу. На холме разбирают и этих всадников по ниточке. Находят в них что-то очень похожее на те фигуры, которые караульщик овец ставит вокруг плетневой изгороди для устрашения волков, а пузатые лошади, запачканные всякой дрянью, собеседникам напоминают коров. Смеются они и над уздечками, осыпанными множеством медных пуговок — верх безвкусицы, по мнению черкеса, — и над мешками, которые торчат позади седел, набитых сухарями. Как бы в противоположность этой кучке всадников показывается за ней другая, в которой что ни всадник, то картина. Кони красиво изгибаются под ним, играют уздечками, так, кажется, и норовят проскочить в игольное ушко. Шерсть на них блестит, как стекло, выступают они, словно лебеди. Сами всадники — олицетворенная грация и легкость. Разговаривают они тихо, с достоинством, сидящие на холме издали еще узнают в них адыгов, и при их приближении почтительно встают, а те с своей стороны приветствуют их обычным селяммом. Тащится, наконец, и несчастный салдуз 26 с двенадцатифунтовым ружьем на плече, да с походной амуницией за спиной. Широкие шаги, не уступающие иной лошади, повергают в немалое изумление заседателей холма. Из аула также хорошо видно все происходящее на холме. Мужчины узнают на нем издали своих друзей, с которыми есть о чем [178] потолковать. Там же каждый вечер можно встретиться с нужным человеком, которого иной раз не застанешь дома в продолжение целой недели. Женщины, сидя за работой у растворенных окон, ежеминутно поглядывают на холм. И должно полагать, немало разнообразных помышлений, горьких и сладостных, тайных и явных, зарождается и волнуется в их груди от этого наблюдения. Под навесом камышовой крыши, защищенные со всех сторон плетнями от нескромных взглядов мужчин, составляются женские кружки, в которых кроме обычных сплетен и пересудов за счет отсутствующих соседок, производится также самая тонкая оценка каждому из заседателей холма. Мало того: всякий вопрос, затронутый на холме, благодаря необыкновенно громким голосам беседующих, долетает до чуткого слуха женской компании и возбуждает в ней не менее жаркие прения, доходящие нередко и до ногтей. Из всего этого понятно, какую важную роль должен играть холмик, несмотря на обидную его наготу, особенно в душистые летние вечера, когда воздух пропитан благоуханием, когда теплые лучи уходящего за горы солнца нежно ласкают изнуренную землю. Со всех концов аула стекаются жители к заветному холму, одни затем, чтоб участвовать в обсуждении разных насущных вопросов, высказать пред народом свои мысли и предположения, другие послушать, как будут говорить бойкие языки, и, наконец, большая часть без всякой определенной цели, а так, ради препровождения скучного времени. Я сам с большим вниманием слежу каждый вечер за шумным сборищем и с любопытством прислушиваюсь к его говору. Но пойти туда я не решался до тех пор, пока не подговорил меня на это известный всему аулу фильсуф (Философ) Сольман, по прозванию «глубокоумный».

Как человек, занятый преимущественно разного рода доморощенными метафизическими хитросплетениями, Сольман, с самого начала появления моего в ауле, начал ходить ко мне. Впрочем, не меня одного удостаивает он подобной чести. По всему аулу отыскивает он чуть не со свечой людей, способных вступать с ним в словопрения. Это составляет главное занятие и конечную цель его существования. Любопытству его решительно нет границ. Нет, кажется, на свете никакой безделицы, которой бы он не хотел знать в мельчайших подробностях. И это происходит у него не от желания показать себя, а скорее по требованию самой его природы. Иначе трудно было бы и понять его постоянную любовь к рассуждениям, которую не в состоянии охладить ни злые насмешки окружающих, ни многочисленные неудачи, проистекающие из нее в домашнем и общественном быту. По теории бесплодная игра в слова — не в почете у черкесов; но на практике всякий более [179] или менее бывает ей подвержен. Говорить красно, и бойко, по их мнению, хорошо тогда только, когда это ведет к положительной цели. Сольман же поборник искусства для искусства. Слова его имеют еще тень смысла и подогреты некоторой теплотой, когда он говорит, не имея в виду что-либо утверждать или отрицать. Но чуть коснется он дела, хотя бы самого не мудреного и не головоломного, он уже никуда не годится. В таких случаях его оставляет даже врожденная способность находить легко слова и обороты. Он спотыкается на каждом звуке, мямлит нестерпимо и в отчаянии ломает себе руки. Те, которые подметили в нем эту странность, употребляют его с большим успехом в такого рода поручениях и переговорах, где нужно говорить, не высказывая ничего. К числу таких дел относятся, например, переговоры о платеже долга, или уклончивые ответы какого-нибудь джигита на вежливые напоминания соскучившегося долгим ожиданием гостя о том, что пора бы, наконец, отпустить его с обещанной лошастью или хоть без нее. И должник, и ловкий джигит, что в сущности одно и то же, естественно, должны избегать всеми силами положительного результата своих переговоров.

При довольно частых посещениях моей кунацкой, Сольман обращает особенное внимание на мои книги. «Ах, как бы желал я знать все, что в них написано!» — восклицает он каждый раз, вертя и перелистывая всякую книгу по очереди. Наученный прошлым уроками, сначала я мало доверял искренности подобного желания, и потому пропускал его мимо ушей. Но мало-помалу я убедился, что Сольман никогда не высказывает того, чего не чувствует. Трудно отыскать человека более прямодушного в этом отношении. Раз он с особенной настойчивостью пристал ко мне: «Прочти что-нибудь, ради души отца твоего, — упрасивал он. — Покажи нам, как и что пишут русские в своих книгах. Ведь это ничего тебе не стоит». Я развернул басни Крылова и перевел, как мог, первую попавшуюся страницу: то была басня «Медведь и Пустынник». Сольман слушал с напряженным вниманием, боясь проронить слово. Он то поднимал глаза на меня, то опять опускал их вниз, раскачивал голову направо и налево, сжимал губы, прикладывал поминутно к ним пальцы правой руки, как бы крепче удерживая тем все слышанное, вообще обнаруживал сильное беспокойство, и с тем вместе удовольствие человека, пред которым вдруг яснее раскрывается давно знакомая мысль. Я нарочно опустил моральную сентенцию басни, желая испытать, понял ли что-нибудь мой слушатель. «Эка, дурак какой! — сказал Сольман, когда я кончил — вздумал же с кем подружиться! И поделом безмозглому! Молодец медведь!» С тех пор Сольман стал одним из усерднейших посетителей моей кунацкой. Он заметно пристрастился к «потешным русским сказкам, в которых, однако, [180] говорится дело», и не без гордости рассказывает и до сих пор встречаемым и поперечным про глупого человека и умного медведя. Постепенно я перевел ему чуть ли не всего Крылова.

Неутомимые рассказы Сольмана о разных неслыханных чудесах, о говорящих камнях и

тому подобном, соблазнили многих жителей нашего аула. Ко мне нередко заходит целая гурьба весьма почтенных людей послушать из первоначального источника то, что сообщил им Сольман. Вместе с ними, приходит и сам Сольман, который поясняет и рельефнее укладывает в рамки черкесского языка мой не совсем удачный перевод. Слушатели мои остаются очень довольны, хотя внутренне не одобряют многих вещей из того, что я передаю им. Они уже не так горячо оспаривают каждое мое слово, как бывало прежде, потому что начали хоть сколько-нибудь уважать меня. С своей стороны, и я научился избегать всего, что может задеть моих собеседников за живое. Да и к чему это? Довольно, кажется, с меня и прежних ошибок: не все же идти по одной колее, особенно если эта колея оказывается ложной. Пока я верил крепко в правоту своих убеждений, я бился за них насмерть... Но ведь теперь они разрушены, эти когда-то милые убеждения. Так неужели из-за них отравлять мне всю жизнь? Нет, пора одуматься. Теперь я похож на того пилигри-люди, но не видел ничего приветливее и милее моей хижины». То же самое случилось и со мной. Я вырос и провел большую половину жизни среди образованного общества, с которым сроднился и душой, и телом. Мне казалось, что я нераздельный, родственник его член... но то было продолжительное заблуждение, из которого нужно было выйти посредством целого ряда тягостных ма 27, который исходил весь мир, ища лучшей страны и лучших людей, и вернулся наконец в свою убогую хижину, с грустным разочарованием в душе. «Я видел цветущие города, — говорит он, — я видел мраморные палаты, где блаженствуют довольные разочарований и болезненных потрясений. Конечно, нелегко расстаться со старыми мечтами, с утвердившимися идеалами: но стоит раз прикоснуться к ним с недоверием, и они неудержимо распадаются сами собой. Да, я был в гостях в таком доме, где хозяева встречали меня с радушием и сердечной теплотой, где вся обстановка обольщала своей уютностью и тысячами удобств. В нем я забылся и вообразил себя хозяином. Когда же я проснулся и оглянулся внимательнее кругом себя, то увидел, что и хозяева как будто переменялись, и обстановка потеряла половину своей цены. Одним словом, как будто все окружающее меня заговорило в один голос: «в гостях хорошо, а дома лучше». Тут я вспомнил одного моего приятеля, такого же обрусевшего черкеса, как и я, который часто говаривал: «мы, брат, все живем двойной жизнью. В России на лбах наших опытный глаз прочтет [181] черкесскую вывеску. Между своими мы кажемся более русскими, чем адыгами». Я с жаром опровергал такую ложную, по моему мнению, мысль и доказывал, что я, по крайней мере, живу действительно жизнью, жизнью образованного европейца, и что на лбу моем ни один френолог в мире не прочтет ничего отличного от европейских лбов. Теперь я вижу, что приятель мой был прав. Он раньше меня начал вглядываться в себя, раньше почувствовал под ногами зыбкость почвы, на которой мы оба тогда стояли. Величайшее несчастье и ослепление мое состояло в том, что я, будучи в душе черкесом и оставаясь им во все поры жизни, на каждом шагу не мог себе в этом дать отчета. Непонятно, а действительно так. Обвинять ли после этого моих братьев в том, что они упорно продолжают видеть во мне своего отпавшего члена. Из всего прошлого я вынес по крайней мере одно убеждение, — и оно, кажется, не рушится подобно прежним, — что образование отнюдь не должно отчуждать человека от его родного круга, как бы низко не стоял этот круг; напротив, оно необходимо должно вести к самому тесному сближению с ним. Мало-мальски образованный черкес должен быть и есть на самом деле во сто крат более черкес, чем простой брат его. Вот простая разгадка того, почему так грустно окончилась моя карьера в России, не оправдав ни одной моей надежды.

Вчера вечером сидел я, по обыкновению, у окна своей кунацкой и смотрел на холмик. Впрочем, на этот раз мысли мои были очень далеко от заседателей холма. Они ни с того, ни с сего перелетели через голову шутивого кружка в непроглядную даль прошедшего. Предо мной промелькнуло несколько непрощенных, но дорогих образов, от которых сердце болезненно сжалось... Вдруг легкий шорох у дверей спугнул рой моих видений. «Спишь,

что ли?» — произнес знакомый голос Сольмана, тихо вошедшего в саклю. «Разве можно спать сидя», — отвечал я. «Как еще можно! Лучше, чем в постели. Не случалось разве тебе в ночные поездки думать на лошади?» Ничего не ответив, я встал и начал прохаживаться взад и вперед по сакле. Сольман молча уселся без приглашения по праву старого приятеля у очага на конце толстого обгорелого полена и, по своему обыкновению, принял вид глубокого размышления. Наше молчание тянулось довольно долго. Я все еще продолжал ходить, не чувствуя особенного расположения заводить речь с важным гостем. «Ты, должно быть, очень верный слуга великого князя?» (Русского государя черкесы называют великим князем), — спросил он вдруг. «Из чего ты это видишь?» — спросил и я в свою очередь, не поняв, что он хотел сказать своим вопросом. «Как же! Ведь ходя по сакле, без всякой цели, ты этим самым служишь великому князю!» Я не мог [182] удержаться от смеха. «Кто тебе сказал, что это служба? Хожу я просто от скуки, от нечего делать». — «Рассказывай! Будто уж я ничего не смыслю, — произнес Сольман, видимо, обиженный, — зачем же в таком случае часовой в крепости с утра до вечера ходит перед домом начальника?» — «Затем, что ему скучно все время стоять на одном месте». — «Вот и нашли лекарство против скуки: смотри, пожалуйста! Хорошо, нечего сказать! Значит, ты и теперь скучаешь, что пылишь напрасно свою кунацкую?» — «Да» — «Так я посоветую тебе лекарство лучше твоего: пойдем вон туда! — он указал на холмик — Народу там сегодня очень много. Может, тебе веселее станет, как послушаешь разных толков». Я было отнекивался, но красноречие Сольмана восторжествовало над моей нерешительностью. Мы пошли. Спутник мой выступал чрезвычайно сановито, заложив руки за спину, задирая высоко голову, кашлял с великим шумом, бросая далеко в стороны плевки; одним словом, начал выказывать такие замашки, которых я никогда прежде не замечал в нем, и которые вовсе не шли к его степенной особе. Я дивился и решительно не знал, чему приписать такую странную перемену.

Я подозреваю, что глубокоумный приятель мой немножко соблазнился тем, что ему первому удалось вытащить меня к заседателям холма, и захотел поважничать пред своими знакомыми: «посмотрите, мол, в какой короткой дружбе нахожусь я с этим человеком!» А человек я, по его мнению, довольно важный в сфере нашего аула.

Когда мы подошли к кружку, Сольман произнес ему «селям», а вслед за ним и я. «Алейкум селям!» — дружно отвечали заседатели холма, поднимаясь в такт. К счастью, я не заметил на их лицах того неласкового выражения, которое повсюду преследовало меня прежде в периодические появления мои в родном краю. Кажется, взгляд их на мою особу изменился к лучшему, особенно с тех пор, как я стал оседлым жителем аула. «Садись», — сказали старейшие, расчищая для меня место в кругу. Я, разумеется, не заставил их долго упрашивать себя и присел на указанное место. Сольман мой тотчас подцепил за полы какого-то приятеля и вытащил его почти насильно из круга, вероятно, для уединенной философской беседы. Более пожилые люди разместились также по своим местам. Люди же средних лет усаживались не вдруг, а после некоторого стояния. Остались на ногах лишь молодые парни, лет двадцати и более. Гордо опершись руками в бока, они образовали вокруг старших род почетной стражи. Поодаль от холма шумела тесная кучка мальчишек, боровшихся по очереди. Два, три человека взрослых наблюдали за ними в качестве секундантов. Поваленный мальчик, со слезами досады на глазах, громко протестовал против несоблюдения противником всех правил [183] борьбы и, вцепившись крепко руками в одежду победителя, требовал возобновления состязания. «Он меня под мышки схватил... я не думал, что он это сделает... Пусть-ка теперь попробует свалить, так посмотрим, чья возьмет!» — кричал он задыхаясь. «Зачем ты дался под мышки, — говорил победитель более хладнокровно. — Не зевай другой раз!» Говоря это, победитель, однако, старался освободиться из рук своего упорного противника с явным желанием не подвергать свою репутацию вторичному испытанию. Тут вмешивались в

дело секунданты и решали спор, беспристрастно взвесив доводы обеих сторон. Между тем как борцы обращали на себя внимание всех, какой-нибудь резвый шалун срывал с головы зазевавшегося соседа старую дырявую шапку и гнал ее в степь, подбрасывая ногой высоко вверх (удовольствие, которого никак не пойму, хотя в молодости, помню, я сам забавлялся этой игрой). Хозяин папахи стремительно кидается за ним. Вот он догнал шалуна, торопливо протягивает руки, хочет схватить его за полу — не тут-то было. Шалун ловко вывернулся и боковым ударом отшвырнул папаху далеко в сторону. Преследователь, споткнувшись второпях о муравейник, падает ничком на траву. Веселые ребята хохочут от души над его неловкостью, а папаху подхватывает в толчки новый джигит. Первый похититель старается отбить у него свою законную добычу, между тем как несчастный хозяин папахи, пристыженный насмешками товарищей, ускоряет свой бег, желая скорее загладить стыд. Слезы подступают к его горлу, душат его, но он сдерживает их неимоверными усилиями. А он мог бы очень легко избежать всех этих неприятностей. Стоило бы только не бежать с самого начала за похитителем, и ему тотчас же возвратили бы папаху. Но это значило бы добровольно отказаться от участия в играх сверстников, получить оскорбительное для всякого мальчика прозвище старичка и, что важнее всего, значило бы навсегда лишиться самого себя удовольствия сорвать папаху с чужой головы. Такое же правило соблюдается и между молодыми наездниками. Они не стреляют на скаку в шапку того из своих членов, который не поскачет за нею и не захочет, в свою очередь, пользоваться правом сбивать шапки с других. Значит, как там, так и здесь не стесняется ничья свобода. Кто не любит саночки возить, тому не дают и на саночках кататься. Другая шайка отчаянных ребят с гиком нападает на молодых телят, мирно отдыхающих на мягкой траве, ловят их за хвосты, садятся на них верхом. «Вот я вас! — прикрикивает на них один из толпы, грозно размахивая толстой палкой, — всем журавлиные голени перебью». «Чума побери вас всех, свиньи дети!» — сердито добавляет другой, бросив в них довольно объемистым камнем. Мальчишки со смехом бегут дальше в степь, а испуганные телята робко сбиваются в кучку, как бы спрашивая друг друга о случившемся. Недалеко от [184] них жадно щиплет траву только что стреноженный конь. Горячий пот не высох еще на его спине; следы подпруг змеятся по бокам. Хозяин его, присев на корточки, внимательно смотрит ему под брюхо, заходит к нему спереди, нагибается; потом заходит сзади, опять наклоняется и всматривается. Удостоверившись, наконец, что все обстоит благополучно, что нет ни шишки, ни царапины, он плюет несколько раз в сторону будто ненарочно, а на самом деле, чтобы не сглазить как-нибудь своего коня, который для него дороже всех заседателей холма, взятых вместе. На прощанье он заботливо трет рукавом своей черкески не совсем гладкую спину коня и слегка хлопает по ней ладонью. А конь с неудовольствием отмахивается от него куцым хвостом, как бы говоря: «Поди ты прочь с своими нежностями! Довольно, что целый день сидел на мне, а теперь не мешай мне есть». И в подтверждение того, что ему очень сильно хотелось кушать, он с новой, яростью принялся забирать в рот все, что попадалось, не разбирая ни камешков, ни всякого рода дряни. Хозяин, однако, еще раз пригнулся, посмотрел, и гордой поступью двинулся к воротам, позванивая своей недавно выкрашенной уздечкой. Он не удостоил заседателей холма даже взглядом. «Бьюсь с кем угодно об заклад, что этот молодец ездил в станицу посмотреть — есть ли на базаре огурцы», — заметил кто-то из толпы, указывая на спесивого джигита. «Совсем без дела замучил лошадь, — прибавил другой, — какая славная была, когда он ее купил, а теперь смотрите — кожа да кости». «Да что прикажешь ему делать, как не торчать с утра до вечера на своей кляче, — заключил третий. — Он дворянский юноша, славы ищет, хочет людей посмотреть и себя показать. Не сидеть же ему как мы, в золе очага».

Заседатели холма, состоящие исключительно из людей работающих, из крестьян и тех обедневших дворян, которым судьба всучила в руки лопату и топор... из людей, следовательно, более положительных, питают неодолимое отвращение к сословию

праздных, занятых одними лошадьми и оружием дворян. И это весьма понятно. У заседателей холма свои особенные наклонности, свой образ мыслей, свой взгляд на вещи, свои идеалы, прямо противоположные стремлениям, воззрениям и идеалам кунацкой. Это особенный мирок, мало в чем похожий на прочие классы аульного населения. Даже наружность холмовников отличается каким-то отпечатком: у них широкие плечи, короткие толстые шеи, ручищи, похожие на медвежьи лапы, крупные черты лица... О наряде нечего и говорить. Холмовники носят на ногах чувяки или, точнее сказать, что-то похожее на русские лапти из сыромятной кожи вверх шерстью. Черкески у них, правда, бывают почти всегда новые или, по крайней мере, целые, но такого странного покроя, что мешковато облегают их дюжие туловища. [185] Газырей в патронниках всегда неполный комплект; обыкновенно торчат в них штуки две или три, без пороха и пуль, даже без тряпичных затычек, в остальные дыры патронников втыкаются палочки из соснового дерева, которые зажигаются при нужде хозяевами вместо свечек.

Конечно, нетрудно объяснить, почему на холме встречается более целых черкесок, нежели в кунацких; причина очень простая. Холмовники не меняются никогда платьями, как это водится между дворянами. Жены шьют на них черкески примерно года на три, на четыре, — и боже сохрани, износить черкеску раньше этого срока! Потому мужья весьма бережливы, и надевают их только в торжественные случаи; в будни же ходят в одних бешметах... Старики вместо кинжалов привешивают к поясу ножи в красных сафьяновых чехлах. Холмовники — единственное сословие в нашем ауле, которое осмеливается не признавать разных тонкостей этикета, и даже позволяет себе довольно непочтительно отзываться о нем. Они терпеть не могут тесного платья, которое бы хоть сколько-нибудь сдавливало их члены; потому между ними изгнаны из употребления пуговицы, а у некоторых даже и пояса. Это обличает в них отсутствие всякого желания сообщить своим фигурам стройность и красоту... Члены этого сословия ездят на арбах, возятся преимущественно с быками, отчего слышится от них запах скотины; но в то же время они довольно крепко держатся в седле, только их посадка тотчас изобличает, что спина лошади не им предназначена. Вообще аллах не дал им умения придавать каждому своему движению грацию, а одежде изящество. Говорю это, разумеется, сравнительно только с черкесским дворянством. Пред подобными же им людьми у других народов, например, хоть перед русскими мужиками, даже мещанами, холмовники наши — джентльмены хоть куда. Нрав имеют они весьма суровый, не общительный, обдающий холодом всякого, кто подступает к ним из другой сферы. Они не словоохотливы и угрюмы, но если заговорят, то из уст их исходят слова, отравленные самой ядовитой желчью. Едкий сарказм их обладает необычайной силой задевать за самые живые струны человеческой души: шутка их просто невыносима; она проникает до мозга костей.

Самая покорность и молчание дышат неумолимой критикой против тех, кому они покоряются и пред кем молчат. Подумаешь, что покорны они лишь из милости, а молчат потому, что не устаивают ответа. Они не заискивают ничьего расположения, ничьей благосклонности, даже своих господ, от которых зависит их жизнь, напротив, они всеми силами стараются выказать явное невнимание и самое убийственное равнодушие и к ласкам, и к угрозам. Вся желчная ирония их языка направлена исключительно на сословие, обитающее в кунацкой; на него они смотрят с [186] пренебрежением, как на что-то весьма негодное и непрочное, чье существование находится в их мозолистых руках. И — странное явление! — при всем этом оба сословия, по-видимому, столь враждебные друг к другу, редко сталкиваются неприязненно. Взаимные насмешки, кажется, совсем не мешают почти родственным их отношениям. Как ни строго судит крестьянин своего господина наедине и при людях, однако он никогда не позволит при себе постороннему лицу произнести о нем мало-мальски оскорбительное замечание: тут он вступает за него, защищая честь его. В этом случае он руководствуется не столько

личною привязанностью к господину, сколько сознанием семейного родства, связывающего его с ним. Только одного не сделает он ни за что в мире: не выкажет никогда своего усердия пред господином, не обнаружит своей любви к нему, если б он и чувствовал ее: это он считает совершенно излишним; напротив, он так и норовит подъехать к: нему худой своей стороной, чтоб огорчить и раздосадовать его. Это, кажется, происходит оттого, что он смотрит на своего господина несколько покровительственным взглядом, как на человека, зависящего от него в материальном отношении. В природе холмовника нет ни малейшего признака раболепства. Он также свободно говорит с своим господином, как и с ровней, и никогда не позволит ему возложить десницу на свою физиономию (впрочем, это унижительное проявление гнева неизвестно еще между адыгами). Он не терпит также разных кличек, вроде: «эй, человек, эй, чурбан!», и откликается только на свое настоящее имя. Между тем господин имеет полное право, когда вздумается, выхватить свой кинжал и всадить его в грудь дерзкого холопа: никто не потребует за это отчета. Если б я родился рабом, то не колеблясь предпочел бы этот способ расправы систематическому попиранию ногами моего человеческого достоинства, хотя бы оно сопровождалось громким титулом уважения к личности и тому подобными, выпренными словами, которым суждено, кажется, вечно оставаться лишь на языке, не обуздывая рук и не проникая в души. По крайней мере, в жизни своей я видел много примеров подобного противоречия между словом и делом. Я сам, несмотря на то, что дышал довольно долго европейским воздухом, следовательно, нахватал бездну гуманных идей, научился истинному уважению-человека только здесь, в ауле. Когда говорю со своими крестьянами, я беру обыкновенно тоном ниже против того, как говорил, живя в России, со своим денщиком.

— А вот Волк так молодец! — воскликнул один из заседателей холма. — Не то что джигит, что ездит высматривать огурцы! Посмотрите, сколько дров навалил он в арбу — шапка с головы слетит!

Это восклицание относилось к арбе, которая с глухим [187] скрипом тянулась по пыльной дороге. Усталые быки плелись мелкой рысцой, напряженно вытянув свои шеи. Возница, сидя на ярме, самодовольно глядел на праздную толпу, как бы говоря: «Вот вы сидите, разиня рот, а я на целую неделю дров нарубил». Однако он ошибался в количестве нарубленных дров. Весь груз его арбы состоял из нескольких хворостинки, которые он поленился даже очистить от листьев. Разумеется, такого скудного запаса не хватит на два вечера, не только на неделю. «Волк, а Волк!» — крикнул другой голос из толпы. «Что?» — «Уцелело ли что-нибудь от твоего топора в лесу?» — «Ничего, будет с тебя, — отозвался возница и, погодя немного, прибавил: — Да, я было позабыл: все деревья шлют тебе нижайший поклон и просят непременно пожаловать к ним». Проговорив это, Волк ни с того, ни с сего хватил палкою по тощим выдававшимся хребтам своих волов, и те пустились вскачь под гору прямо в ворота. «Ай да Волк! — крикнул ему вслед тот, кому кланялись деревья. — Нехорошо только, что криво правишь арбу. Посмотри-ка на правую чеку: кажется, ее оторвало воротами». «Не бойся, — отозвался тот, — и за камни приходилось цепляться, да все еще цела».

«Эх, кабы узнать, какой это дьявол вздумал топтать покосы», — проговорил кто-то, показывая на склон соседней горы. Все оглянулись туда. Действительно, там двигались какие-то белые точки, которых глаз не мог различить за дальностью. Они то сходились в кучки, то вытягивались в едва приметную нить. «Кто бы он ни был, но он начал с моего участка», — возвысил голос один из заседателей. Коренастый, широкогрудый мужчина отделился от кружка, выбрался из муравейника и что было силы заревел: «о-у! о-у», размахивая с остервенением своей шапкой. Он драл горло, пока не охрип совершенно. Его заменил другой, но белые точки по-прежнему спокойно мелькали сквозь густую траву. -

«Спит, должно быть, бестия!» — решили в кружке. Два молодых джигита вызвались добровольно сходить туда и узнать виновника. Сначала они пустились бегом, перегоняя друг друга, но отойдя немного от кружка, уgomонились и пошли шагом мимо пестрых телят и курчавых барашков, мимо развешанных на палках бурок, под которыми лежали вниз животами мальчуганы-пастухи, насвистывая на своих камышниках. Долго еще виднелись посреди гладкого поля высокие фигуры двух парней, то исчезая на минуту за пригорки, то появляясь снова; они скрылись наконец и более уже не показывались на холме, вероятно, увлеченные другими предметами.

После продолжительного сиденья в душной атмосфере кунацкой в ипохондрическом расположении, эта свежая картина приятно подействовала на мои нервы. Я задумался и ничего не [188] слышал из того, что говорилось вокруг меня, пока густой смех не побудил меня навести уши.

— Чего ты расхихикался, точно старый козел, — говорил обидчиво сухопарый мужчина в полушубке, накинутом на плечи, строгавший деревянную вилу. — Смеяться может всякий дурак; другое дело показать свое искусство. А ну-ка, попробуй: увидим, что ты за мастер.

Он протянул вилу и неуклюже обточенный бараний рог соседу в оборванной черкеске, с тощей бородкой.

— Сам, брат, трудись и будешь со временем мастер, — отвечал последний, отклоняя протянутую вилу. — Никто не родится умным. Да и нужно же когда-нибудь научиться приделывать рог к виле, нехорошо полагаться все на чужие руки. К тому же и сенокос приспел: нечем, пожалуй, будет копны складывать.

— Так какой же черт сует тебя туда, где не просят твоей помощи! Не лучше ли молчать и приберечь для себя свой ум, если он есть.

— Знай нашего Хуцу, — перебил кто-то с язвительной насмешкой, должно быть истый враг говорившего. — Ты не гляди, что он вилы не умеет сделать, это пустячки! А ты погляди лучше, как он колеса чинит, просто любо! Шилом буравит, нитками сшивает.

— Ну уж твоего голоса только не доставало, — с пренебрежением заметил Хуца. — Всем известно, что ты хотел прошлогоднюю саранчу накрыть шапкой, а своего хлеба все-таки не мог отстоять.

Громкий голос, раздавшийся на противоположном конце кружка, заглушил спор Хуцы с противниками на самом любопытном месте. Общее внимание обратилось вдруг на высокого мужчину с свирепым взглядом, с худыми, но чрезвычайно подвижными чертами лица. Вся фигура его дышала какой-то дикой энергией, каким-то страстным порывом. Он яростно размахивал переломленной косой над сидевшим подле него холмовником, в котором нетрудно было сразу признать кузнеца.

— Для чего аул выбрал тебя в кузнецы, если ты работаешь только на одних, а для других и усом не шевелишь? А как собирать копны да мешки проса, не бойся, ты тут различия не делаешь. Не будь я сын своего отца, если в этот год поживишься ты от меня хоть единым зерном или щепоткой сена. Вот что получишь от меня? Видишь?

Он показал то, что показывается обыкновенно в подобные случаи.

— Да, за Бечорой грешок такой водится, — поддержали некоторые свирепого джигита.

— А зачем вы угольев-то не хотите поставлять, — возразил: кузнец. — Какой уговор был у нас с самого начала? Всякий [189] вместе с железом уголь принеси и меха раздувай; ну а кто из вас“ скажите по совести, помогал мне хоть мизинцем. Уголь всегда жгу я свой, а ребяташкам моим — не стыжусь даже перед стариками! — нет просто отдыха, ни минуты не выпускают мехов из рук. А вы как придете в кузницу, только и знаете, что разговаривать между собой, да приговаривать за каждым ударом молота: получше да покрепче!

— Нет, врешь! — закричал неистовый джигит. — Я всегда приносил с собой полную шапку угольев, хоть бы нужно было приделать только ушко к косе. Влепишь один гвоздик, а что останется угольев, казны не отдашь: все в свой мешок. Не со мной одним ты это делал, а с целым аулом. Если я вру, пусть уличат меня.

— Правду говоришь! Правду, — подтвердили со всех сторон.

— Да это бы еще ничего, — возвысился один голос, — лесу, благодарение аллаху, не покупаем, можно жечь его сколько угодно, а вот что дурно: поломаешь косу во время работы и придешь к Бечоре, а он, вместо того чтобы скорее починить, угощает все завтраками, да так дня три-четыре и просидишь дома, глядя ему в рот. Пусть бы уж он делал это в иную пору, только не в рабочую.

— Я один, а вас сотня, так где же успеть мне на всех вдруг? Бога вы не боитесь, клевете напрасно на человека, — жалобно говорил кузнец, беспокойно поворачиваясь на своем месте. — Рассуди, ради души отцовской, можно ли двумя руками сделать разом сто дел?

Вопрос этот относился ко мне. Кузнец, чувствуя себя одиноким среди недовольной толпы, избрал меня в защитники и судьи. Очевидно, он полагался на мое беспристрастие.

— Конечно, нельзя, — сказал я, — но чтоб угодить на всех, ты делай всегда так: кто прежде придет, того и отпустить прежде. Тогда всякий сам увидит твою невиновность.

— Да я так всегда и делал.

— Опять ты лжешь! — сказал, подступая к нам, высокий молодец. — Если бы ты поступал так, то какой безмозглой голове пришла бы охота лаяться с тобой. Нет, ты очень хорошо знаешь, кому мазать губы маслом, а кому салом. Сам шайтан не потягается с тобой в лукавстве.

Спор шел очень долго и сделался мало-помалу общим. Большая часть кружка таила в душе какое-нибудь неудовольствие против кузнеца, но всякий решался высказаться не вдруг, а по мере того, как возрастало число противников. Кузнец, видно, пользовался порядочным авторитетом. Это особенно можно было заметить из того, что многие удерживали себя от слишком резких нападок на него, довольствуясь лишь легкими упреками, очень похожими на дружеские увещания. Я даже думаю, что без [190] свирепого джигита едва ли бы кто-нибудь возвысил голос против кузнеца. Несмотря на то, прения кончились в пользу его смелого противника. Кузнец обещал соблюдать впредь справедливость, лриняв за правило предложенный мной способ беспристрастного выполнения своей общественной деятельности. Но с тем вместе он произнес торжественную клятву, что он, кузнец Бечора, с этого дня не примет никакой, даже самой незначительной, с булавочную головку, работы без приличного к ней количества угольев, да чтоб тот, на кого он будет работать, надувал мехи самолично, «Пусть всякий плюнет

мне в лицо, если я хоть раз отступлю от своего слова», — заключил он свою длинную тираду. Все согласились, что и кузнец имеет полное право крепко стоять за свои привилегии.

— А скажи мне, пожалуйста, правда ли, что англичане 28 будто выдумали косу, которой один человек может, не сгибая спины, наколоть в день за сотых? — спросил меня высокий молодец, одержавший блистательную победу над кузнецом. Он дружески положил свою толстую, потрескавшуюся руку на мое правое плечо и весело взглянул мне в лицо, улыбаясь приветливо.

— Есть, говорят, такая коса, — отвечал я, — но я сам не видал, потому не могу тебе сказать, за сколько именно человек она может поработать.

— Черт возьми, славная штука! — воскликнули в кружке.

— Эх, кабы иметь такую! — заметил Хуца, все еще безуспешно прилаживавший рога к своей виле. — Это было бы для нас настоящее падишахство. Не правда ли, Ильяс? А то скребешь, скребешь целый день, набьешь волдыри на ладони, спина одеревенеет, шея точно кабанья сделается, ни туда, ни сюда не ворочается, а все не больше двух копеек накопишь — хоть лопни!

— Сущие скоты мы, адыги, если подумаешь хорошенько, — проговорил со вздохом один из моих соседей, — носом воду пьем. Сколько есть на свете чудес, какие и во сне никогда не приснятся нам! А мы не шутя уверены, что мудренее нас нет и быть не может на свете. Отчего же это? А оттого, что безмерная спесь обуяла наши сердца, оттого, что и по лестнице не доберешься до рогов наших. Чем же гордимся? Живем мы в таких жилищах, в каких в шехерах (Под шехерами горцы разумеют вообще быт благоустроенных государств. Слово это буквально значит: город) посовестятся лошадей держать. Мы до сих пор не придумали, как удержать тепло в сакле. Кладем на очаг зараз целый воз дров, а жар весь уходит в трубу; суем носы в огонь, а искры сыплются в бороды, прожигаем платье, чтобы отогреть немножко перед, а зад мерзнет...

— Да то ли еще рассказывают про этих англичан! — перебил Ильяс чересчур расхвалившегося соседа, речь которого угрожала превратиться в длиннейшую диссертацию. — Они, слышно, [191] по воздуху летают, точно крылатые, и котлами горячими пересылаются с врагами. Так ли все это? Или это сказки?

— Все это правда, — отвечал я, крепко пожалев в душе, что не в силах наглядным образом растолковать любопытным собратьям все чудеса англичан. Понятия мои в этих предметах чрезвычайно темны и сбивчивы, благодаря корпусной педагогике, все усилия которой были постоянно направлены к тому, чтобы сделать из нас дисциплинированных детей Марса. Без основательного же знания предмета лучше совсем не покушаться на его объяснения, если не хочешь уронить в глазах необразованного, на умного человека, плоды вековых усилий человеческого ума.

— В какой стороне находится земля англичан? Я показал на запад.

— А кто будет сильнее, англичанин или русский?

Я, разумеется, не нашел, что отвечать на подобный вопрос.

— Правду ли говорят, что будто все хитрости свои русские взяли у англичан? —

продолжал допросчик.

— Правду.

— Вот что! — заметил Хуца. — А мы думали, что ловчее русского нет никого в мире.

— Инглиз, сказывают, больше в ладу с турком, — сказал мой сосед. — Отчего это? Ведь он одной веры с русским?

— Верно, оттого, что они спорят друг с другом о силе, — догадался кто-то. — А так как турки сильнее их обоих, то они, значит, и заискивают у них.

Заседатели холма обнаруживают вообще большое сочувствие к туркам. Видно, им неизвестно, что предки наши совсем иначе смотрели на широкие шаровары. Я мог бы, конечно, сообщить им один из трогательнейших примеров проявления взаимной дружбы адыгов с турками. Не-далее пяти или шести верст от нашего холмика, лет шестьдесят тому назад, отцы наши весьма неучтиво обратили в самую решительную минуту оружие против своих союзников, османов, и, разграбив их богатый лагерь, преспокойно удалились в свои горы. Этот поступок тем более не деликатен, что совершенно предал доверчивых шароварников во власть русских. Но я знал, что заседатели холма ни за что на свете не поверили бы мне; еще, чего доброго, сочли бы меня клеветником. Что мне за нужда огорчать без всякой пользы этих добрых людей и вооружать их опять против себя? А они с таким восторгом повторяют рассказы своих меккских богомольцев о неслыханном богатстве и силе турок, о их мраморных палатах с золотыми крышами и тысячи других чудес. Благочестивые хаджи 29, очевидно, почерпнули эти сведения из своей услужливой фантазии или из тысячи одной ночи.

— Да, — заключил один старик, сидевший поодаль от меня, — [192] жизнь наша так же далека от жизни шехеров, как небо от земли.

— Когда это было сказано, нас с тобой, Теувеж, не было еще в материнской утробе, — с иронией возразил другой старик со свежим, здоровым лицом, очень плотного телосложения, одетый в новую, желтого цвета черкеску; бешмет и рубашка его были вымыты очень чисто. Он сидел посредине круга, опершись подбородком на красивую палку с лопатообразным концом. — Живем, как указано аллахом, как жили от создания мира отцы наши. Переделать себя не в нашей воле... Но не о том хочу речь вести. Я желаю знать, распорядились ли вы насчет выхода в поле на покосы, наняты ли караульщики бахчей от кабанов, проса от скотины и саранчи. Думаю, пора позаботиться об этом. Мы каждый день собираемся здесь, болтаем вздор, а время уходит. Не мешало бы нам брать пример с соседей наших, иванычей (Черкесы в шутку называют русских «детьми Ивана», вероятно, потому, что у русских часто встречается это имя). Посмотрите, сколько накопили они сена: целые горы стогов повыстроили. Они взяли уже за серп.

Кружок притих и с глубочайшим вниманием прислушивался к голосу почтенного старичка. Вопрос, им затронутый, был близок к сердцу каждого из холмовников, да и сам оратор — лицо весьма значительное из рабочего люда в нашем ауле. Поэтому все, что ни вымолвит он, должно получать особенный вес и значение. Кто и не признает над собой его авторитета, а все считает нужным не пропускать мимо ушей умных замечаний его касательно разного рода общественных нужд. Старик этот, как видно, не расположен попусту тратить слова. Речь его обдуманна и ясна. Произносит он ее как будто- не совсем охотно, но коротко и отчетливо. В движениях его и в звуке его голоса отзывается сознание собственного достоинства, но без тех резких оттенков, которые неприятно звучат в ушах

слушателя и оскорбляют его самолюбие. Человек этот, сколько мне удалось заметить в продолжение моего пребывания на холме, имеет похвальную привычку говорить не прежде, как обдумав свою мысль обстоятельно и со всех концов. Может быть, эта черта не стоит того, чтоб указывать на нее, как на особенное отличие, но я встречал очень немногих людей, даже в обществе несравненно более образованном, чем серый кружок холма, которые обладали бы подобным качеством. По словам приятеля моего, Сольмана, который между высокими материями не брезгает сообщить мне иногда краткие биографические сведения о важнейших лицах нашего аула, с присовокуплением поучительных анекдотов, Исмель — «известный старый кабан». Это, по его терминологии, равняется самой высокой похвале. «Ты не смотри, что он обручем свернулся: и в таком виде не променяешь его на десять, кислых детин». Из отрывочных замечаний «фильсуфа» об Исмеле, [193] я извлек следующее: «Исмель — глава зажиточного семейства, в котором дружно, в добром согласии работают четверо здоровых сыновей гор. Старик сам никакими тяжелыми работами не занимается, а, так сказать, кейфует после долгой трудовой жизни. Только иногда подметет двор, из конюшни и хлева выкинет навоз, осмотрит по утрам, перед тем как ребятам его нужно куда-нибудь ехать, колеса под арбами, довольно ли надежны они для предстоящего путешествия. Вообще, он не может просидеть часа два, ничего не делая. Не руками, так словом да советом пособляет сыновьям. Последним он не дает ни в чем спуска из боязни, чтобы эти щенки не вздумали когда-нибудь сесть ему на шею. Поэтому приходится ему иногда выдерживать маленькие атаки со стороны, очень, впрочем, доброй и всей душой преданной ему подруги жизни. Подобные стычки никогда не доходят у них до крупных слов, а всегда оканчиваются легонькими выражениями взаимных неудовольствий. Самым худшим результатом этих размолвок бывает удаление Исмеля в пчельник, что позади его сакли, и упорное желание его не впускать туда никого из своего семейства. Старуха, баба весьма трусливая по природе, приходит тотчас в отчаяние, воображая вдруг, что она нанесла своему старику тяжкое оскорбление и призывает немедленно в посредники старика-соседа, ровесника и большого приятеля Исмеля. Посредник стучится в притворенную дверь пчельника и покашливает, чтобы дать о себе знать. Исмель молча впускает его в свою крепость. «Что ты, братец, с ума, что ли, сошел на старости лет, что ссоришься с бабами?» — говорит посредник. «Я ни с кем не ссорюсь; откуда ты это взял?» — спрашивает будто с изумлением Исмель. «Ну и хорошо, значит, если ни с кем не поссорился, — говорит посредник, — а я, по глупости своей, вообразил, будто ты не совсем в духе. Это, должно полагать, оттого, что я только что проснулся. Пойдем-ка, братец, в саклю: что тут сидеть между пчелами и слушать их жужжанье!» Исмель сначала упирается, отговариваясь тем, что матку нужно пересадить из одного улья в другой, но посредник уламывает его. А как очутятся они вместе в сакле, то примирение супругов совершается уже само собой. Из этого видно, что Исмель на холме и Исмель дома — немножко расходятся друг с другом. Впрочем, это свойство принадлежит всему роду человеческому. От колыбели до зрелого возраста своей жизни Исмель был холопом одного ветреного джигита, который в погоне за дворянской славой разорился вконец на щедрые подарки и на угощения многочисленных друзей своих. А между тем жена этого господина, большая щеголиха, требовала настойчиво нарядов, ссылаясь на то, что у соседок что ни день, то обнова, а она, несчастная, все старое донашивает. Хотя джигит и не придавал большой важности горестям своей глупой домашней, однако сердцу его не [194] могло быть приятно соперничество с нею соседок. Одно только мешало ему немедленно удовлетворить желанию своей супруги: это самая непобедимая из всех причин — неимение средств. Но горю пособила сама хозяйка, которая, как видно, одарена была несравненно большею проницательностью и изворотливостью ума, нежели ее муж. Она беспрестанно указывала на хлев умного крестьянина, полный рогатым скотом. Так продолжалось до тех пор, пока голый джигит не решился, наконец, отпустить на волю своего холопа со всем семейством, удержав за собой все его имущество, и таким образом

не доставил своей супруге возможности кольнуть новым шелковым платьем глаза ненавистным соперницам. Исмель же, вырвавшись на волю, как говорится, с голыми руками за пазухой, перенес свою саклю и двор как можно далее от своего бывшего господина, и принялся неутомимо работать, как только может работать человек для себя. Года два пас он аульное стадо, и у него явилась пара быков: одно лето караулил по ночам пчельник соседа, и у него появились ульи; затем нанялся он на год в пастухи овец у одного богатого обывателя аула. Через несколько лет усиленных, не охлаждаемых ничем трудов, он успел не только обзавестись новым хозяйством, но и стал наравне с зажиточнейшими семействами аула. К этому времени подросли сыновья его и стали выезжать со двора на четырех арбах, благополучие, которого достигают немногие из заседателей холма. Исмель начал держать плуг, то есть образовал вокруг себя большую артель, семей в двадцать, для совместного вспахивания участка каждого из членов артели по очереди. Так как он очень ловко управлял плугом, содержа его всегда в отменном порядке, не обижал никого из примкнувших к нему товарищей, то все любили и уважали его. В ауле же, где всего-навсего полтора или сто домов, тот, кто пользуется расположением двадцати семейств, может быть всегда уверен, что имя его произносится с должным почтением и во всех остальных семьях. К этому нужно еще прибавить весьма оригинальное между черкесами значение соседства, придающее особенный вес достаточным семействам. Одним словом, обстоятельства и личные качества поставили Исмеля и его семью в самое выгодное положение между всеми заседателями холма. Исмель вообще довольно добр, если не из внутреннего побуждения, то по крайней мере из расчетов; он примиряет силой своих советов семейные и другие распри; никогда не отказывает надежному человеку дать в долг копну сена или меру проса; вообще принимает доброе участие в слабейших братьях. В награду за свои благодеяния он требует от них малости — почтения к своей особе и к своему семейству. Он не может равнодушно смотреть на тех из своего круга, кто осмеливается противоречить ему. Поэтому злейшим врагом его слывет противник кузнеца, человек, кажется, не [195] способный смириться перед общепризнанными авторитетами, и которого, говорят, Исмель выгнал из своей артели. Есть, разумеется, и много других личностей между заседателями холма, которые не во всем слушаются Исмеля, но они умеют скрывать свои чувства и мысли в душе и посмеиваться исподтишка. Все-таки в окончательном итоге перевес остается на стороне почитателей особы Исмеля. Это лучше всего можно видеть из того обстоятельства, что молодые повесы, обнаруживающие неудержимое поползновение к амбарам и копнам чьим бы то ни было в ауле, обходят почтительно все, принадлежащее Исмелю. Как бывший холоп, Исмель не любит дворянского сословия и избегает всякого сближения с ним; но прежний господин его, в скором времени спустивший отобранное у него имущество, нашел в нем покровителя и благодетеля. Исмель ежегодно уделяет ему часть своего проса, а во время жертвоприношения посылает к нему и к жене его по хорошей овце. Сверх этого определенного жалования семейство обнищавшего джигита беспрестанно прибегает к помощи Исмелевой хозяйки и получает от нее, хотя не без некоторого ворчания старушки, все нужное для дневного пропитания — масло, молоко, сыр, яйца и мясо. Но никто из заседателей холма не, видел до сих пор, чтоб Исмель перешагнул когда-нибудь через порог своего бывшего господина, или при встречах с ним на улице, или в ином месте, обернулся к нему лицом и сказал ему хоть, одно слово.

— Исмель правду говорит, — отзывались со всех сторон. — Трава уже стала высыхать, надо поторопиться снять ее с корня; да и скот вытоптал много покосов.

— Да и хлеб выждет много-много, если дней двадцать. Колосья совсем налились. Вчера я нарочно ходил поглядеть, и от радости чуть шапка не слетела с головы. В жизнь не видывал я такого урожая. Валлахи, нам следовало бы целым аулом заколоть самого жирного быка в стаде и поблагодарить аллаха...

— Уж ты бы лучше молчал, — перебил кто-то говорившего. — Чего раскаркался черным вороном? Того и смотри, что туча крылатых дьяволов взлетит.

— Правоверное собрание! Любимцы божьи! — возгласил вдруг тоненьким дискантом мужчина средних лет, небольшого роста, с необыкновенно-веселыми подвижными глазками, одетый в коротенький кобенек (Род куртки из холста, исключительно употребляемый крестьянами). Он вошел в круг, отчаянно размахивая руками, вероятно, чтобы придать себе больше храбрости. — Еще в прошлом году просил я вас поручить мне стеречь бахчи, и вы мне обещали. Не ищите же теперь, будьте так ласковы, другого; надеюсь, я успел заслужить ваше доверие... [196]

— Не трать слов напрасно! — окатил вдруг кипятком вертлявого оратора неумолимый победитель кузнеца, порываясь к новой жертве. — Знаем мы, какой ты славный свинопас! По милости твоей, мы два года сряду не видали в глаза кукурузы. Какая чума велит нам выбрать тебя в третий раз? Благодарю бога и за то, что два раза удалось тебе надуть нас. Ведь и с овцы двух шкур не дерут.

— Да, ты чересчур уже был в дружбе с кабанами, — заметили многие из толпы.

— С одними ли кабанами? А сохст (Учащееся юношество) забыли? — добавили другие.

Вертлявый джигит, по-видимому, не ожидавший подобного отпора, на минуту оторопел и смешался. Игривые глазки его с тупым недоумением остановились на грозной фигуре Ильаса.

— Ты это говоришь вправду или шутишь? — мог только произнести он после значительной паузы.

— Вишь, где нашел место для шуток, — отвечал вместо Ильаса глухой голос с краю. — Он будет угощать нашей кукурузой свиней, а нам еще заигрывать с ним да забавлять его прибаутками.

— Да скажите на милость, когда это угощал я свиней? — простонал жалобно кобенек — Будь я враг божий, если не первый раз слышу такие новости!

— Не мудрено, — отвечал на это Ильяс. — Ведь у тебя не было своей бахчи, так и незачем тебе было знать, сколько мерок кукурузы собрано нами с полосы. Ты получил, что следовало, и умыл руки. И свиньи, что скушали нашу кукурузу, я думаю, нисколько не печалются нашими неудовольствиями.

— Эх, Ильяс, Ильяс! Не бойшься ты ни гнева божьего, ни суда людского, — с упреком произнес кобенек, не зная, что отвечать на слова Ильаса — Один ты мутишь грязью весь аул. Словно бешеная собака, кидаешься ты на всякого, не разбирая ни правого, ни виноватого. Некому на этом свете переломать тебе рога, но бог даст, на том свете черти вытянут из затылка нечестивый твой язык.

— Не знаю, что черти сделают с моим языком, — насмешливо возразил Ильяс, — но при воскресении мертвых ты непременно попадешь в общество свиней, как закадычный друг и покровитель их при жизни.

— Что же, для Хантхупса это недурно, — заметил прежний глухой голос с краю. —

Свиньи, верно, не откажутся прокатить его на своих спинах по аду.

— Как бы еще в рай не завезли его, — заикнулся было один [197] неопытный молодой человек, но несколько человек накинулись на него тотчас с упреками и заставили жестоко раскаться в необдуманном слове.

— Что ты? Что ты? С ума сошел? — с ужасом проговорили они в один голос. — Разве можно жилище аллаха и пророков осквернять именем проклятого животного? Кайся скорее! Читай молитву, как придешь домой — дай что-нибудь нищим.

Бедный молодой человек был так уничтожен и напуган, что совершенно лишился способности ворочать языком. Напрасно силился он произнести хоть одно слово очистительной молитвы, которую советовали ему немедленно прочитать во всеуслышание; он только быстро моргал веками глаз. Этот маленький эпизод приостановил на мгновение спор Ильяс с Хантхупсом, но последний, поджигаемый страстным желанием восстановить за собой славу хорошего караульщика бахчей, скоро отвлек внимание кружка от провинившегося молодого человека. Не полагаясь более на свое красноречие, он попытался, нельзя ли как-нибудь разжалобить сердца холмовников.

— Защитите, правоверные мужи, бедного человека от гнусной клеветы, — пропищал он чуть не со слезами. — Если я точно провинился в чем, накажите меня целым аулом, но не давайте веры моему недоброжелателю. Если же я невинен, не лишите меня своей милости. Ради самого аллаха, судите меня по чистой совести.

Патетическое воззвание Хантхупса еще пуще раздражило Ильяс. Голос его загремел с новым жаром, возбуждая в толпе единодушный смех и одобрение. Ильяс и тут заявил себя горячим и ловким борцом. Он, как дважды два — четыре, доказал, что Хантхупс недобросовестно выполнял вверенную ему обязанность. Пользуясь отсутствием мужчин из аула, он преспокойно ночевал дома, только на рассвете возвращался к своему месту, и то затем, чтобы, сидя в шалаше, зевать на проезжих по большой дороге. Ильяс говорил, что хрюканье свиней нагоняло издали на Хантхупса смертельный страх. Один из толпы подтвердил неопровержимым свидетельством то, что Ильяс, по всем вероятностям, почерпал больше из своего воображения да из чужих толков. Из этого видно, как твердо верил Ильяс в силу своей диалектики. Вообще, сколько я могу судить, это один из тех людей, которых природа наделила самой широкой гортанью и дерзкой, ни перед чем не робеющей, отвагой. Перекричать таких людей так же трудно, как уличить закоснелого сорванца в явном воровстве. Эти врожденные качества развились в нем еще более вследствие неблагоприятных обстоятельств. По рождению Ильяс принадлежал к дворянскому сословию. В молодости он находился по очереди при дворе нескольких князей в качестве спутника и присмотрщика за [198] куначкой и конюшней. Но женитьба на любимой женщине без всяких средств к существованию вынудила его бросить поводья и взяться за ярмо. После такого подвига Ильяс сравнился во всем с крестьянами и вольноотпущенниками, работал, как и они, собственными руками для пропитания своей семьи. Но мысль о дворянском происхождении ни на минуту не покидала его. Поставленный обстоятельствами на одну доску с холмовниками, он, однако, бился из всех сил, чтоб отстоять свое дворянское достоинство и заставить окружающих уважать его...

Новый сторонник Ильаса окончательно поразил бедного Хант-хупса. «Раз ночью, — рассказывал он, — шел я с покоса домой за пшеном. Поравнявшись с бахчами, слышу вдруг: хрю! хрю! Эге-ге, подумал я, это детки Хантхупса изволят потешаться; и я не ошибся. Целое стадо свиней с детенышами расхаживало по бахче, кувыркалось на грядах, рыло клыками землю. Кукуруза трещала на всю долину. Еле-еле выгнал я проклятых

оттуда: знать, не впервой бывали они в гостях у Хантхупса, совсем напугались моих криков, словно ручными сделались. Я мог бы ловить их за хвосты, если бы не боялся осквернить руки. О сохстах же и поминать нечего: что уцелело от свиней, перешло в их желудки — чтобы камни нашей речки попали туда! Горы кукурузных объедков и теперь еще стоят около медресе. Сохсты таскают кукурузу из бахчи мешками не только по ночам, но и среди дня.

— Да отсохнет язык у того, кто говорит неправду! — громко провозгласил стройный, красивый юноша, стоявший вне круга и, как видно, не разделявший его интересов. Одежда и наружность его свидетельствовали, что он принадлежит к другому классу аульного населения.

— Ага, откликнулся! Видно, знает кошка, чье мясо съела, — отвечало несколько человек на выходку юноши.

— Ай да молодец ученый! — насмешливо подхватили другие.

— Будь я такой же герой курятников и огородов, как ты и тебе подобные, если я сказал неправду! — отвечал рассказчик. — А тебе прошу у бога сто палочных ударов в пяты, как только вернешься в свой медресе, если ты сам таскал на плече кукурузу из бахчи. Согласен?

Несчастный питомец медресе покраснел до самых пяток и опозоренный поспешно удалился от враждебного сборища, куда попал он, по-видимому, по ошибке. Мальчишки преследовали его криками: «недозрелый мулла! лепешечник! кукурузник! курица! индюк! ва-ва-ва, ни-ни-ни!» Он шагал быстро, опустив голову, не оглядываясь назад, даже когда попадали ему в спину довольно крупные камни.

— Зачем обижаете его? — заметил я, не утерпев.

— Помилуй, — отвечал мне мой сосед, — как не обижать этих [199] людей? Ведь они хуже всякой саранчи, вконец нас поедают. Нет сил человеческих избавиться от них, видно, бог карает ими грехи наши.

Нечего было мне возражать на эту горячую филиппику, хотя я душевно желал бы защитить бедного юношу, оскорбленного, может быть, без всякой причины потому только, что на беду свою он принадлежал к сословию сохст. А сохсты, видно, немало насолили под защитой учености своим неграмотным собратьям. Любопытно бы поближе познакомиться с их бытом. При первом удобном случае воспользуюсь добрым расположением ко мне нашего эфенди. Он, без сомнения, не откажет мне в позволении посещать почаще, во всякое время, медресе. Разумеется, после обличений Ильяса и сторонника его, кредит бывшего оберегателя бахчей пал невозвратно. У него не осталось ни одного шанса к удержанию за собой легкого и прибыльного занятия, которое избавляло его от неприятной необходимости набивать на руках мозоли да гнуть спину в три погибели. Каждый, имеющий бахчу, дает караульщику по копне сена да по мешку неочищенной кукурузы. А кто же в ауле не сеет кукурузы? Удар, кажется, был слишком чувствителен для сердца Хантхупса, потому что он попытался вознаградить себя за поражение на словах более ощутительной победой на деле и замахнулся с плеча палкой на высокого Ильяса. Но последний, видно, всем взял: и словом, и делом. Не имея у себя в руках палки, он вмиг выхватил ее у соседа и влепил в самую середину вражьего лба такой почтенный щелчок, что Хантхупс выронил свою дубину и, закрыв обеими руками лицо, присел на корточки. «Вай, вай! — кричал он благим матом. — Убил, собака! Ей-богу,

совсем убил, собачий сын!»

— Тсс! Тсс! — уговаривали его подоспевшие к нему на помощь. — Или ты баба? Разве можно мужчине так реветь? Мужчине не только палки, да и оружия приходится попробовать. Стыдись, Хантхупс! Ребята на смех подымут.

— Вай, вай, вай! — отвечал на эти увещания Хантхупс — Убил, мошенник, убил, собачий сын!

— Эка старая баба! — с пренебрежением и досадой проговорил один из уговаривающих Хантхупса и потом скомандовал: — Стащите его к жене, пусть там плачут вместе.

Раненого рыцаря подхватили и повели под руки к воротам торжественной процессией, будто труп какого-нибудь храброго витязя, павшего с честью в битве с русскими.

Суматоха скоро утихла. Те, которые поднялись на ноги, чтобы разнять ссорившихся, снова заняли свои места. Обсуждение вопросов на время прекратилось. Все молчали. Одни строгали свои вилы и лопаточки для точения кос, другие с ожесточением мяли в руках бычью кожу на лапти для предстоящего покоса, иные [200] ковыряли концом своих палок землю или внимательно заглядывали в пушистую внутренность своих шапок, а остальные (в том числе и я) сидели, ничего не делая. Один Ильяс торчал над безмолвной толпой в величественной позе Аполлона Бельведерского, подставив под мышку дубину, между тем как хозяин ее, маленький человек, которому, по-видимому, очень не нравилось, что другой пожинал ею лавры победы, напрасно старался выдернуть палку из рук Ильяса. Ильяс, занятый какими-то соображениями, совсем не замечал присутствия маленького человека... Но вдруг смелый боец пошатнулся и стремглав полетел вниз по покатоности холма, приплюснув на пути несколько совершенно безвинных заседателей к земле, да так крепко, что они не скоро могли потом приподняться и привести свои мысли в порядок. Длинная фигура Ильяса легла, распластавшись богатырски у подножья холма лицом к земле. Заседатели холма все без исключения вскочили в страшном изумлении, словно по команде. Разумеется, не мог усидеть и я при виде такого страшного оборота дела. «Что бы, однако, значило это?» — думал я, озираясь вокруг себя. Не успел я еще решить этот вопрос, как поверженный Геракл очутился уже на ногах. Багровый румянец стыда, смешанного с гневом, до того исказил черты его лица, что трудно было узнать его. Секунду постоял он в недоумении, соображая, какой несчастный дерзнул поднять на него руку. Глаза его, несмотря на то, что еще не совсем прояснились от тумана, миготом отличили в густой толпе виновника. Он рванулся, но десять человек вцепились в него за пояс, плечи, руки, ноги и тяжелыми гирями повисли на нем.

— Ильяс, опомнись, ради бога! Ведь ты не ребенок: перестань, просим тебя! Зачем ссориться из-за пустяков? Уважь нас, — упрашивали его все хором.

— Пустите! — ревел он, словно раненый лев, бешено вырываясь из рук и влача за собой сердобольных посредников, которые упирались в землю ногами и руками, точно быки. Противник высокого Ильяса, воспользовавшись тем, что его никто не удерживал, прошелся раза два небольшой тростью по обнаженной, гладко выбритой голове его. Только после этой операции догадалась толпа, что и его ни в каком случае не следовало оставлять с свободными руками. Вцепились и в него.

— А! Так вы меня отдаете собаке на посмеяние, — кричал Ильяс, задыхаясь от гнева. — Не делайте этого, ради аллаха... лучше завяжите мне глаза... и тогда пусть он хоть убьет меня. А не то, пустите меня... умоляю, дайте мне посмотреть, каков этот молодец

спереди... а сзади он нападает храбро.

— погоди ты еще у меня! Голову размозжу! — кричал с своей стороны и противник...

Как ни крепко держали холмовники свирепых бойцов, и как, [201] по-видимому, усердно ни старались не допустить их до столкновения, однако они нашли возможность несколько раз схватить друг друга за шиворот, причем посыпались с той и другой стороны на землю клочья волос из бороды, и у обоих разорваны были вороты рубах. Мне даже показалось, будто примирители сами незаметно подталкивали противников друг к другу. В тот же вечер догадку мою на этот счет подтвердил и приятель мой Сольман. «Это совсем не новость, — говорил он, — всегда бывает». При этом он обстоятельно изложил свою теорию вмешательства в чужие споры, подкрепляя ее свидетельствами из прошлого и настоящего. По этой теории, всякий адыг, вмешиваясь в драку двух человек, имеет прежде всего в виду дать рукам их свободу, но лишь настолько, чтоб они могли успокоить раздраженные сердца свои незначительными потасовками. Примирители в этом случае поступают довольно умно. Во-первых, они не допускают разыграться вполне бешеным страстям, а, во-вторых, доставляют себе невинную забаву зрелищем неопасной стычки. Спасибо им и за такую умеренность, особенно если принять во внимание, что исход неприязненных столкновений зависит всегда от их доброй воли. А человек, как известно, вообще по природе своей несколько кровожаден и не прочь полюбоваться на чужую беду, лишь бы самому оставаться в стороне. Потому-то, вероятно, редкое зрелище привлекает к себе так много людей, как эшафот и виселица. Разнимавшие Ильяса и его противника, полагая, что бойцы достаточно удовлетворились взаимными потасовками, растащили их в разные стороны и образовали между ними плотную стену из своих спин. Поднялся невообразимый гвалт. Толпа, как всегда бывает в подобных случаях, разделилась на два лагеря. Один громко упрекал высокого Ильяса за его буйный, навязчивый характер; другой нападал на незваного защитника Хантхупса, которого все признали виновным. Среди общего невнятного гула нельзя было ничего разобрать.

— Скажи, ради души отца, что все это значит? — спросил я одного чахлого старичка, который стоял поодаль от других, ограничиваясь, подробно мне, ролью простого наблюдателя.

— Дерутся, как видишь.

— Вижу, что дерутся, но за что?

— Разве не было тебя здесь, когда вон этот высокий ударил караульщика бахчей?

— Был.

— Ну, а этот молодец, что сбил с ног высокого, близкий сосед караульщика; сакли их под одной кровлей, так неловко разиня рот глядеть, как бьют соседа.

— Понимаю. Но чем кончится эта ссора? До оружия, пожалуй, дойдет.

— Нет, — хладнокровно отвечал мой собеседник. — Враги [202] покоятся месяца два друг на друга, будут избегать встречи, а потом и помирятся сами собой, или люди заставят их ударить по рукам. Кто больше виноват, должен простить обиженного, бузу сварить для него и барана зарезать.

Я успокоился, получив такое удовлетворительное объяснение. На холме, значит свои

законы мести и примирения, не похожие на законы кунацкой.

Унялся мало-помалу и взволнованный кружок, накричавшись досыта. Сосед караульщика удалился по совету старейших с холма в приятном сознании, что он выполнил со славою долг всякого благородного адыга и обязанность хорошего соседа.

— Это тебе даром не пройдет, собачий сын! Ты у меня в долгу, не забудь! — кричал вслед ему Ильяс.

— Хорошо, — отвечал тот таким тоном, как будто ему сказали: приходи, брат, вечером покушать у меня горячей баранины!

— Вот как кончаются у нас всегда совещания о делах наших, — с большой горечью заметил старик Исмель — Чума вас побери! Когда несем чепуху, никому и в голову не придет взяться за палку. А чуть коснешься настоящего дела, того и жди, что начнется потасовка.

— Что будешь делать? Такова, значит, воля божья, — отвечал с благоговением другой старик, погладив свою пепельного цвета бородку, — Не дано человеку силы побеждать судьбу.

— Судьба судьбой, а насчет покоса все-таки надо подумать — заговорили с разных концов кружка. — Долго ждать невозможно, иначе останемся без соломинки на зиму.

На тот раз дело о покосе пошло удачнее. Кружок не так уже резко расходился в своих мнениях. Этому, конечно, немало содействовала недавняя схватка, которая дала уразуметь людям беспокойным, что с ними, чего доброго, может повториться то же, что и с высоким Ильясом, сидевшим теперь очень скромно в стороне. Можно бы подумать, что у высокого джигита отбили окончательно всякую охоту вмешиваться в прения; но думать так значило бы совсем не знать его. В то время, как говорил старик Исмель, Ильяс беспокойно подергивался. Он несколько раз порывался прервать речь старика, косвенно направленную против него; но умел обуздать свою неукротимую натуру, хотя, вероятно, это стоило ему немалых усилий. Ильяс отдыхал от усталости, набирался свежих сил, чтобы снова выступить на свое специальное поприще обличений и горячего протеста. Страстная природа этого человека не может ничего рассудить хладнокровно — это не ее дело. Она действует в каком-то чаду, под влиянием какого-то необъяснимого вдохновения. Потому-то домашнее хозяйство Ильяса находится в крайне плачевном состоянии. Он сам не умеет ничего исправить, ни починить арбы, ни приладить топорища... Половина [203] аула в душе ненавидит Ильяса, хоть всякий, имея с кем-нибудь тяжбу, всеми силами склоняет его принять на себя должность адвоката перед народным судом. А какой, говорят, он славный адвокат! Сами враги не нахвалятся его блестящими дарованиями на этом поприще. По уменью вести самые многосложные, запутанные дела, по находчивости и способности ставить в невыгодное положение противника, имеющего гораздо более шансов на успех, наконец, по меткости и остроте слова, Ильяс не имеет ни одного соперника в нашем ауле, да едва ли и в целом околотке.

Явился новый кандидат на место отвергнутого Хантхупса. Против него не нашлось возражений, и он был выбран единодушно.

— А копны прошу заранее платить мне исправно, — выговорил он, утвердив за собой выгодную должность. — Нередко бывает так, что с иного без драки да суда не возьмешь и соломинки.

— Не прячься и ты от кабанов, как делал твой предшественник — отвечали ему, — да не води дружбы с сохстами.

— Кажется, можно положиться на меня, — с уверенностью заметил новый караульщик.

— Положиться, конечно, не трудно... но кто знает, что может случиться? Неровен бывает час. Иной раз сон одолеет, а в другой захочется крепко взглянуть, что поделывает дома хозяйка... Бывает, наконец, и то, что темная ночь вгоняет в душу иному разные страхи, от которых и свист кузнечика в траве становится очень похож на львиный рык. Обо всем этом не мешало бы поразмыслить сначала. Без кукурузы же, как ты сам ведаешь, мы люди пропащие. Пока не уберем проса, да не смолотим его, есть будет нечего.

— Даю вам слово, что пока я караюлю, ни одна свинья не понюхает края ваших бахчей, — говорил будущий надсмотрщик кукурузы. — Я буду просить молодых людей, которые сидят без дела в ауле, пострелять по ночам кабанов, которым вздумается подойти к кукурузе. Дней через пять вы узнаете, как я буду исполнять свое дело; а если окажусь негодным, смените меня.

Заседатели холма одобрили план, по которому караульщик намеревался истребить кабаний род, и благословили его на успешное совершение такого великого дела. Затем был избран присмотрщик за просом и пшеницей, обязанность которого состоит в том, чтоб извещать, при первом появлении саранчи, разбросанный в разных местах по покосам народ. Оборона кукурузы от саранчи предоставляется на долю баб, девушек и детей. И надо сказать правду, они гораздо удачнее мужчин отгоняют саранчу при помощи тазов и других гремящих орудий. Начальство над этим пестрым ополчением принадлежит по праву караульщику бахчей. Надзор за быками на покосе большинством голосов отдали [204] Ильясу, из уважения к его одиночеству и не слишком блестящей способности владеть косой. Эта должность очень выгодна и не трудна: нужно только пасти волов днем по соседству с покосами, не допуская их вытаптывать траву, а по ночам загонять их в какую-нибудь тесную лощинку, защищенную с трех сторон крутыми утесами и лечь самому преспокойно у узкого входа на роскошной пахучей постели... От Ильяса же не так-то будет легко вывернуться неисправным плательщикам копен.

Между тем как происходила раздача общественных должностей, несколько молодых, сильно растрепанных джигитов рассуждали между собой о предложении нового караульщика кукурузы пострелять свиней.

— Пойдем-ка завтра ночью поохотиться, — говорил один из них, живой скелет, которому, казалось, целый год не давали есть.- — Убитого кабана потащим в пикет, к казакам, они дадут за него пороху.

— А как потащить такую скверную тварь? — заметил другой.

— Эка трудность какая! Поймать первую попавшуюся кобылу, в степи да прицепить к ее хвосту, вот тебе и телега. Нет, ей-богу, пропасть пороху дадут. Ведь казаки от радости подбросят шапки. Ну, идем, что ли?

— Пожалуй, но пойдет ли впрок вырученный за свинью порох? Ведь это не чисто. Помню, мулла наш сказывал кому-то, что нельзя есть мясо оленя, если он застрелен пулей или порохом, вымененными на свинью.

— Ну вот, нашел грех! — вскричал скелет. — Коль слушать все, что говорит наш мулла, придется броситься в воду.

— Да я средство знаю против этого, — вмешался третий джигит. — Молитва такая есть, которую только стоит прочитать, всыпая порох в винтовку — и нечистота пропадет.

— Ну вот, видите, тут нет ничего грешного, — продолжал скелет. — Так идем? Я выпрошу у кого-нибудь заряда три: даст бог, ни одного из них не потратим даром. Только, чур, никому не говорить об этом, а то наберется много охотников и отобьют добычу. Согласны?

Джигиты положили на следующий вечер пойти на помощь караульщику бахчей.

— Теперь есть у нас караульщики при кукурузе и просе, — заговорил опять Исмель. — Значит, с этой стороны нечего беспокоиться. Но главную-то беду мы совсем забыли. Не знаю, как у вас, а у меня осталось всего две мерки проса. Да и то я приказал приготовить для косарей. А дома хоть камень брось в котел.

— Будь у меня две мерки, я не знаю, как бы благодарил я аллаха, — с унынием проговорил Хуца. — Вот уж целый месяц, как питаемся сыром да кислым молоком. [205]

Тема о просе совершенно увлекла заседателей холма, заставив их надолго отложить в сторону покосы и другие интересы. Видно, пустота в желудке с ее чувствительными последствиями хорошо знакома этим людям по опыту. Необыкновенное ожесточение, с которым они бичевали самих себя, показывает ясно, что не раз они приходили путем тяжелых испытаний к грустному разочарованию в себе и к отрицанию тех начал житейской премудрости, которых держались их отцы. Все речи, касавшиеся недостатка проса, были проникнуты нестерпимой горечью... Не так говорят в кунацких, где благовоспитанные желудки красивых джигитов, туго и грациозно перетянутые ремнем, не смеют возвысить своих требований. Не найдется в нашем ауле ни одного молодого дворянина, который бы позволил себе намекнуть об ощущениях своего желудка. Боже сохрани от подобного неприличия! Такие прозаические рассуждения могут находить место и возбуждать всеобщее сочувствие только на холме. Там, как известно, одна хорошая спина из крепкого дерева ценится дороже всяких оружий с богатыми насечками, дороже самой изящной конской сбруи. Заседателям холма решительно нет никакого дела до тех идеалов, которые неотвязно преследуют сословие дворян, причиняя ему нередко большие неприятности. По их мнению, нет ничего соблазнительнее славы бочара Яхьи, арбяного мастера Чоры и неумомимого косца Хожи, на которых они взирают не без некоторой зависти и искреннего сожаления, зачем Аллах не дал им искусства этих достойных удивления мастеров. Но замечательнее всего, что темные ночи не производят на заседателей холма никакого воспламеняющего действия, не возбуждают в их груди беспокойного желания пошарить маленько вокруг себя. Эти почтенные люди предпочитают сидеть спокойно у домашнего очага, барски развалившись на разостланной у огня полости. Простая домашняя обстановка убаюкивает в них сильные искушения. Хозяйки их хлопчут об ужине, мешая беспрестанно в шумно-клокочущем котелке, который висит на железной цепи над ярким костром, и переливают из ведер в корыто только что надоенное парное молоко. Маленькие ребятишки ползают на четвереньках по полу и с криками протягивают ручонки, ловя за полы своих мам; а захопотававшиеся мамы сердито прикрикивают на них, говоря: «Не до вас мне теперь, замарашки! Подите вон, к нему». Замечу мимоходом, что, несмотря на свое свободомыслие в деле разных этикетов, холмовники считают неприличным для себя пускаться в интимные беседы со своими дражайшими половинами. Они ограничиваются неопределенными, угрюмыми

полуфразами, кидаемыми нехотя, через плечо, и очень похожими на мычание быка; а дражайшие половины никогда не дерзают называть их ни в глаза, ни за глаза собственными их именами. Разнежившийся [206] холмовник кричит на своих детищ: «Цыц, собачьи дети! Видите, что она занята. Подите сюда, ко мне... тью-тью-тью... я вам сейчас калача дам; вот он, вот». Дети таращат на него глаза, желая удостовериться, точно ли есть у него калач, или это только пустая приманка. «Подите же ко мне, я вам говорю! — грозно добавляет оскорбленный таким явным недоверием родитель. — Не то я впущу сейчас серого бирюка... вот, вот, иду к двери!» Тут он показывает вид, будто хочет подняться с места. Ребятишки, смертельно перепуганные, кидаются под защиту матери, и только вцепившись крепко в ее кафтан, решаются боязливо оглянуться на отца, а потом и на дверь. «Что за охота тебе пугать их?» — говорит мать с нежным укором. «А зачем поросята не хотят идти ко мне?» — отвечает муж. Затем, весьма довольный своей остроумной шуткой и впечатлением, произведенным ею на детское воображение, степенный холмовник впадает мало-помалу под сладкий говор котелка в глубокие размышления о разных житейских нуждах и, между прочим, о том, какую бы пару быков запречь утром в арбу. «Рыжий еще слишком молод, — думает он, — всего только два раза был под ярмом, пожалуй, не вынесет оводов и опрокинет арбу в ров, а у черного с лысиной шея очень потерлась, жаль бедняжку... Нужно непременно добыть новую ось, старая еле-еле держится, почти только силой моих молитв. Не попытать ли счастья у Чоры? Может, он даст свою арбу... я б ему после жатвы две мерки проса доставил на собственном плече... уаллахи, доставил бы... да нет, он ни за что не доверит. Это, это не человек, а свинья; никакой жалости нет. Дай, скажет, сейчас две мерки...» В эту минуту хозяйка ставит пред холмовником треножный столик с горячей кашей и с двумя бараньими ребрами, изжаренными на вертеле. Бычки рыжий и лысый вместе с Чорой исчезают мгновенно.

Человек, не предубежденный против заседателей холма, не решится осудить их за материальное направление мыслей и подобострастное поклонение мамону. По крайней мере я, хотя и не имею чести принадлежать к этому почтенному сословию, не могу без ужаса представить себе, что бы произошло на адыгской земле, если бы все холмовники вдруг переменили свой взгляд на жизнь и вместо воловьих рогов ухватились бы за конские гривы. Но, к счастью нашему, о подобной перемене нет и помысла в головах холмовников. На их плечах лежит пока существование целого аула. И если гордые джигиты, обитающие в кунацких, фантазируют на свободе о блестящей славе наездника, о красивых конях, дорогих винтовках, и считают чуть не бесчестьем провести темную ночь под кровом своей кунацкой, то всем этим они, без сомнения, обязаны заседателям холма. К тому же, надо сказать правду, холмовники народ, большей частью, положительный, хвастовство и ложь встречают у них несравненно менее почета, чем в кунацких. [207]

На холме строже соблюдается данное слово; лицемерие и ложный стыд совершенно изгнаны оттуда. Например, Хуца, нимало не стесняясь, высказывает без утайки сокровеннейшие ощущения своей души, и никто не думает издеваться над его откровенностью. «Без просяной каши я — пропащий человек, — говорит он, — и одного дня не выдержу. Даже пшеничный хлеб не помогает, особенно во время покоса».

— Дело известное, — отвечает его сосед. — В каше вся наша сила. Что твой хлеб! Только горло дерет: совсем не наша пища.

— Я думаю, вы теперь и от хлеба не отказались бы, — замечает им один из толпы. — Нет спора, каша лучше всего, а как нет ее, рад будешь и хлебу.

— Что и говорить! Тощий желудок заставит жевать и солому.

— Нет, как там хотите, а без проса невозможно братья за косу, — настаивает Хуца.

— Отчего же вы не сеете побольше проса коли не можете обойтись без него? — спросил я ближайшего моего соседа. — Вам, я думаю, не первый год приходится терпеть недостаток в нем?

— Не такие мы люди, чтобы заглядывать вперед, — лаконически отвечал он, и еще яростнее плюнул направо.

— Что же ты плюешься, Махмуд? Ослеп ты или с ума сошел? — вскричал холмовник, сидевший вправо от нас, обтирая поспешно рукавом густую свою бороду.

— Чума тебя дернула залезть мне под черкеску! — сердито пробормотал Махмуд. — Держался бы подальше.

— Ты спрашиваешь, почему мы не сеем побольше проса? — подступил ко мне Исмель, должно быть, прислушивавшийся к моим словам.

— Да, мне странно, что вы терпите ежегодно недостаток в просе, а не позаботитесь об нем заранее. Земли, кажется, у вас довольно.

— Гм! — значительно промышчал Исмель, налегая с особенной силой на воткнутую в землю палку с острым железным концом. — Вижу, что ты мало нас знаешь. Впрочем, где гусь, где орел? Ты только со вчерашнего дня живешь между нами, потому нет ничего удивительного, если житье наше кажется тебе странным. Но что скажешь о тех молодцах, которые, сидя в своих кунацких, поедают даром хлеб, и удивляются, если не станет вдруг дома чего поесть?

— Ну, как там себе ни дивись, мой господин, — громко проговорил один из стоявших, перебивая моего собеседника, — а я до тех пор не стану ему косить, пока он не достанет мне проса...

— В таком случае, не видать тебе косы в нынешнем году, — заметили ему, — откуда, думаешь, господин твой достанет проса? [208] Моли бога, чтоб он еще не потребовал его у тебя: амбар-то, надо быть, у него не через край.

— А мне что? — продолжал первый, уже приходя в азарт. — Хоть из-под земли выкопай, а давай мне провизию, иначе и шепотки не подыму. Виноват разве я, что в доме у него нет ни зерна, что его хозяйка принуждена полгода кормить его и его гостей за счет добрых соседок? А как у самих-то соседок ничего не останется — что тогда? Пояс туже подтяни и гляди на небо. Я каждый год высыпаю в его амбар половину собранного проса, — и больше ничего знать не хочу; хоть уйрай он с голоду, хоть расступись под ним земля и проглоти его — мне все равно.

Всеобщий громкий хохот ободрил отважного раба, который, с своей стороны, остался чрезвычайно доволен сочувствием кружка.

— Уаллахи, не шутя говорю, — продолжал он. — Сами посудите, я его раб, а он мой господин; не так ли? Я в точности исполняю все обязанности, положенные адыгским обычаем на раба; пусть же и он исполняет свои, если хочет быть хорошим господином,

уесли желает, чтобы служили ему верно и беспрекословно. Вспахать поле — мое дело, семена и волю — его, выкосить сено — горе рук моих, а коса, просо и два барана — камень на его шее.

— Желал бы я, чтобы слова твои как-нибудь подслушал твой господин; что он ответил бы на них? — сказал лубяный мастер Чора, человек крайне угрюмого нрава, как вообще все важные особы нашего аула, обладающие каким-нибудь искусством, а Ъотому проникнутые сознанием своего достоинства.

— Свидетель бог, что я больше тебя был бы рад этому, — отвечал разошедшийся не на шутку крестьянин. — И чтобы доказать тебе, что я ничуть не боюсь его, обещаю тебе пред этими людьми пять мерок проса, если ты вытащишь сюда моего господина. Я уже ходил к нему поутру, да не застал дома: ушел чуть свет бродить по кунацким. Однако подкараулю его непременно вечером и, если пожелаешь, приходи послушать, что я буду говорить ему.

— Мало, брат, ему нужды до твоих слов, — возражали ему, — Он себе весело проводит время между своими, знать не хочет ни о том, что хозяйка его чуть не милостыней пробавляется. Пока есть что кушать, он будет сидеть в своей кунацкой, угощать приятелей, а не останется ничего — оседлает коня, и ищи его, коли хочешь!

— А мне, если хотите знать, еще меньше печали — отвечал крестьянин, — что у него не будет сена на зиму, и лошадей нечем будет кормить. Вы думаете, я из жалости к нему убиваюсь над косою, порчу свою внутренность? Как бы не так! Первый раз в жизни помолюсь богу за него, если он забудет совсем о покосе. [209]

Для двух-трех коровушек своих я и руками нарву вдоволь травы. А молодец мой пошляется, пошляется, понюхает сакли всех своих приятелей, да повеся нос, приплетется домой. Изволь, если можешь, не думать ни о чем!

— Из толков их ты не поймешь, отчего мы не сеем вдоволь проса, — шепнул мне вполголоса старик Исмель, кивнув с пренебрежением в ту сторону, где ораторствовал мятежный крестьянин. — Если ты вправду желаешь знать причину этого непонятного тебе дела, то я очень охотно объясню его.

Я поблагодарил доброго старика за его готовность услужить мне и заверил его, что лучшего учителя в этом деле не найти мне и со свечой. Старик принял мой отзыв с достоинством, подобающим авторитету. Затем он слегка прикоснулся к моему плечу и заговорил так:

— Надо тебе сказать, что мы, адыги, странно созданы богом. Мы не чуем беды, пока она не стукнет в лоб. В ту минуту, когда скребу ногтями землю, желая выкопать из нее провизию для покоса, я проклиная себя, готов выщипать по волоску свою бороду. Зачем я, безумный, спрашиваю себя, не наполнил прошлый год своего амбара просом? Постой же, думаю, уж поумнею на будущий год непременно; не случится со мной такая глупость. И как ты думаешь, — поумнею ли я в самом деле? Нисколько. Выйдем опять в поле, вспашем по две полоски на быка; глядишь, там семян не достанет, там плуг нужно починить, у одного быки очень устали, а другой жалуется на нездоровье; вот и начинаем спрашивать один другого, не слишком ли много засеяно? Еще, бог знает, уцелеет ли оно от града, саранчи, засухи, скота, того, другого. Смотришь: соседние пахари собрались уже домой, с песнями да стрельбой в деревянного оленя, что торчит высоко на шесте, в передовой арбе. Ну, разумеется, при виде такого веселья, всякий спрашивает себя и других: неужели мы хуже своих соседей работали, что должны вернуться домой позади

их? Нет, не бывать этому! Доканчивайте живее работу, запрягайте арбы, готовьте оленя, давайте сюда бузы, хлеба. А как навезут всего этого из аула, мы и потянемся домой, точно со свадьбы какой: и стар и млад выходят из себя, беснуются напропалую. Сам посуди, можно ли среди такого веселья вспоминать о том, что прошлый год каких-нибудь два-три месяца не брали в рот просяной каши?

— Пословица говорит: печали желудка легко забываются, а не скоро лишь муки сердечные, — добавил жиденский мужчина, сидевший сбоку Исмея.

И в самом деле, пословица эта, ободрявшая, быть может, не одно поколение наших отцов, возымела и теперь свое благотворительное влияние. Прошлогодние печали желудка и неприятное предчувствие скорого их повторения поуспокоились немного. «Будь [210] что будет, — храбро провозгласили со всех сторон. — Жалобой делу не пособить, жалоба — бабье дело. Не в первый, да верно, и не в последний раз вздыхаем мы о просе. Предки наши не больше нас сеяли, однако нам еще не приходилось слышать, чтобы хоть один из них умер с голоду; а голод посещал их частенько, да иногда такой страшный, что родители продавали детей за мерку проса, чтобы не замучить голодной смертью и себя, и их; когда миновала беда, выкупали их назад за двадцать и, более туманов. От таких уроков они вовсе не думали быть осторожнее на будущее время».

— Да у нас по крайней мере есть одно утешение, какого не имели предки наши: у нас теперь соседи — дети Иваннычей, — заметил кто-то из толпы.

— Уаллахи, ты истину сказал, — поддакнули ему другие. — Без них что бы с нами было?

— Ну уж отыскивали сокровище, — нечего сказать! — возразил с горькой иронией один из сидевших. — Отдаем его вам без зависти, будьте счастливы с своей находкой.

За сторонника Иваннычей выступил дюжий молодец в пестром бешмете, строгавший лопаточку для косы.

— Нет, ты этого не говори, — сказал он, обращаясь к тому, который не признавал силы новооткрытого утешения. — Русские во многом полезны нам. Что ни понадобится, бежим тотчас к ним. Бабы наши соберут десятка два яиц, масла, кур, — все это ведь деньги, чистые деньги. Да и сам хоть от скуки нарубишь воз дров и повезешь в станицу, или копну сена — вот и холст на рубаху, да мерка муки. Да что ни возьми — всему есть цена. Только не сиди развеса уши. Конечно, на счет их веры и обычаев и говорить нечего. Непристойно мусульманину восхвалять их.

Против таких убедительных доводов не нашлось достаточно сильных возражений. Даже замечание одного почтенного белобородого старичка, что, мол, бабы наши, с тех пор как русские под -суседились, слишком пристрастились к пестрым тряпкам, чего не бывало в старину, прошло незамеченным. Партия приверженцев Иваннычей оказывается на холме гораздо многочисленнее и сильнее, нежели я предполагал. Впрочем, партия эта признает в русских только одну материальную пользу, не входя в разбор других сторон. Но заседатели холма, не исключая даже старичка, восхвалявшего старину, выпустили из виду самое важное, осязательное последствие близости Иваннычей. Может быть, они обошли его нарочно, потому что статья эта слишком щекотлива для самолюбия и чести супругов нашего аула и гласно признавать ее существование было бы неловко даже на холме. Дело идет о тех правах на господство над мужьями, которые прекрасный пол со дня на день все больше и прочнее забирает в свои руки. С тех пор как [211] судьба позаботилась снабдить нас, дикарей, полезным соседством детей Иваннычей, золотиносные рудники, из которых

черпали наши мужчины все нужное, вдруг иссякли; потребовалась необыкновенная ловкость и много смелости, чтобы вытянуть из них хоть что-нибудь. Зато на месте засорившихся колодцев открылись другие источники, но только не для одних мужчин, а также для их спутниц, которые во время оно занимались лишь приведением в порядок того, что приносили домой мужья, а сами ровно ничего не зарабатывали. Теперь же дело пошло несколько наыворот. Мужчины сибаритствуют, а жены неутомимо шьют, ткнут домашние сукна, собирают припасы, отказывая в них себе и семейству, соперничают друг с другом, кто больше выручит русских монет. Вместе с тем они незаметно проникаются сознанием своего достоинства, приобретают гибельную для мужей уверенность, что без жен они чего доброго остались бы на бобах. Удивительно ли после всего этого, что жены набираются разных либеральных идей, осмеливаются подвергать строгому критическому разбору безусловную власть своих мужей и даже — ничто не ново под луной — бесстрашно ополчаются на них. А почтенные сожители между тем утешают себя мыслью, что, авось, никто из соседей не проведаст их домашнего позора. Они скорее проглотят горячие уголья, чем сознаются кому бы то ни было, что вся одежда их, как верхняя, так и нижняя, заработана их женами. Впрочем, все это совершается пока только в кругу холмовников. У других классов нашего аула женщины из так еще деятельно подвизаются на поприще зарабатывания монет, а потому и не обнаруживают стремления накинуть шелковые уздечки на своих муженьков.

— Что эти за арбы? — кричал один из толпы, поднявшись на ноги и показывая рукой на дорогу — Важно что-то скрипят, должно быть, хорошо набиты.

— Это, верно, жнецы, что неделю назад отправились к русским наниматься, — отвечал другой, тоже поднимаясь с места.

— Из какого они аула?

— Не спрашивал.

— Так и есть. Арбы набиты снопами пшеницы, — вскричал долговязый юноша, становясь на цыпочки и внимательно глядя на дорогу.

— Пшеница, говоришь? — спросили вдруг несколько человек. — Что же я не вижу ее?

Глаза всех устремились на дорогу, по которой тянулась вдали длинная вереница арб. Глухой шум пискливых колес едва-едва достигал наших ушей. Те, которые обладали хорошим зрением, подтвердили донесение сухопарого молодца с журавлиной шеей...

— А мы вот сидим да толкуем, — с горечью проговорил [212] пестрый бешмет с лопатой.
— Догадайся мы немного раньше, и у нас была бы теперь провизия для покоса.

Поднялись снова толки да упреки, прекращенные на время пословицей о печалях желудка. Грустная песня холмовников, терзавшая несколько часов сряду непривычный мой слух, пробрала меня до костей: мне стал невыносимо тяжело. Я отошел к группе резвившихся ребятишек. «Это урус», — говорили некоторые из них при моем приближении, и десяток любопытных глаз остановились на мне. Мне вдруг припомнилось то время, когда я впервые увидел урусов, пришедших к нам в аул из ближайшей крепости выменивать кур, сало и т. п. Тогда мы жили далеко отсюда, и появление красных фуражек было чудом не для одних детей. Притаившись за толстым плетнем вместе с товарищами, я пожирал глазами невиданных дотоле людей, тщетно силился открыть позади их что-нибудь похожее на хвост, который приписывали им более взрослые из нас. Мы сопровождали их

по целому аулу, держась от них на расстоянии почти ружейного выстрела. Все попытки мои подойти к ним поближе были напрасны: у меня никак не хватало на это смелости. Я с завистью смотрел на тех храбрецов из нашего детского круга, которые дотрагивались до них руками и даже объяснялись с ними знаками. Мог ли я подозревать в то время мою будущую судьбу?

— Арбуз продай! Яблоко продай! — слышалось вдруг с поворота ближайшей к воротам улицы, и шумная ватага мальчишек, словно туча воробьев, спугнутая аульной бабой с просушиваемого на солнце пшена, пронеслась вихрем мимо заседателей холма, перегоняя и сваливая друг друга с ног. Они летели в ту улицу, откуда раздавался голос: «Арбуз продай! Яблоко продай!»

— Видишь, как беснуются, собачье отродье! — сердито ворчал мне господин, которого шалуны едва не сбили с ног.

— - Что с ними случилось? — спросил я его.

— А чума их ведаёт! — сказал он. — Должно быть, почуяли, проклятые чертенята, русский запах. Эх, жаль мне, право, что русские не отрежут им ушей! Поверишь ли, что от этих ничтожных клопов русским просто нет проезду мимо аула. Чуть завидят они их издали, подымут такой гвалт, что ушам больно. Спасибо солдатам: они иногда попугивают их своими прикладами, но больше в шутку.

— Чего же хотят они от русских? — спросил я.

— Поди ты, спроси их, — отвечал сердитый холмовник. — Камнями в них швыряют да дразнят. В один мешок посадить бы их всех, сколько ни есть, да в реку; вот чего им надо.

Долго еще бормотал в этом тоне неистощимый во гневе собеседник мой, обращаясь ко мне, хотя я и не выказывал ни малейшего расположения вести с ним дальнейшие рассуждения. Из [213] открывшейся предо мной картины я очень легко мог и без его содействия вывести свои заключения. Из-за угла улицы показалась русская повозка, которую облежала непроницаемая масса оборванных, босоногих мальчишек. Между ними пестрело несколько женских платков. В передней части повозки сидел дюжий казак в толстой холщовой рубашке, перетянутой бечевкой; а подалее, в глубине повозки, помещалась краснощекая, миловидная казачка, со вздернутым кверху носиком и голубыми лукавыми глазенками, в каком-то неуклюжем балахоне из черного толстого сукна; голова ее была повязана клетчатым платочком. Казак неумоимо помахивал на все четыре стороны кнутом, желая удержать в почтительном от себя отдалении напиравшую толпу. Казачка заботливо накрывала своей полой кучи арбузов, дынь, яблок, огурцов и умирляла кур, которые, несмотря на то, что были накрепко спутаны веревками, все еще не покидали приятной надежды вырваться из мешков и потому очень усердно работали крыльями. Мена была чрезвычайно оживлена. Молодые люди обоего пола стекались со всех концов аула к заманчивой телеге. Один нес кусок сала, другой пару яиц, третий горсть пшена в чашечке, четвертый мчал во весь дух опрокинутую вниз головой курицу, которая немилосердно кричала. Тех, у кого было что-нибудь в руках, казак благосклонно допускал к повозке и пускался с ним торговаться: но к пустым рукам он решительно не благоволил.

— Твой масло два яблок, — говорил он, протягивая руку к чашечке одной девочки.

— Нат, — отвечала та и показала, вместо двух, все пять пальцев. Казак накинул одно

яблоко, и масло девочки пошло в горшок казачки; а девочка, весело подпрыгивая, пустилась домой. Кто не может объясняться с казаком, прибегает к помощи сведущих в русском языке. «Твой давай три арбуза, а мой давай курица!» — говорит оборванный малый.

— Ты сам не стоишь трех арбузов, — отвечает ему казак.

— Какой жирна! Харош! — заговаривает малый, щипля свою курицу за грудь, причем она издает отчаянный писк, «Чего пятишься? Отдай ее, — подталкивает товарищ обладателя курицы. — Или думаешь взять за нее весь воз?» «Маловато три арбуза», — говорит малый нерешительно. «Я тебе говорю, отдай! Не будешь каяться, — настаивает товарищ, — впрочем, если хочешь, я уломаю, пожалуй, гяура прибавить к трем арбузам пяток яблок, только смотри — пополам их». Обладатель курицы, подумав немного, соглашается на предложение приятеля. А приятель, как видно набивший руку в подобных делах, начинает переговоры с казаком, ловко умасливает его то лестью, то нежными упреками и добивается наконец своей цели... [214]

Дело шло как нельзя лучше. Товар казака исчезал с необыкновенной быстротой из вместительной телеги, заменяясь в то же время курами, яйцами и прочей живностью. Охотников до арбузов и яблок прибывало все больше. Но вдруг завязался горячий спор между казаком и одним из многочисленных покупателей, стройным, высоким юношей в желтой, разорванной подмышками черкеске. Крик споривших становился все громче, задорнее, и покрывал собой неясный гул обступившего народа. «Твоя дурак! — ревел высокий юноша, храбро подступая к казаку. — Я сказал шатыре арбуз за мой индук, а твоя давай три, как можно так сдело!» «Пошел прочь, татарская лопатка! — отвечал казак. — Рассуждать еще с тобой». «Ну давай мне мой индук и возьми арбуз», — сказал молодой человек.

— Пошел, тебе говорят! — повторил казак. — Не то, вот что я тебе дам!

Тут он поднял кверху свой кнут. При этом движении русского парня в толпе произошло вдруг такое грозное волнение, что он невольно опустил свою руку. С высоким юношей едва не случился удар от страшного гнева. Он долго силился что-то проговорить, но звук замер в гортани. «А! русская собака... так я же тебе покажу», — прошипел он наконец с неимоверным трудом уже по-черкесски и в два прыжка очутился возле соседнего плетня; выдернул из него огромный кол и устремился было на озадаченного казака, но благоразумные люди из толпы не допустили юноши выполнить его намерение. «Хоть он и гяур, но все же наш гость пока в ауле; разве можно бить его?» — говорили они взбешенному молодому человеку, вырывая из рук его дубину. Молодой человек не противился увещаниям старших и, казалось, решил снести терпеливо оскорбление казака. С минуту простоял он молча позади толпы, потом подзвал к себе мальчишку лет тринадцати, вероятно брата, и отправил его вместе с вырученными за индюка тремя арбузами в аул, а сам протеснился к повозке и выхватил из нее самый большой арбуз. Казачка успела было поймать его за левый рукав, но он дернул и оставил у нее кусок сукна; затем обратно продрался сквозь толпу и не спеша направился по дороге к речке. Русский парень обратился сначала к присутствующим с воззванием о заступничестве. Толпа ничего на это не отвечала, вероятно, припомнив его недавнюю угрозу высокому юноше. Потом он назначил в премию один арбуз тому, кто поймает похитителя, но и эта приманка не имела силы. Тогда он обратился к народу, говоря: «Э, ваша яман, все ваша чушка», и, передав кнут своей спутнице, пустился сам в погоню. Высокий юноша продолжал идти шагом. Он вовсе не думал скрыться со своей добычей, что весьма нетрудно было сделать. Стоило ему лишь перескочить через любой плетень и засесть в

гуще высокой [215] кукурузы: целый аул не мог бы отыскать его там. Но молодец совсем другое имел в виду; он хотел посмеяться над врагом, да и других посмешить. Похищение арбуза было только средством, а не целью. Поэтому он нарочно останавливался, подпускал к себе преследователя шага на два и, когда тот собирался схватить его, кидался бежать. Так он довел русского парня до речки и повернул вдруг назад к толпе, толкнув его при этом слегка в бок. Несколько раз повторялась эта скачка взад и вперед, сопровождаемая громким смехом довольной толпы. Высокому юноше скачка ничего не стоила. Он бежал легко, свободно, не насилуя мускулов. Он подкидывал на бегу арбуз, ловил его снова, дразня тем врага, а русский парень, малый в косую сажень, представлял собой совершенно другую фигуру. Громадные сапоги его с голенищами выше колен, с толстыми гвоздями в пятках, производили невероятный топот, и лишали его всякой возможности легко передвигать ноги. Он напрягал все свои силы, лез почти из кожи. Горячий пот прошиб насквозь толстую его рубаху. Пар шел от него, словно от загнанной почтовой лошади. Задышавшись от усталости, он сорвал с своей головы папаху. Густые длинные волосы рассыпались по его плечам и совершенно заволокли глаза. Парень с досадой отряхивался и отбрасывал их поспешно на затылок... Наконец он догадался, как вернее догнать быстроногого джигита. Вдруг с разбегу кинулся он наземь среди пыльной дороги, проворно стянул с ног тяжелые колоды и босой ударился снова за похитителем. Восторгу толпы не было конца. Многие взялись за животы и в истерике припали кто к чему мог, вероятно, из опасения, чтобы не лопнуть. Десятки мальчишек, с криками и свистом следовавшие за казаком, кинулись к его сапогам. Высокий джигит, вдоволь натешившись неуклюжим парнем и считая себя достаточно удовлетворенным за нанесенное ему оскорбление, перебежал по тонкому бревну через речку, оставив на берегу свою добычу. Казак послал за ним усталой рукой довольно большой камень; поднял затем свой арбуз и, облитый весь потом, покрытый пылью, с трудом переводя дыхание, повернул к своей повозке. Унижение несчастного парня этим не кончилось. Сапогами его завладели несколько шалунов, повесили их на кончик длинного шеста и умчали с песнями в поле. Казак пошел было за ними, но скоро раздумал, плюнул с негодованием, махнул рукой и молча сел на свою повозку. Тут только народ сжалился над ним. Посыпались со всех сторон жалобы и проклятия на необузданных ребятишек. Какой-то суровый холмовник отделился от массы и, обратившись к шумной процессии, над которой в виде знамени торчали на воздухе безобразные сапожищи русского парня, крикнул громовым голосом: «Эй вы, скверные мальчуганы, вырожки без стыда и страха! Бросьте сейчас же сапоги, не то шеи всем скручу». Слова его сопровождались [216] такими телодвижениями, которые не оставляли ни малейшего сомнения, что они готовы перейти в дело. Шалуны, немедленно бросив шест с сапогами, разбежались. Суровый мужик сам понес отбитую добычу, держа ее, впрочем, из предосторожности за края голенищ двумя пальцами, и возвратил хозяину. Казалось, подобные неприятности должны были бы охладить ревность русского парня к спекулятивным предприятиям. Ничего не бывало. Он преспокойно поворотил свою телегу в самую многолюдную улицу, выкрикивая еще сильнее прежнего: «Арбуз продай! Яблоко, огурец продай!» Густая кучка народа шла торжественным ходом за его повозкой. Верно, не в первый раз приходилось парню видеть подобные сцены.

Тем временем арбы со снопами пшеницы поравнялись с заседателями холма.

— Селям алейкум! — внятно произнес погонщик передовой арбы, привстав на вытянутые шеи своих волов.

— Алейкум селям! Добро пожаловать! — заговорили в один голос заседатели холма и дружно поднялись на ноги в знак своего уважения к прохожим незнакомцам. Затем Исмель вместе с другим стариком направились к передовой арбе, постукивая оземь

своими палками и откашливаясь с шумом. Передовой возница, вертлявый человек, в куцей рабочей черкеске, без газырей, с большими разноцветными заплатами на плечах и в иных местах, остановил своих быков, произнося в нос: го! го! и стукнул по их морде коротким хлыстом. С ним остановилась и вся длинная цепь плотно нагруженных ароб.

При этом произошла такая невообразимая музыка, подобие которой можно найти разве только в самом диком сочетании звуков всех известных в мире инструментов. Передовой возница, как хороший фокотль (Крепостной человек), не чуждый при том некоторой претензии на знание дворянских обычаев, проворно соскочил с ярма и сделал несколько шагов навстречу заседателям холма, в которых, разумеется, его опытный глаз тотчас же узнал людей одного с ним покроя. Между ними завязалась тонкая беседа, в которой обе стороны строжайше соблюдали неизменные правила адыгской вежливости. Правила эти до такой степени вкоренены в натуре всякого черкеса, что пренебречь ими вполне не могут даже такие простые особы, каковы заседатели холма. Кружок наш тихо перешептывался между собой, поглядывал искоса и, кажется, не без зависти на желтые снопы пшеницы, заманчиво выглядывавшие из проезжих ароб. На лице почти каждого холмовника я читал сильное нетерпение узнать как можно скорее результат беседы. Исмеля и его товарища с счастливыми обладателями пшеницы. Несмотря на [217] это, никто из них не решился подойти к арбам. Они боялись излишним любопытством уронить себя в глазах незнакомых людей. Но вот разговор кончился. Погонщики взобрались опять на шеи своих несчастных волов, и арбы заскрипели еще невыносимее прежнего. Проезжие, стоя на ярмах, прощались с заседателями холма, благодарили их в отборнейших выражениях за предложенный им ночлег. Заседатели холма, со своей стороны, не хотели тоже уступить им в знании черкесских обычаев и упорно настаивали на своем.

— Смотрите, уже наступила ночь, — говорили они, — куда вы так торопитесь? Переночуйте у нас, ради бога.

— Пошли вам бог тысячетное довольство и столько же лет здоровья! — пели хором возницы, пока не отъехали от нас на ружейный выстрел. Когда они скрылись совершенно из виду, кружок обступил Исмеля с товарищем, а последние нарочно медлили открытием жадной толпе результатов своей беседы, желая придать еще более важности тому, что имели сообщить.

— Вот как порядочные люди умеют добывать провизию, — вымолвил наконец Исмель. — Не чета нам.

— Да откуда, чума их возьми, набрали они столько пшеницы? — спрашивали из толпы. — Не на краю же света достали они ее?

— Да, верно, и не с дороги подняли, — заметил Хуца, успевший наконец с горем пополам снабдить свою вилу рожками, — если бы пшеница росла по дороге, нам тужить бы не о чем...

Старик Исмель предложил почтенной компании, как единственное средство выйти из затруднительного положения, отправиться на неделю в одну из ближайших станиц, как это сделали проезжие. Он уверял, что до тех пор, бог даст, трава не совсем еще высохнет.

— А что, не спрашивали вы у проезжих насчет платы? — спросил кто-то из толпы.

— Как не спросить, спрашивали! — сказал товарищ Исмеля. — Говорят, русские дают с

двадцати один сноп.

— Чего же нам больше желать? Отправимся завтра же, — поднялись со всех сторон голоса.

Затем все без исключения согласились приготовить за ночь все необходимое, а с зарею поехать отдельными артелями в станицу...

Между тем солнце незаметно доплыло до крайней черты горизонта и остановилось на минуту на остром шпиге одной из гор, как бы затем, чтобы взглянуть оттуда еще раз на пройденное пространство и потонуть за длинным хребтом. Красноватые, холодные лучи его робко трепетали на земле, вытесняемые [218] постепенно черными полосками, которые начинали уже выбегать из горных теснин. Вечерняя прохлада заструилась в неподвижном воздухе. С реки потянуло чудной свежестью. Гладкое поле курилось душистыми испарениями: над ним носилась разноголосая музыка. Наступил один из тех вечеров, когда стесненная полуденным зноем грудь жадно захватывает в себя налитый ароматами воздух, когда расслабленные члены получают снова бодрость и силу. В душу человека проникает тогда какое-то тихое, светлое, невыразимо-сладостное ощущение. Все, что таится в глубине сердца черного, эгоистического, — желчь, накопленная рядом неудач, безысходная тоска праздной жизни, мрачное чувство несбывшихся надежд, — все это уносится на мгновение далеко, далеко. Беспокойные порывы мысли затихают, уступив место безмятежному созерцанию и спокойному мечтанию.

Солнце исчезло. На противоположной стороне неба промелькнул летучей искрой умирающий свет и потух. Затем багровая полоса стремительно пробежала в вышине, золотя верхушки гор, и скрылась на запад. Как голодные волки на опустевшее поле битвы набежали сумерки и охватили мигом всю окрестность; но они еще долго боролись с ясной синевой неба.

Из широких труб саклей повалили серые клубы дыма и образовали над аулом темно-бурое облако. На нас несло запахом шашлыка и других приготовляемых к ужину яств. Некоторые из холмовников с приятными ужимками расширяли свои ноздри, стараясь втянуть в себя как можно больше ароматических частичек. Скотина с громким мычанием возвращалась с пастбища. Чабан, гнавший ее, неистово кричал во все горло: «Го-го-го! А, чтобы падеж нагрянул на вас завтра же утром, чтобы проку от вас не было хозяину!» Слова эти сопровождалась ударами тяжелой дубины да швырянием камней. Вместе с волами и коровами приближались к аулу овцы отдельными кучками. Впереди их выступали важно, подергивая куцыми хвостиками, бородатые козлы, игравшие роль колонновожатых. Молодые пастухи, желая похвастать своим искусством перед собравшимся на холме народом, наигрывали с ожесточением на камышовых свирелях известную между адыгами нескромную повесть о деяниях девицы Джен-сарай 30.

На хриплое блеяние старых овец откликались нежные, чистые голоса курчавых барашков, которых разлучили поутру с любезными родительницами. Поэтому они беспокойно оборачивали головы в ту сторону, откуда доносились знакомые голоса, даже покушались не раз устремиться туда целой гурьбой. Но пастухи, нимало не тронувшись их нежными чувствами, поспешили загнать их в середину обнесенного низеньким плетнем круга. Человек десять дойников в одних рубашках, с ведрами в руках, с [219] засученными рукавами, а иные даже и без рубашек, стояли уже около другого плетневого круга, в который должна была вступить одна из приближавшихся овечьих кучек. Они звонили от нетерпения в свои ведра и махали шапками пастуху, побуждая его скорее гнать свое стадо. Из аульных ворот стали выходить женщины в пестрых тряпках. Размахивая

тоненькими прутиками, они торопливо семенили навстречу стаду. Ни одна из них не прошла мимо холма, хотя это был кратчайший путь в поле, а все загибали довольно большой крюк, чтобы обойти как можно дальше мужскую компанию: они робко и стыдливо отворачивались в сторону, предоставляя заседателям холма любоваться их спинами. Предосторожность эта была, однако, совершенно лишняя, потому что между ними не было ни одного хорошенького личика, которое могло бы угрожать душевному спокойствию кого-либо из холмовников. Только шалуны-мальчишки, положившие себе за правило никого и ничего не пропускать мимо без того, чтобы не подразнить, преследовали их по пятам, забегали то спереди, то с боков, пока выведенные из терпения бабы не прибегали к помощи своих прутиков. Крестьянки более молодые и красивые не отваживались на смелое путешествие в виду мужской компании, среди которой, может быть, находились их мужья или кто-нибудь из родственников. Потому они дожидались своих коров у ворот, скрываясь от нас за толстой оградой. Мимо нас поминутно проносились стрелой молодые телята, выделявая на бегу такие удивительные аттраша, каким позавидовали бы гениальнейшие танцмейстерские ноги. Угнаться за ними могли бы разве только неугомонные аульные мальчишки, для которых, кажется, нет ничего невозможного на свете, и они действительно успевали ловить их за хвосты, хотя при этом получали сильные толчки в грудь, а нередко и в лоб. Степенные заседатели холма начали один за другим покидать место своей сходимости. Потягиваясь да зевая, шли они в поле справиться засветло — все ли быки и коровы их вернулись с пастбища, а если нет, то распечь хорошенько чабана. Около меня осталось всего человек пять, и как нарочно самых необщительных и угрюмых. Все их внимание было обращено на смешанные группы людей, рогатого скота, овец и лошадей, которыми усеялась вся окрестность. Они лишь изредка обменивались между собой замечаниями, которые по своей специальности были совершенно недоступны мне. Таким образом перебирали они достоинства и недостатки проходивших мимо быков, сообщали при этом несколько биографических данных о времени их рождения, первого посвящения под ярмо и особенно замечательных подвигах, совершенных тогда-то и там-то...

— Что вы там караулите, точно вороны падаль? — заметил нам проходивший мимо человек. — Не видите, что ли, что чрез вас [220] бабы не могут выйти в поле: небось молока-то им не пошлете, коли теленок высосет корову.

— Ах мы, слепцы этикие! — всполошились мои собеседники от такого замечания и поспешили пересесть на другое место, подальше ворот. Я отделился от них, чтобы наедине наблюдать за оживленной картиной. Нескончаемой нитью тянулись к воротам сытые коровы, с полными сосками чуть не до земли. Молодые бычки, не изведавшие еще тяжести ярма, задорно мычали, рыли рогами землю и набирали на свои головы кучи сору и пыли. Натешившись вдоволь подобными занятиями, они принимались довольно неучтиво бодать друг друга. Впрочем, говоря беспристрастно, они соблюдали при этом некоторые правила честного поединка (как видно, и скоты не вовсе лишены понятий о чести и благородстве). Так, бойцы, обнюхавши предварительно друг друга, вероятно, желая узнать — каких правил держится каждый из них в подобных случаях, пятились потом медленно назад, наклоняли с угрожающим видом рога, издавали в одно время глухое рычание, как бы говоря: «держишь!» и вдруг, лягнув зад-у ними ногами высоко вверх, устремлялись один на другого. Завязывался отчаянный бой. Сцепившись рогами, бычки упорно отстаивали каждый свою позицию; то один подавался вперед, проводя по отвердевшей земле глубокие следы своими острыми копытами, то другой. Возня продолжалась до тех пор, пока другие бычки, наблюдавшие за ними все время в качестве секундантов, не разгоняли их в разные стороны толчками в бока. Совсем иначе выказывали себя толстенные низенькие бугайчики с коротенькими рожками, но зато с чрезвычайно толстыми шеями. Джентльмены эти обнаруживали несравненно более

нежные, эротические наклонности, чем сверстники их, юные бычки. Они настойчиво увивались за молодыми особами прекрасного пола и в пылу увлечения доходили до самого унижительного подбострастия. Впрочем, все старания их были напрасны, потому что те, перед которыми они рассыпались в любезностях, в невинной простоте души употребляли все меры, чтоб улизнуть как-нибудь от излишних ласк.

Мало-помалу все кругом стихло. Поле опустело. Лишь две-три хромые коровы, оставшие от стада по недосмотру хозяев, плелись медленно и неохотно к воротам, подбирая на ходу измятую траву. Мрак плотно окутал собой небо и землю. Белые стены саклей превратились в длинный ряд черных точек. Только по временам мелькали вдоль и поперек улиц тоненькие полосы света, исчезающие тотчас, как затворялись двери саклей. Из ближайших дворов доносились до меня то гневные повелительные, то ласковые увещательные обращения женщин к коровам, сопровождаемые шумом лившегося в ведра молока. Наконец, по всему аулу пошел стук от заколачиваемых ворот, дверей, хлевов и конюшен. Стук этот [221] означал, что жители, окончив дневные хлопоты, уселись спокойно у своих очагов в ожидании ужина, а потом и ложа. Затем наступило совершенное безмолвие, среди которого раздавался иногда протяжный оклик караульщика овец. В виде напутствия на сон грядущий зазвенел с минарета плавный, величественный голос нашего муллы, и звуки божественных слов тихо-тихо потонули во мгле. Не думаю, чтобы нашлось много охотников пойти на его зов, за исключением пяти-шести старичков, которых близкое веянье сырой могилы сделало поневоле набожными.

Комментарии

25. Азан — призыв к молитве у мусульман.

26. Салдуз — оруженосец.

27. Пилигрим — странствующий богомолец, паломник, странник.

28. Инглизы — англичане.

29. Хаджи (тур. паломник) — мусульманин, совершающий хадж, т. е. паломничество в Мекку.

30. Джессарай — героиня неизвестного адыгского предания.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ

ХАРАКТЕР АДЫГСКИХ ПЕСЕН

Из всех произведений народного творчества изустная песня служит наиболее полным и верным выражением отличительных свойств народного характера. Вот почему при изучении бытовых особенностей какого-либо народа исследователи обращаются, как к одному из главнейших пособий, к песням, сохранившимся в его памяти. Таким образом, песни приобретают значение исторического документа даже в таких странах, где письменные памятники сохранились с древнейших времен. Понятно, что она должна быть рядом с изустными преданиями, единственным достоверным источником при исследовании прошлой жизни всякого народа, не имевшего никогда письменности, каковы, например, кавказские туземцы.

Быть может, не у многих народов песня запечатлена так ярко и осязательно типическими особенностями национального духа, как у адыге. У них песня так тесно связана с жизнью и так сильно проникнута господствующим ее направлением, что если бы от племени адыге не осталось для потомства никаких других следов, кроме его песни, то по ней одной можно бы составить определенное понятие о жизни и деятельности этого племени.

Подобная связь объясняется, кроме общих причин, и племенными особенностями адыге, отличавшимися своего рода блеском, постоянством и односторонностью.

Условиями исторической своей жизни и географическим положением занимаемой ими страны все кавказские горцы призваны были развить исключительно начала военно-республиканских обществ, и все они, до известной степени, выполнили свою задачу. Но ни у одного из них военно-аристократические учреждения и воинственный дух не выработались в таких определенных чертах, не были доведены до такой полноты и совершенства, как у адыге. Племя это может быть названо по справедливости творцом и первым распространителем духа рыцарства среди прочих кавказских туземцев. Дух этот лег в основание его политического, общественного и домашнего быта. Им проникнуты насквозь его нравы и [223] обычаи. Быть или не быть порядочным наездником, т. е. героем — было для всякого свободного адыге почти равнозначительно вопросу о жизни и смерти. Можно сказать, что адыгское дворянство не знало иных целей и стремлений в жизни, кроме наезднических подвигов, и слава героя была заманчивее для него всех мирских благ. Оно не довольствовалось, однако, репутацией воина бесстрашного, смелого, предприимчивого, испытанного всякого рода лишениями и невзгодами, но метило гораздо дальше, добивалось вместе с тем славы благородного, великодушного рыцаря.

В этом отношении адыги далеко опередили другие кавказские племена, для которых имя храброго воина составляло конечную цель стремлений. Этим племенам недоставало величия и изящества, которыми запечатлен весь строй жизни адыгского общества. Их обычаи проще и патриархальнее адыгских, что нужно приписать отчасти демократическому устройству большей части этих племен. Политическая же организация адыгского племени была по преимуществу аристократическая. Даже те отрасли его, которые не имели среди себя сословия князей, как, например, шапсуги 31 и абазехи, по характеру общественного и домашнего своего устройства были почти такими же аристократами, как кабардинцы, темиргойцы 32 беслинейцы 33 и пр.

В жизни большинства кавказских горцев мы не встречаем тех многосложных, в высшей степени щепетильных отношений, условных приличий — торжественности и принужденности, которыми опутано было общество адыгов. Так называемый черкесский дворянский обычай (орк-хабзе) ни в чем не уступал известным десяти тысячам китайских церемоний.

Обычаи, манеры, даже костюм и конская сбруя адыгов были издавна для остальных горских народов предметом усердного подражания и заимствования. Самые значительные из них по численности и устойчивости племенных своих преданий сильно подчинились рыцарски-аристократическому влиянию адыгов. Высшие сословия их переняли у последних не только образ жизни, но и предпочитали их язык своему родному. Они также усердно желали казаться черкесами, как еще недавно иные русские хотели преобразиться в французов. Само собою разумеется, что и народ старался по возможности не отставать в этом отношении от своих представителей.

Все это показывает ясно, что адыги не остановились, подобно своим соседям, на степени обыкновенного военного общества, но развили свои воинственные наклонности до идеальной тонкости, до настоящей виртуозности, воплотили принцип военно-аристократических свободных учреждений в живые, привлекательные формы и возвели их в целую стройную систему.

Мы должны, однако, оговориться, что сказанное относится [224] главным образом ко

временам независимости черкесских племен.

С течением времени дух адыгского наездничества и то, что было лучшего в племенных учреждениях, ослабевали постепенно от различных неблагоприятных условий.

С одной стороны, магометанство распространилось между адыгскими племенами, внесло в их жизнь религиозный фанатизм и политический деспотизм, неизвестные им до того времени. С другой, судьба послала им могущественного врага, стремившегося подчинить их своей власти.

Не говоря уже о том, что немногочисленные, разъединенные вечною враждою племена не могли не чувствовать слишком живо громадной разницы в собственных ничтожных средствах к защите с подавляющим превосходством и неистощимыми средствами противника, — самый способ ведения войны, принявший с самого начала партизанский характер, не разбиравший средств к достижению предположенной цели, извратив рыцарские понятия древнего черкесского наездничества, заставил адыгские племена употреблять в видах самосохранения и возмездия много таких уловок, которые не вытекали вовсе из духа народа и считались бы им, при других обстоятельствах, унижительными для чести наездника.

Но все-таки не корысть и не кровожадность, а жажда подвигов и не умиравшая в сердце народа любовь к независимости и свободе одушевляли адыгов в продолжительной борьбе за политическое свое существование.

Черкесский наездник служил олицетворением не одной грубой, материальной силы, но соединял в себе все идеальные качества, до которых доросли понятия адыгов. Отсюда легко объясняется, почему все адыги, за исключением женщин и несвободного класса людей, не хотели и не могли быть ничем иным, как только наездниками.

Даже лица духовного звания из природных адыгов — а их было очень немало — вследствие неохоты черкесского дворянства вступать в это сословие, которое с самого начала введения мусульманства в черкесских племенах пополнялось из среды вольноотпущенников, — даже эти естественные проповедники миролюбия ничем не отличались от окружающего их общества. Они были вооружены и одеты не хуже всякого наездника, ездили верхом, участвовали в военных предприятиях не в качестве только подателей духовной помощи раненым и умирающим, но и как настоящие воины, а очень часто и как предводители.

Мы уже заметили, что историческое призвание племени адыгов заключалось в развитии военно-аристократического наряда и что оно выполнило эту задачу как нельзя лучше, проводя ее с строгой последовательностью по всем направлениям частной и общественной жизни. [225]

Поэтому нет надобности особенно распространяться о том, что и песни адыгов не могли естественно сделаться ничем иным, как Еоплощением того же господствующего духа: нельзя охарактеризовать их иначе, как поэзией наездничества, панегириком доблестных мужей, прославившихся между адыгов в различные эпохи исторического их существования.

Как сами адыги с начала до конца оставались верными своему наездническому призванию, так точно и поэзия их сохранила до наших дней неизменно свою первоначальную эпическую форму. Мало того, в ней встречаются размеры, обороты,

целые тирады, особенно любимые древними певцами, в том виде, как они сложились несколько столетий тому назад.

Из этого само собою возникает мысль, что если песня не расширяла с течением времени своего содержания, не изменила своей формы, словом, не развивалась, то и народ, которого она служит выражением, оставался неподвижен в своей жизни, не делал никаких попыток выйти из первобытного состояния. Но на самом деле было не так.

Конечно, черкесы, подобно всякому народу, предоставленному одним собственным средством, не имевшему с более цивилизованными народами других сношений, кроме враждебных столкновений, не могли уйти далеко в своем развитии; но все же они вечно не стояли на одном месте, а подвигались вперед, насколько это было возможно при условиях исторической их жизни.

В настоящее время черкесы уже не те, какими знал их, например, Георг Интериано 34, живший между ними около 1551 г. (Здесь Кешев неверно указывает время пребывания Интериано у черкесов. Оно состоялось раньше 1502 г., т. е. раньше издания его труда — Р. Х.), даже не те, какими они помнят сами себя лет за сто. И было бы поэтому крайне ошибочно определять уровень их политического и общественного развития меркою первобытного, младенческого общества.

Черкесы занимали в период своего падения, относительно социального устройства и двигающего всей их жизнью духа, почти то самое положение, какое народы Западной Европы пережили в эпоху феодализма.

Если же песня их не пошла далее первоначальной формы эпоса, не сделалась лирической, сатирической, эротической, обрядовой или бытовой, то причину тому нужно искать не в неподвижности самого народа, а скорее в слишком одностороннем развитии его воинственно-аристократического духа, в ущерб всем другим сторонам жизни, в гордом презрении ко всему, что не подходило к неизменный идеал наездника-героя.

Черкесский дворянин привык издавна ценить выше всего на [226] свете коня и винтовку. Считая для себя унижением заниматься какой-либо работой по хозяйству, он не стыдился только одного — чистить своими руками благородную спину коня, заботливо ухаживать за ним и дома, и в поле, выметать аккуратно каждое утро и вечер его стойло. Конь и винтовка были, по его мнению, единственными предметами, которым мог, не роняя своего достоинства, посвящать все свое внимание и попечение. Молодой человек, желая пройти науку наездничества, заключающую в себе всю сумму необходимых для него в жизни знаний и качеств, поступал в раннем возрасте ко двору какого-нибудь влиятельного, составившего себе имя отборного наездника, князя в качестве оруженосца, смотрел за его лошадьми, прислуживал за столом, но никогда не позволял себе сесть в арбу и поехать за дровами. Лишь то, что имело непосредственное соприкосновение с наездничеством, вытекало из его потребностей, этикетов, было благородно и сообразно с честью и достоинством. звания дворянина. Все же остальное предоставлялось на долю несвободных людей.

Не удивительно после этого, что черкесская песня не снизошла в прозаический круг обыденной жизни. Обычные мотивы безыскусственной народной песни, как-то: труд пахаря, косца, горе и радости домашнего очага, вытеснены винтовкой и конем даже из песни, вышедшей из среды низшего, трудового сословия черкесского общества.

Наездник постоянно жаждал приключений, опасностей, отыскивал их всюду, где только

рассчитывал натолкнуться на них. Он не любил засиживаться дома, в своем околотке. Дым родной сакли, жена, дети, родные — все это, по его понятиям, было создано нарочно для искушения его железного духа коварными обольщениями, для того, чтобы опутать слабое сердце заманчивыми узами любви, нежности и ласки. Чувствуя всю опасность подобной обстановки для своей репутации, он избегал ее всеми силами, старался почаще отрываться от нее. Он сознавал себя больше человеком и мужем, когда изголовием служило ему вместо мягкой подушки жесткое седло, постелью — бурка, когда вместо искорок, поднимающихся сквозь широкое отверстие трубы от костра на родном очаге, его взор следил за таинственным течением светил по необъятному своду неба.

Вот почему сказки и предания черкесов изображают обыкновенно древних героев, приросших к седлу от продолжительного странствования на коне.

Точно так же не любила домашнего очага, с его печалью и радостями, и верная спутница наездника — песня. Она следовала за ним в его странствиях, воспевала его подвиги, битвы, приключения, восхваляла меткость стрел и винтовки, острие меча, резвость и красоту его коня. [227]

Она была проникнута такой ревностью к славе любимых героев, таким глубоким нежным участием к их деяниям, что от нее не ускользнуло ни одно сколько-нибудь значительное столкновение их с внешними или внутренними врагами, не укрылась ни одна маломальски видная личность в сонме наездников, принимавших участие в данном событии. Она заботливо сберегла для отдаленного потомства память обо всем этом. Если бы была возможность собрать все сохранившиеся в народной памяти песни, то составилась бы полная историческая сборка всех главнейших событий, пережитых различными черкесскими племенами с древнейших времен и до наших дней.

Конечно, было бы совершенно невозможно восстановить с достаточной ясностью хронологический порядок описываемых в этих песнях событий; тем не менее в бессвязной массе однообразных по форме и содержанию песен мы имели бы богатый материал для определения характера прошлой истории адыгов, — материал тем более драгоценный, что он, как уже замечено вначале, составляет единственный источник для изучения минувшей жизни черкесского народа.

Заклучившись раз навсегда в тесные рамки героической рапсодии, черкесская песня по тому самому не могла произвольно раздвигать свои пределы, разнообразить свое содержание соответственно с мелочными оттенками событий и действующих лиц, обнять их со всею подробностью и полнотой.

Она схватывает только общие, более крупные, выдающиеся их черты, намекая вскользь на частности. Составляя свой панегирик, певец как будто имел в виду только таких слушателей которые были сами очевидцами восплаваемого им происхождения и коротко знали личные свойства прославляемых героев, потому он ограничивается окончательным суждением о событии и произнесением безапелляционного приговора над каждым из его участников, с раздачей им дипломов на вечную славу или на вечный позор. Вследствие этого песня является неполной, отрывистой, местами даже темной и сильно нуждается в комментариях. Хорошие певцы обыкновенно поясняют пропетыми ими песни сведениями, доставшимися им по преданию вместе с самой песней, которой они служат необходимым дополнением.

Нельзя не усомниться в том, чтобы песни, а равно и самые комментарии на них, передаваемые изустно от поколения поколению, могли сохранить во всей чистоте

первоначальный свой вид. Произволу певца-комментатора открыт слишком большой простор. Ничто не мешает ему вставить свой стих на место забытого, переиначить или переставить слова, выражения и целые тирады. Еще менее стеснения для него при пояснениях. Это неизбежная участь всякой изустной поэзии. Но нам кажется, что [228] черкесская песня в этом отношении была счастливее однородных ей произведений у других наций.

Без всякого сомнения и она пострадала от неминуемой порчи, но пострадала сравнительно менее. Краткая выразительность ее стиха — обусловленная духом самого языка, — состоящего большей частью из двух-трех слов и отлитого наподобие изречения, пословицы, как бы нарочно рассчитана на то, чтобы резко, неизгладимо врезаться в памяти. Исказать подобный стих несравненно труднее, чем растянутый, затемняемый излишним обилием эпитетов стих других языков. Особенный же род рифмы, усвоенный черкесской поэзией — аллитерация, устраняет затруднение, необходимо связанное с обыкновенным способом рифмования конечных слогов, и служащее одной из главных причин вольного обращения с изустной песней. Затруднение это заключается в трудности быстро припоминать рифму, теряющуюся в длинных строках. Певец, произнеся одну строфу, пока доберется до конца следующей, через длинный ряд слов, легко может забыть предшествовавшую рифму, а с нею и последующую, и ему придется начинать Чгызнава, чтобы восстановить стих. Но если он дорожит более своею репутацией, нежели достоинством песни, то ему можно и не начинать вновь, а вернуть в строку какой-нибудь подходящий оборот, подоспевший ему на помощь из другой, хорошо памятной ему песни, или же из собственной головы, если только она порядочно освоилась с духом и складом песен.

Для избежания этого именно неудобства и прибегают к частым повторениям одних и тех же выражений, рифм и целых строф, как, например, в русских песнях. Такого затруднения не существует в черкесской песне. В ней рифмуется конечный слог предыдущего стиха с начальным слогом последующего, или ближайшего к нему, так-то едва только оканчивается одна рифма, как уже сама собою, без особенного усилия воображения, возникает в памяти следующая за нею. От того очень нетрудно запомнить черкесскую песню, прослушав ее раза два со вниманием.

К этим двум существенным отличиям черкесской песни, предохранившим ее от неизбежных искажений, можно бы присоединить еще несколько других, если бы мы не боялись вдаваться тем в излишние для нашей цели подробности.

Песня дорога для адыгов не только потому, что она единственный памятник его прошедшего, наследие отцов, но еще и потому, что она служила всегда неиссякаемым источником его воинственного энтузиазма.

Рисуя заманчивыми красками подвиги славных мужей старины, получающей всегда в глазах позднейшего поколения какой-то розовый колорит, песня служила для черкесской молодежи школой для воспитания. Она разжигала восприимчивые умы, [229] воспламеняла воображение пылких юношей и освежительно действовала на угасающие силы старика.

Ее могучая, вдохновляющая энергия возбуждала постоянно во всех классах черкесского общества и неослабно поддерживала в них воинственный дух, ненасытную жажду славы и подвигов.

Как велико было возбуждающее влияние родной песни на впечатлительные натуры

черкесов, можно видеть из следующего рассказа, относящегося ко временам первого столкновения кавказских горцев с русским оружием. Около тысячи человек отборных кабардинских наездников, возвращаясь из удачного похода на одно из пограничных русских поселений, были настигнуты превосходными силами неприятеля. Преследуемые по пятам, осыпаемые картечью и ракетами, они мало-помалу пришли в расстройство, начали бросать захваченную добычу и спасаться в одиночку. В эту-то минуту всеобщего смятения, когда ни увещания, ни угрозы влиятельнейших предводителей не могли восстановить порядка в упавшей духом партии, бывшему в отряде гегуако пришла счастливая мысль — встать ногами в седле и пропеть вместе -с своим причтом песенников известную песню Кашка-тау, описывающую битву кабардинцев с крымцами. Голос певца, напомнив об одном из эпизодов героической борьбы предков с иноплеменниками, мгновенно наэлектризовал расстроенную партию наездников. Точно по команде военачальника, она тотчас же собралась, в кучу, сложила оставшуюся еще у нее добычу и, смявши дружным натиском нападавшего неприятеля, отбила у него охоту к дальнейшему преследованию.

Даже теперь можно встретить немало благоразумных, рассудительных черкесов, потерявших вкус к наездническим поползновениям, оплакивающих исключительно воинственные инстинкты: своих собратьев, но при всем том не имеющих силы выслушать, равнодушно родную песню, хотя она воспекает именно то, против чего они восстают непритворно. Не боясь несколько впасть в преувеличение, мы утверждаем, что ни учение ислама, просветившее адыгские племена новым мирозерцанием, ни попытки Шамиля ³⁵ вдохнуть в них пламенный дух газавата ³⁶ не имели в совокупности и половины той подстрекающей силы, какую в состоянии производить на адыгов одна хорошая старинная песня. И в этом нет ничего странного. Религиозная проповедь сулила адыгам одни загробные награды, тогда как ему по свойству его характера гораздо заманчивее казалось приобрести земную славу. Первая занимала его лишь настолько, насколько она смягчала перспективу предстоящих за пределами жизни мучений ада; слава же привлекала его в той мере, в какой он желал бы видеть себя в своей сфере, окруженным всеобщим удивлением и почетом. К тому же, при односторонне понятном им учении ислама, черкесу [230] казалось легче достигнуть небесной награды — так как для этой, по его мнению, достаточно пасть в борьбе с гяурами, — чем добиться репутации хорошего наездника. А известно, что к числу множества непримиримых противоречий, встречаемых в природе человека, не последнее место занимает свойство — гоняться охотнее за тем, что труднее достается, нежели за тем, что дается само собою в руки.

Впрочем, мы не хотим сказать этим, что умирать для черкеса легче, чем для всякого другого; мы только делаем показать, что при твердой уверенности в неизбежности смерти и решительном предпочтении сложить голову в бою, нежели умереть спокойно в постели, условие, предписываемое религией для получения мученического, венца, не представляло для него особенной трудности. Между тем нельзя отрицать значительного влияния мусульманства на жизнь и судьбу черкесов. Оно изменило во многом строй общественной и домашней жизни, смягчило суровые нравы, искоренило языческие верования и предрассудки. Коран, сделавшись для них кодексом религиозных, нравственных и гражданских законов, благодаря значительной дозе своих воинственных тенденций, успел привиться к их быту, хотя не мог вытеснить совершенно обычное туземное право и переделать радикально твердо установившиеся начала народной жизни. Словом, мусульманство внесло в черкесское общество весьма заметные преобразования. Оно сообщило сильный толчок и дало несколько отличное от прежнего направление и господствующей наклонности черкеса — воинственности. Направление это мы уже называли фанатизмом, хотя в строгом смысле черкесы не успели поравняться в отношении религиозной ревности даже с некоторыми кавказскими племенами, например, с

кумыками, дагестанцами, чеченцами и ближайшими своими соседями — ногайцами. Что главнейшим побуждением адыгского племени к войне остались все-таки врожденная склонность его к подвигам молодечества и желание сохранить свою независимость, лучше всего доказывается неизменным характером его песни. Бесчисленные примеры истории показывают, что нет ничего губительнее для произведений народного творчества, как перемена религии. Песня и предание или совершенно погибают от столкновения с систематизированным и неумолимым в своем стремлении к безраздельному господству религиозным догматизмом, или же робко укрываются в отдаленнейшие захолустья темной народной массы, служащей всегда последним убежищем отжившей старины. Так было везде, где вводилась новая религия силою или убеждением; но у адыгов мы видим нечто другое. Мусульманство не только не уничтожило адыгской песни, но не имело даже довольно силы для того, чтобы принудить своих новых адептов смотреть на нее как на предосудительную, неправовверную [231] забаву — остаток язычества. На первый взгляд может показаться, что новому учению незачем было домогаться упразднения народной песни, так как в сущности цели их были одинаковы. Исламизм, подобно всем религиозным системам, стремится к подчинению мира тем или другим путем своему учению, черкесская, песня была проникнута воинственным огнем, казалось бы, более подходящего союза, нельзя и придумать. Но разница между ними нашлась в побуждениях: ислам провозглашает борьбу во имя неба и, согласно с этим, сулит поборникам своим венец мученика за пределами земной жизни; он требует от прозелита отречения от всех иных побуждений к войне, кроме упования быть причтенным по смерти к избранным обитателям дженнета 37; черкесская же песня, прельщаясь более всего земною славою, призывала к ней всех, владевших конем и винтовкой, одаренных пылким умом и неугомонным честолюбием. Высшая награда, по ее уверению, имя героя-наездника. Кроме того, она носила на себе и до сих пор продолжает еще носить сильный отпечаток своего языческого происхождения. По старой привычке, она не может обойтись без того, чтобы не призывать на помощь своему герою какого-нибудь языческого бога, помимо того, кого ислам считает виновником всего сущего, до последней былинки. В черкесской песне слишком ощутительно биение молодых жизненных сил, слишком выпукло выступают суетность, тщеславие и гордость человека, несовместимые с аскетическим взглядом, религии на жизнь.

Такое противоречие в самом основании не могло, конечно, вести к примирению мусульманской догмы с характером черкесской песни, несмотря на сходство их конечных стремлений. Набожные муллы, принимая деятельное участие в военных предприятиях, относились в то же время враждебно к песне, как к одному из наследий осужденного язычества, стараясь подорвать в народе её кредит. Вопреки их стараниям, влияние мусульманской веры на песню было совершенно ничтожное. Оно ограничивалось только тем, что в песне среди широкого разгула наезднической удали, стали изредка прорываться грустные мотивы о непостоянстве и скоротечности жизни, о ничтожестве суетного мира, о загробной жизни и тому подобных материях; между прочими наградами героя песня начала упоминать также и о мученическом ореоле. Но все эти прививные элементы проскакивают в ней как мимолетный порыв, как вспышка скоропреходящего меланхолического настроения.

Если бы песня была менее соединена с коренными свойствами адыгов, то нет сомнения, она не могла бы сохранить независимого значения рядом с враждебною ей религией. Черкес расстался бы с нею точно так же, как и с большею частью старых своих верований, или, по крайней мере, изменил бы ее сообразно с духом [232] ислама, как он поступил отчасти с своими сказками и преданиями; или, наконец, вовсе изгнал бы в трущобы гор, где свет мусульманского учения едва мерцал сквозь непроницаемую мглу вековых лесов, под сенью которых нашли последнее убежище изгнанные прежде языческие божества.

Но, составляя неотъемлемую часть наездничества, песня была гарантирована от губельного влияния религиозного догматизма; с другой стороны, эта же связь с наездничеством осудила ее на крайне одностороннее существование, отняв у нее всякую возможность сделаться выразительницей и других сторон народной жизни. Занятая исключительно одними наездниками, черкесская песня обошла все, не входившее в круг их действий. Она как будто и не подозревала, что есть чувства, желания, стремления, страсти, заставляющие самые мужественные сердца волноваться не менее сильно, чем звон оружия, ржание коней и шум битвы. К самым законным, естественным влечениям души, к нежнейшим привязанностям сердца, к теснейшим узам крови и любви, словом, ко всему, что составляет для человека неисчерпаемый источник наслаждения и муки, песня отнеслась с суровым пренебрежением, потому что черкесские герои, вырубив, если можно так выразиться, -оригинальную теорию о жизни и назначении человека, смотрели на все это как на врожденные слабости человеческой природы, над которыми обязан восторжествовать всякий желающий именоваться настоящим мужчиной. Вот почему в старых черкесских песнях не встречается ни одного куплета чисто любовного содержания. И как было воспевать черкесу любовь, когда в жизни стыдился выказать хотя бы самым отдаленным намеком привязанности своего сердца, как отца, мужа, любовника и пр.; когда нежные селадоны считались ничем не лучше любого труса, а их сладкие вздыхания — если только они возымели бы несчастную мысль поверить их чужим ушам — были встречаемы с таким же презрением, как если бы они сознались публично в каком-либо малодушном поступке? Впрочем, не одни мужчины смотрели на любовь, как на малодушие; точно такое же понятие о ней составили себе и женщины, хотя им, казалось бы, труднее смирить влечения своего сердца. В жизни и поэзии черкесская женщина получила несвойственную ее полу роль. Она является сдержанной, сосредоточенной, суровой; любит и страдает втайне. Внутренний мир ее души замкнут от самых близких ей людей. Она не менее мужчины краснела от невольного порыва своей души и таила его от постороннего взора. Оплакивая любовника, жениха, мужа, сына, она выражала собственно не свои чувства к ним, не любовную свою скорбь, а сожаление о преждевременной их кончине, о том, что они не будут более красоваться в сонме храбрых воинов. Потому-то и плач ее вводился в песню [233] только для того, чтобы украсить еще более память о падшем наезднике, оросить его свежую могилу, между прочим, и женскими слезами. Кроме того, похвала женщины подстрекала мужчину к отважным предприятиям, ибо сердце черкешенки принадлежало не тому, кто соединял в себе больше умственных и нравственных достоинств, даже не тому, кто обладал прекрасною наружностью, что, как известно, составляет в глазах женщины не последнее достоинство в мужчине, — но лишь тому, кто соответствовал всем требованиям идеала наездника. Есть одна песня, в которой красавица, решившись дорого продать свою руку, выбирает себе жениха между известнейшими наездниками черкесской земли. Она перечисляет по порядку их имена, подвергает при этом строгому разбору главнейшие подвиги каждого из них и, не находя между ними ни одного подходящего под созданный ею идеал, произносит обет — остаться навсегда в родительском доме, но не связывать своей судьбы с подобными мужчинами.

Словом, естественное влечение друг к другу двух полов, служащее основанием всех родов поэтических произведений, не сделалось для черкеса главным сюжетом песни, но служило скорее материалом для сатиры и пасквиля. Только с недавнего времени; стали появляться между адыгами песенки веселого характера, в которых выводятся на позорище молодые люди обоего пола какого-нибудь аула, или даже целой местности. Содержание их весьма несложное: такая-то девушка (имя не скрывается) вздыхает по таком-то джигите, умирает от любви к нему и пошла бы головою за него... да беда в том, что он отдал свое сердце другой и пр. В этих же игривых песенках можно найти скандальную,

хронику каждой местности.

Если внутренний мир души и нежные ощущения сердца не нашли себе таким образом достаточного отголоска в черкесской песне, то не более посчастливилось в ней и так называемому народному мирозерцанию. Черкес как будто инстинктивно сознавал опасность излишней чувствительности и склонности к отвлеченным размышлениям для его сурового, воинственного призвания. Он как будто понимал, что, поддавшись однажды влечению сердца, сладкому обаянию нежных чувств, или дав полную волю пытливому уму, он не в состоянии уже был бы остаться тем, чем был и следовало ему быть, потому для избежания всякого соблазна он изгнал из своей жизни все, что грозило ослабить его крепкую натуру. «Кто раздумывает о последствиях, тот не храбр» — вот правило, руководившее действиями адыгов, и, как мне кажется, очень ясно характеризующее взгляд неразвитого человека вообще на мышление, как на силу, притупляющую природную энергию и предприимчивость духа. Только таким взглядом можно и объяснить себе, что черкесы, одаренные вообще от природы [234] ясным умом, не чуждым даже некоторого философического оттенка, нарочно избегали всякого рода рассуждений, считая их -приличными одним старикам. Герои черкесских песен не рассуждают, а только действуют. Потому-то запас практической философии или житейской мудрости черкесов весьма не богат. В этом отношении, как и в склонности к мечтательному созерцанию окружающей природы и жизни, они далеко уступают монголо-татарскому племени, которого преобладающая черта заключается в философски-поэтизирующем воззрении на мир, чему доказательством служат, между прочим, обилие и глубокомыслие его пословиц и задумчивый, меланхолический колорит его песен.

Черкесские песни разделяются на героические, свадебные, плясовые и колыбельные. Героические подразделяются, в свою очередь, на три отдела, в сущности мало отличные друг от друга, хотя и носят особые названия: — на пшинатле (так сказать, инструментальная песня), уагаорад (песня раненых) и гыбзе (буквально: язык плача). Самые названия показывают, в чем собственно заключалась особенность каждого из приведенных подразделений. Под пшинатле должно понимать вообще героическую рапсодию, разделенную на большие строфы (едзиги), которую певец декламировал под аккомпанемент скрипки или флейты. Гыбзе — скорбная песнь об усопшем герое, или воспоминание о каком-нибудь бедствии, постигшем весь народ или часть его, напр. об эпидемиях, голоде, внезапном нападении врага. Песня ран имеет иногда свое особое содержание, заимствованное из языческих понятий о древнечеркесском божестве Тлепше, кователе оружия и земледельческих орудий; но большею частью это — те же пшинатле или гыбзе, выбранные сообразно цели, т. е. песни у у постели раненого воина и наиболее подходящие случаю. Плясовые, свадебные и другие песни на случай состоят почти из напева я музыки. Все эти роды песен сопровождаются игрою на скрипке и напевом (ежу). Колыбельные песни составляются и поются преимущественно кормилицами. В сущности, все черкесские песни проникнуты одним и тем же духом и различаются чисто внешним образом, по месту, где они произносятся, и поводу, их вызвавшему. Черкесские танцы, устраиваемые под открытым небом, сопровождаемые залпами выстрелов, окруженные толпами вооруженных всаЛников, с шашками и пистолетами на танцующих мужчинах, походили скорее на шумное празднование победы в военном лагере, чем на мирное проявление обыкновенного веселья. В свадебном обряде еще ярче выступала воинственная черта. Героиня торжества, невеста, играла здесь пассивную роль победного трофея, несмотря на весь почет и рыцарское уважение, которыми ее окружали. [235]

Обычаи, нравы, семейный и общественный быт, взаимные отношения сословий и наконец, картины окружающей природы рассеяны в черкесских песнях отрывочными, неясными чертами. Особых же песен, посвященных исключительно этим сторонам

народной жизни в том виде, как это существует у других народов, не встречается в древней поэзии адыгов.

Особенно важное значение в черкесской песне имеет напев. Он состоит не в повторении хором известных строф, как, например, в народной русской поэзии, а в аккомпанировании одним голосом, без участия слов, каждому произносимому певцом стиху. Тон дает сам певец голосом и игрою на скрипке или же, когда на скрипке играет другой, — одним голосом. Напевать хорошо считается делом весьма нелегким, так как каждая песня имеет особый напев, и за это дело берется не всякий. Черкесы поют обыкновенно вполголоса, не насилуя ни гортани, ни легких; потому-то в их пении не слышно визга и пискливых завываний, которые выдаются обыкновенно за несомненный признак одушевления, тогда как они-то именно свидетельствуют об отсутствии истинного движения чувства. Нам кажется, что именно в этом безыскусственном, часто монотонном декламировании заключается причина весьма сильного впечатления, производимого черкесскою песнею. Не обращая никакого внимания на высокие ноты, певучесть и чистоту своего голоса, черкесский певец отдается весь самой сущности песни, проникается вполне ее содержанием, и потому пение его делается не одной искусственной модуляцией голоса, но мощным, потрясающим отголоском взволнованной до глубины души. Напев черкесской песни не имеет ни малейшей претензии задобрить слух разнообразием и мелодичностью звуков; он рассчитан на то, чтобы подействовать на голову и сердце слушателя. Кому случалось слышать и видеть кружок очень посредственных черкесских певцов и, с другой стороны, певцов, которых главное внимание обращено на игру словами и кокетничание с голосом, того не могла не поразить разница в самом выражении лиц тех и других. На лицах последних, даже пользующихся хорошою репутацией, заметны всегда конвульсивное напряжение и какой-то неестественный трепет, производимые излишним старанием придать своему голосу желаемый тон; на лицах же самых обыкновенных черкесских певцов вы видите сдержанное, лихорадочное волнение, вызываемое не искусственным усилием, но настоящим, неподдельным чувством. Глаза их не закатываются под лоб, не щурятся от насильственной натуги, а постепенно загораются истинною страстью. Впрочем, это весьма естественно: истинное чувство не высказывается никогда и ни в чем крикливо; оно проявляется сосредоточенно. Напев досказывает то, чего сочинитель песни не мог или не хотел выразить посредством слов. [236] Это — душа черкесской песни, ее лирическая струя, захватывающая в своем широком разливе не одни воинственные инстинкты но всю совокупность человеческих чувствований черкеса. Если, например, составитель песни, связанный суровым обычаем, не смел излить в самой песне страсть к милой, горечь измены, тоску разлуки и прочие естественные побуждения сердца, то они вылились у него против воли в полных грустной задумчивости и страстного порыва звуках напева.

Черкесские песни имели своих привилегированных составителей и хранителей — гегуако, напоминающих во многом средневековых трубадуров. Это были певцы-наездники, прославлявшие или произносившие строгий приговор над событиями и лицами своего времени. В старину они пользовались большим почетом. Сильные князья и влиятельные дворяне приглашали к Своему двору, держали их там подолгу, почерпая из их песен и рассказов вдохновение к новым подвигам, и отпускали от себя с щедрыми подарками.

Из отрывочных преданий, сохранившихся в народной памяти, можно заключить, что гегуако слагали иногда свои рапсодии, так сказать, по найму. Например, умирал или был убит на войне значительный наездник. Родственники его, преимущественно же аталыки, желая увековечить память усопшего, сзывали известных в околоте певцов и упрашивали их составить о нем пшинатле. В таких случаях, как говорят, гегуако удалялись на несколько дней для составления своего панегирика в какую-нибудь рошу,

пользовавшуюся, по древнеадыгскому культу, значением священного места, где хоронились мертвые, совершались религиозные обряды, приносились жертвы и произносились обеты. Между абазехами и шапсугами, сохранившими вообще долее языческие верования, такие рощи назывались, до самого переселения этих племен в Турцию, «тхачаг-маз», т. е. «лесами под богом».

Встречались между гегуако и такие, которым могли бы позавидовать в сознании своего достоинства и неподкупности своего дара многие из поэтов образованных наций. Так, лет тридцать тому назад, один влиятельный черкес, обладавший небольшим европейским образованием, пригласил к себе известного в то время между черкесами певца, обласкал и одарил его щедро. Сначала певец развлекал усердно радушного хозяина богатым запасом старинных песен, но когда услышал, что хозяин желал бы записать кое-что из сокровищ обширной его памяти, то он поспешил оставить его дом, поблагодарив за ласку и хлеб-соль, но в то же время отказавшись наотрез от всяких подарков. На все просьбы и увещания упрямый потомок некогда славных гегуако, последний в своем роде могиқан, извинялся тем, что он не продает своих песен, что петь он готов, сколько душе хозяина угодно, но [237] никак не согласен, чтобы песни его сделались достоянием кого бы то ни было посредством письменного закрепления.

С течением времени значение гегуако стало ослабевать, и из рыцарей-трубадуров они постепенно превратились в странствующих жонглеров. Муза их, носившаяся прежде над полями битв, вслед за героями, ниспустилась в кружок танцующих молодых людей обоего пола.

Под именем гегуако теперь разумеют веселых гуляк, знающих много песен, хорошо играющих на скрипке или на флейте, и без которых не обходится ни одна свадьба, ни один торжественный случай в быту адыгов. Только в племенах, удержавших цельнее древнеадыгский строй жизни, у шапсугов, и абазехов, гегуако сохранили до конца некоторое подобие угасших своих родоначальников. Так, перед самым выселением абазехов, славился между ними, как гегуако, некто Цей, за одну ночь сочинивший на бывшего наиба Магомет-Эмина 38 целую сатирическую поэму, начинающуюся так:

Да поразит стрела божия того,

Кто привел к нам этого чеченского, бродягу.

Сообщавший нам сведения об этом гегуако, знавший его лично, отзывался о нем следующим образом: «Человек он очень странный, угрюмый такой, молчаливый. Говорят — да кто знает, правда ли — будто, когда он составляет песни, джинны (гении, духи) являются к нему на помощь. Верно только, что как захочется ему что-нибудь сочинить, он тотчас запирается в пустой сакле — а такая охота находит на него всегда по ночам, — никого к себе не пускает и до утра все поет, да поет. Те, которые подслушивали его, передавали мне, что у него есть такая связка тонких дощечек, вот точно такая, какие обыкновенно употребляются при танцах, которою он колотит под такт голоса об палку. Без такого звяканья он не может никак обойтись. Зато какие славные песни он придумывает! Вот, например, песню, что сложил он про наиба, знает всякий абазех. За нее его чуть не засадили в сырую яму, куда наиб бросал своих врагов, но Цей успел вовремя скрыться от муртазаков».

«Терские ведомости», 1869, № 13, 14, 18.

Комментарии

31. Шапсуги — адыгское племя. Делилось на две группы: Большая и Малая Шапсугия. Б. Ш. граничила на западе с натухайцами по р. Адагум и Главному Кавказскому хребту. На востоке и юго-востоке Б. Ш. граничила с землями бжедугов и абадзехов. М. Ш. располагалась по южному склону Кавказского хребта. На северо-западе она граничила с натухайцами по р. Джубге, на востоке — с абадзехами по линии Главного Кавказского хребта. У шапсугов не было князей, племенем управляли старейшины. Известными шапсугскими фамилиями считались Шеретлук, Абат, Нами, Керзек; менее — Тхучо, Хорзак, Берзедж. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957, с. 148 — 149.)
32. Темиргойцы — одно из самых могущественных адыгских племен. Занимали территорию между нижними течениями р. Белой и Лабы. На севере их граница проходила по р. Кубань, на юге — приблизительно по р. Белой. На западе, юге и востоке соседями темиргоевцев были их племенные подразделения — хатукаевцы, адамиевцы и егерухайцы. У темиргоевцев было сильно выраженное имущественное неравенство, самыми видными представителями княжеской власти были Болотоковы. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957, с. 151.)
33. Беслинейцы (бесленевцы) — одно из многочисленных адыгских племен. Граничили на северо-западе с мамхеговцами, на юге и на юго-востоке с абазинами. Их земли простирались на западе по верхнему течению правого берега р. Лабы и ее притоку Ходзю, на востоке и северо-востоке по р. Урупу и ее притокам Большому и Малому Тегеням и другим рекам, примерно до линии станций Упорной и Отрадной. Знатными родами считались Канокоты и Шолохоты, потомки Беслана, сына Инала, родоначальника кабардинских князей. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957, с. 153.)
34. Георг Интериано (вторая пол. XV — нач. XVI в.) — путешественник, географ и этнограф, автор первого в средневековой литературе монографического труда о Черкесии «Быт и страна зихов, именуемых черкесами. Достопримечательное повествование», изданного в Венеции в 1502 г. (См.: Георг Интериано. Рассказ генуэзца Георга Интериано о быте и нравах черкесов. — Записки русского географического общества по отделу этнографии. СПб., 1869, т. 2. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII — XIX вв. Составление, редакция переводов, введение и вступительная статья к текстам В. К. Гарданова. Нальчик, 1974.)
35. Шамиль (1797—1871) — глава мусульманского военно-теократического государства в Дагестане. Возглавлял борьбу горцев Дагестана и Чечни против царизма.
36. Газават (араб.) — одно из названий «священной войны» мусульман согласно которой мусульмане должны вести борьбу против «неверных».
37. Дженнет — в мусульманской мифологии рай.
38. Магомет-Эмин (1818—1863) — один из руководителей антиколониального движения горцев Западного Кавказа в 40—50-х гг. XIX в. (О деятельности Магомет-Эмина см. подробно: Фелицын Е. Д. Князь Сефер-Бей Зан. — Кубанский сборник. Труды Кубанского областного статистического комитета Екатеринодар, 1904, т. 10.)

ИСТОРИЯ АДЫГЕЙСКОГО НАРОДА, СОСТАВЛЕННАЯ ПО ПРЕДАНИЯМ КАБАРДИНЦЕВ ШОРА-БЕКМУРЗИН НОГМОВЫМ

Сочинение Шоры Ногмова есть первая попытка систематического изложения уцелевших в народной памяти преданий о минувших судьбах адыгейского племени, потому, за отсутствием других сочинений по этому предмету, к нему по необходимости станут обращаться будущие историки адыгов, в особенности кабардинцев. Между тем, сколько нам известно, даже местная, кавказская, печать ни словом до сих пор не упомянула об этом сочинении, не говоря уже о русской литературе, которая в последнее время совсем перестала заниматься кавказскими горцами, вероятно, полагая дело их порешенным

навсегда.

Ввиду именно такого пробела мы решаемся сказать несколько слов о первой связной истории одного из главнейших племен Кавказа, написанной еще в сороковых годах природным адыгом. Лучше поздно и что-нибудь, чем никогда и ничего.

Источниками при составлении сочинения Ногмова служили: сказания старцев, песни, поговорки, названия урочищ и кое-какие сведения древних авторов о кавказских племенах.

Нельззя не придавать весьма важного значения в деле истории так называемым живым источникам. Они ложатся первым камнем в основании истории всякого народа. Письменные памятники» как создание позднейшей эпохи, обнимают собою сравнительно, небольшое пространство времени и не полны без них.

Тем не менее пользоваться ими нужно с большою осторожностью. Необходимо сверить тщательно бесчисленные варианты одного и того же исторического предания, существующие в народе, и выбирать из них то существенное, в чем все они согласны.

Не знаем, так ли поступил автор настоящего сочинения при собирании своего материала; по крайней мере, мы не находим у него никакого указания на этот счет. Он только говорит, что «можно проверить сказания старцев песнями, а верность предания в главном его факте подтвердить названием урочища или народною» поговоркою».

Не имея под руками всех вариантов сообщаемых автором событий из прошлой жизни адыгов, мы пока не беремся решить» насколько они заслуживают доверия, хотя и убеждены, что многое из них, в главных чертах, не подлежит сомнению. Заметим только что фактическая сторона труда Ногмова, будучи проверена указанным способом, могла бы послужить основанием для дальнейшей разработки истории племени адыгов. [239] До того времени, пока за такой труд не возьмется кто-либо из будущего поколения адыге, которого он ближе всего касается, не лишне, кажется, будет разобрать те предположения и выводы автора, на которых собственно и зиждется взгляд его на происхождение племени адыгов.

Названия «зюг», «зиг», под которыми адыги были известны грекам, а также «джихи» грузинских летописцев, автор производит от «циг», «цуг» — человек. «Так как, — говорит он, — известно, что все народы первоначально называли себя человеками.... то и наши предки, жившие по берегу Черного моря, сделались известными своим соседям под названием человек: циг, джиг, цух». Предположение это очень легко опровергается тем, что слово «человек» ни на одном наречии адыгского языка не выговаривается: циг, цуг, джиг, и автор делает в этом случае очевидную натяжку. Что же касается мнения, будто адыги первоначально называли себя человеками, то считаем излишним останавливаться на нем. Несмотря на совершенную бездоказательность обоих предположений, нельзя не пожалеть, что автор не развил их подробнее, как того, требовало самое свойство вопроса. Например, думал ли он, что черкесы первоначально называли себя «цуг», а впоследствии приняли другое название? Или, быть может признавал какое-либо отношение между первоначальным «цуг» и последующим названием — адыге? Ничего не разъясняет автор а этом отношении и тем лишает мельком брошенное им замечание всякого значения. Между тем, коснувшись происхождения названий «зюг» и «зиг» от «цуг», естественно было бы попытаться-доказать дальнейшее образование из того же «цуг» имени «адыге». Но автор этого не сделал» потому что, по его уверению, как сейчас увидим, «древнейшее родовое название адыге есть Ант, изменившееся с течением времени, а Адыге или Адыхе,

причем по свойству языка, буква «т» изменилась в «ды», с прибавлением слога «хе», служащего в именах наращением множественного числа». Это мнение он подтверждает следующими доводами: 1) что» есть еще старики, выговаривающие слово «адыге», согласно с прежним его произношением «антихе»; в некоторых же диалектах говорят просто «атихе»; 2) что в древней поэзии народ всегда называется «ант», например, «антинокопш» — антский княжеский сын, «антигишао» — антский юноша, «антигиуорк» — антский дворянин, «антигишу» — антский всадник; 3) что витязи или знаменитые вожди назывались «нарт» сокращенным от «нар-ант», что значит «глаз антов»; 4) что на карте, составленной Лапи, по сочинениям Птолемея 39 и Плиния 40, на Кубани, ниже впадения в нее р. Лабы, поставлено по обе стороны Кубани слово «Anticae»; 5) что Страбон 41, писавший за 26 лет до Р. Х. 42 называет р. Кубань — Антикитис и 6) что автор «Дербент-наме» 43 называет все [240] племена, обитающие от Терека до восточного берега Черного моря, «Джули-анд», и пр. (см. 17, 18, 19 стр.).

Как видно из 5 пункта, самое древнее указание или, лучше сказать, слабый намек на имя антов 44 встречается у Страбона, называющего Кубань Антикитою. Но тот же Страбон описывает довольно подробно зигов 45, помещая их на юго-восток от Геленджика, между гениохами 46 и ахейцами 47. Стало быть, следуя предположению автора, мы должны бы согласиться, что адыги в одно время называли себя двумя именами, «ант» и «зиг».

Видно по всему, что под зигами греки разумели не всех адыгов вообще, но какой-то другой народ, притом не адыгского племени.

Еще во времена географа Скилакса 48, жившего при Дарий Гистаспе 49 (522 г. до Р. Х.), вдоль морского берега жили: синты 50, керкеты 51, гениохи и ахейцы. Керкеты, по всей вероятности, искаженное имя какой-нибудь незначительной ветви племени адыге. Точно так же гениохами могли быть названы современные нам жанеевцы⁵², хотя издатель разбираемого сочинения, г. Берже 53, думает, что последние назывались прежде санихами. Гораздо ближе к анихам нынешние сванеты, называемые по-черкесски сона, во множ. сонехе. Слово жанна во мн. числе жанехе, весьма близко к гениох, при частых переходах звука «ж» в «г» и обратно: Относительно ахейцев можно заметить, что еще не очень давно среди абазехов жило несколько семейств под названием «рум» (греков), остаток целого общества греческих выходцев, истребленных, постепенно самими абазеками. Нет ничего невероятного, что эти румы назывались прежде вынесенным из Греции именем — ахейцев.

Вообще, если следовать старинному методу сближения исторических названий народов и местностей по случайному сходству звуков, можно без особенного затруднения построить бесчисленное множество остроумных выводов, но, как известно, все такие выводы ни к чему не ведут, и если мы, в настоящем разборе, будем иногда прибегать к предположениям, то единственно затем, чтобы показать чрезвычайное их разнообразие и одинаковую бездоказательность.

Древние авторы нередко называют один и тот же народ двумя различными именами, по различию произношений их соседними народами, так у Арриана 54 встречаются абаски и абсилы, как два отдельные народа, между тем как оба названия относятся к нынешним абхазцам — первое по адыгскому выговору — абаза (во множ. абазехе) (Не нужно смешивать это имя с «абазехе» или «абадзехи» (по русск. произ.), которые адыгского происхождения и названы так потому, что они жили ниже абаза (абхазцев). (Здесь и далее в сносках примечания самого А.-Г. Ке-шева.)), второе по собственному произношению самих [241] абхазцев, называющих себя абсуа, а страну свою абсни. Племя же адыге абазы называют асшуа...

Окруженный с трех сторон землями убыхов и абхазцев в той части морского берега, где находилось укр. св. Духа, жил в недавние еще времена маленький народ, называемый абхазцами «дзиг» (на русских картах Джигеты или Садзень), который, вероятно, есть остаток некогда многочисленного и сильного племени, сделавшегося известным грекам под именем «зиг». Переход звука «дз» в простой «з» так естествен, что не стоит и говорить о нем. Кроме простого сходства звуков, в настоящем случае можно привести и указания древних писателей на места, где жили зиги. Выше уже было замечено, что, по Страбону, зиги помещались на юге от Геленджика, в самой гористой, неприступной части морского берега. К этому времени имя керкет исчезает на том месте, где помещал его Скилакс, т. е. на юге от Анапы до Геленджика, на земле современных нам натухаев 55. Это указывает на совершившееся в период от Скилакса до Страбона событие, последствием которого было взаимное давление обитавших по берегу Черного моря народов, оттеснившее керкетов далее от берега, вглубь страны. Какое же другое событие могло произвести подобное давление, как не появление зигов, до того времени неизвестных? И откуда могли они явиться, как не из южной окраины берега, из гор Абхазии? Зиги говорили по-абхазски, если не ошибаемся.

У Арриана уже не встречается имени гениохов, близких соседей зигов. Место их заступают санихи, абаски и абсилы (т. е. абхазцы). По-видимому, гениохи и ахейцы удалились от морского берега, вследствие напора с юга соплеменных зигам абхазцев, увлеченных из своих гор, может быть, примером зигов. Прокопий 56, подробно и очень верно передавший нам сведения об Абхазии, и о сношениях ее с византийскою империєю при Юстиниане 57, непосредственно за абхазцами помещает зигов. В X в., во время Константина Багрянородного 58, на черкесском берегу знали только два большие народа, абазгов (абхазцев) и зигов. За ними шли уже казахи (т. е. косоги 59, черкесы, как многие думают) и др. (Voyage autour du Caucase. Dubois de Mont. 1 part. 60)

Из приведенного видно, что зиги постоянно оставались там, где впервые история их застаёт, что первоначальные их соседи постепенно исчезают, уступая место другим, так что при Константине на черкесском берегу мы находим абхазцев и зигов, которые, по-видимому, успели общими силами завладеть всем побережьем.

Сколько нам известно, после Константина о зигах более не [242] упоминается. Но, вероятно, они оставались на своем месте до той поры, когда усилившееся с течением времени племя адыге устремилось на них с берегов Крыма и оттеснило их, вместе с абхазцами, снова за горы.

Таким образом, если допустить, что керкеты, гениохи, ахейцы и спиты 61 принадлежали к адыгскому племени, то вместе с тем нужно принять, что племя это занимало морское побережье за 522 года до Р. Х. и снова заняло около XV ст. после Р. Х., как видно будет дальше...

Относительно производства слова «адыге» от «ант» заметим следующее: буква «т» действительно может изменяться в «д», а не в «дн»: напр., кабардинское «аде» — отец, произносится в нижнечеркесских «кяхе», а также абадзехском и шапсугском наречиях — «ате». Каким образом исчезла буква «н» и откуда, напротив, взялась «и» после «д» — мы не можем понять, потому что «н» не принадлежит к числу так называемых беглых букв, а «и» является иногда для благозвучия при стечении безгласных звуков, напр., в слове насыпинше — несчастный, состоящем из насып — счастье и нше — без. Можно бы допустить «н» в слове «антихе» как вставку между безгласным окончанием корня и таким же наращением, если бы можно было согласиться с автором, что конечный «хе» в этом

слове есть знак множественного числа (в других случаях он действительно служит таким знаком). По уверению самого автора, кабардинское наречие есть самое чистое из всех адыгских наречий. Мы вправе, следовательно, принять за самую правильную форму данного слова ту, которая в нем существует. В этом наречии племенное название черкесов произносится «адыге» (Мы не понимаем, почему автор пишет это слово везде согласно с произношением нижне-черкесским — Адыхе), а во множест. «адыгехер». Значит, тут «ге» или «хе» по нижнечеркесскому произношению не наращение множ. ч., а корень, имеющий свое наращение множ. ч.

Трудно понять, по каким законам черкесского языка слово ант хотя бы даже в течение немалого времени должно было откинуть вовсе вторую коренную букву «н», изменить третью «д» и при помощи вставки «и» принять слог «ге», который вдобавок ни в одном из черкесских наречий не имеет значения наращения множ. ч.; тогда как оно весьма легко могло обойтись и в поэзии, и в простой речи с законным окончанием мн. ч. без всякой вставки, т. е. антхе анты. Что же касается стариков, произносивших, по уверению автора, адыге как антыхе, то мы полагаем, они произносили не адыге, а именно мн. форму ант-антхе, но с вставкою «н», которую часто по прихоти прикидывают к иным словам, не разбирая, уместна она или нет; те же, которые придерживались атихе, имели в виду никак не антхе, но адыге, произнося его по [243] ниже-черкесски. Нельзя согласиться и с тем, будто в древней поэзии народ адыгский всегда называется антами. В поэзии действительно встречается слово ант, но не заменяя и не исключая собою имени адыге.

Напротив, оно входит туда, как что-то чуждое, постороннее, выставленное как образец для подражания со стороны адыге (Здесь кстати заметить, что в русских преданиях, между прочими именами древних народов, сделавшимися нарицательными названиями великанов, упоминается и об ант. Буслаев. Историч. Очерк. Русск. Народ. Слов., т. I, 176 62). Слова, приводимые автором в подкрепление своего мнения, в сущности, нимало не подкрепляют его. Так, например, антинокопыш переводится антский княжеский сын, тогда как видно по всему, что это просто имя какого-то князя Антиноко — имя, несколько раз попадающееся у самого же автора. Если разбить это слово на три части, т. е. антский княжеский сын, как делает автор, то выйдет не антинокопыш, а антинико-пши — антина сын князь. Что же в таком случае означает антин? Ничего. Хотя первые три буквы заключают в себе то, что имел в виду автор, однако ничего не означающее окончание «ин» показывает, что слово разбито неправильно. Чтобы оно соответствовало сделанному автором переводу, следует выкинуть из середины слог «но» и произнести ант-ико-пши, чего уже вовсе не встретишь в черкесском языке. Самое же имя Антиноко может служить подкреплением мысли о происхождении адыге от ант столько же, как не менее часто встречающееся между адыгами имя калмык может доказывать родство адыге с калмыками. Прочие слова: антигишао, антигиуорк, антигишу, в общеупотребительном виде, в поэзии и в обыкновенной речи выговариваются: адыгешао, адыгешу, адыгеорк. Вообще мы думаем, что в таких сложных словах слог ант не иное что, как несколько кокетливо и в нос произносимое начало имени адыге. Подобное произношение очень часто слышится между адыгами, особенно певцами и вообще людьми, считающими себя некоторым образом мудрецами и потому склонными отличать даже выговор свой от общепринятого. Это мнение подтверждается появлением в середине этих сложных слов звука «ге», который, как уже замечено, не есть наращение и слышится исключительно в кабардинском произношении — адыге. Если бы звук этот являлся здесь не коренною буквою, а знаком мн. ч., то должно бы говорить: антихишао и пр., чего не сделал и сам автор, недолголюбивающий вообще этой буквы в правописании слова адыге. Таким образом, присутствие «г» обличает, что упомянутые слова составлены не из «ант» и «шао» и пр., а из «адыге» и «шао» и пр.

Автор с полной уверенностью говорит нам, будто название [244] знаменитых витязей нарт есть сокращенное нар-ант — «глаз: нартов».

Но с этим никак нельзя согласиться иначе, как допустивши, что синтаксис черкесского языка подчинялся совершенно другим неизвестным нам законам, во время образования слов нар-ант, чего мы не думаем, за неимением других тому доказательств, кроме предлагаемого автором примера.

По правилам же нынешнего адыгского языка, на котором говорил и сам автор, если два существительных, из которых одно определяется другим, согласуются между собою, то определяемое ставится всегда позади определяющего; напр., нельзя говорить: кэ-шы — лошадь хвост, не-цух — глаз человек, а шы-кэ — хвост лошади, цухуне (послед, у — вставка) — глаз человека. Следовательно, будь нарты действительно «глазом антов», то было бы ненарт-ант, а просто антыне (ы — вставка, буква «р» в «нер» выбрасывается в силу определяющего слова ант). Стало быть, нарты остаются нартами, жившими, по преданиям, на Кавказе в незапамятные времена и сделавшимися на языке нынешних черкесов синонимом великанов. Вместе с этим опровергается и мнение автора, будто кисловодский источник, нарзан, происходит от нар-ант-псина (последнее значит не колодец, как говорит автор, а родник и маленький ручеек), но от нарт-санг — нартское или богатырское вино.

Что касается до приводимых автором указаний древних на: антов, то мы ничего не имеем сказать по поводу их, за исключением разве того, что все они, показывая несомненное пребывание на Кубани в древние времена народа под именем ант, не дают, однако, никакого повода к предположению о тождестве этого народа с адыге. Указания эти нисколько не устраняют возможности той мысли, что анты были отдельным от адыге племенем, явившимся на Кавказ временно и вытесненным оттуда, вероятно, самими же адыгами, с чем согласно и свидетельство Павла Диякона 63, что в I ст. по Р. Х. анты обитали на Днепре. Слова же Прокопия, что страны дальнейшие от Черного моря к северу заняты многочисленными племенами антов (прим. на стр. 20), можно объяснять тем, что этот писатель мог придать название ближайшего, известного ему народа, ант, и всем прочим племенам, жившим дальше от него, как древние придавали всем северным жителям без различия название скиф. Не нужно упускать из виду также указания Иорнанда 64, готского историка VI в., что анты принадлежали к славянскому народу. (Там же.)

«Кавказские анты или адыге, — говорит автор, — были завоеваны и служили аварцам; до того они были под властью Атилы 65 и служили в его войсках. По разрушении Хазарского царству 66 на Дону, некоторые из этого народа нашли убежище [245] между нами, что напоминает родовое прозвание фамилии Хазар, существующей у нас» (стр. 22). Если автор говорит это согласно с народным преданием и ему действительно случалось слышать, что, говоря о завоевании антов аварцами и Атилию, адыге разумеют под антами себя, в таком случае не может быть никакого сомнения в тождестве этих двух народов. Но мы опасаемся, не основывался ли он здесь на таких же шатких доводах, как и в мнении о коротких сношениях адыге с сарматами⁶⁷. Мнение это построено единственно на сходстве названия фамилии Шармат, существующей у абазинцев, с сармат, но автор говорит об этом как о факте, основанном на предании. Близкое же знакомство адыге с сарматами выводится им из старинной поговорки (которая, может быть, и не так стара, чтобы быть современною сарматам): «ты не черт и не Шармат, откуда же ты взялся?» употребляемой, «когда кто-нибудь много шутит в обществе и заставляет смеяться других». Сколько нам известно, поговорка эта сложилась по поводу наследственной, в большей части членов фамилии Шармат, ветрености и склонности к шуткам.

О происхождении же этой фамилии от сарматов едва ли кто-нибудь слышал, не исключая и самого автора. Известно только, что шарматы слывут между абазинцами коренным дворянским родом. Едва ли также существует на каком-либо кавказском языке самое имя сармат.

Производство слов и передача на русском языке адыгских поговорок составляют самую слабую сторону труда Ногмова. Между тем на них-то именно и опирается вся сила выводов и догадок автора. Толкование некоторых исторических названий местностей и памятников ставит решительно в недоумение своею опрометчивостью. Не будь автор жителем Кабарды, мы готовы бы отрицать в нем сколько-нибудь основательное знание адыгского языка: до такой степени не согласны его объявления и иные из приводимых им под видом старинных изречений, но на самом деле сочиненных им самим фраз, с основными законами языка. Как пример можно привести следующее место, переведенное, очевидно, с русского на черкесский язык. Адыгейский герой Редедя захотел решить участь войны с Тамтаракайским (Тьмутараканским⁶⁸) князем единоборством и говорил ему: сит сшха дгакодра набже-гухерь дыд дзехарик тлиик сшха иткутира, т. е. «чтобы не терять с обеих сторон войска, не проливать напрасно крови и не разрывать дружбы, одолей меня и возьми все, что имею» (79). Переставив слова этой фразы по правилам языка, сделаем точный перевод: ди нибжегухерик ди дзехерик сит сшхаке дгакодра тлиик сишха иткутира, т. е. наших сверстников и наши войска зачем тратить и кровь зачем проливать? Следующих затем слов в переводе автора нет в черкесском тексте. Нельзя согласиться, чтобы [246] человек, посвятивший несколько лет своей жизни собиранию и изучению песен и преданий, не знал своего языка не только практически, но и теоретически, насколько это возможно при совершенной необработанности форм адыгского языка. Остается одно предположение, именно: автор, в пылу желанья подкрепить свое мнение тем или другим словом, названием исторического места, или же объяснить их в желаемом смысле, забывал совершенно о посторонних соображениях. Конечно, источником его опрометчивых суждений не могло быть никакое другое побуждение, кроме похвального рвения, к разъяснению близкого его сердцу дела. Тем не менее, в интересе истины и самого дела гораздо лучше, если бы он воздержался от слишком произвольных толкований, могущих подорвать доверие и к фактической части истории адыгейского народа.

Исчисляя уцелевшие в разных, местах черкесской земли памятники старины, автор переводит Адиюх — «дела предков» (Адиюх — один из уцелевших каменных построек — находится на р. Мал. Зеленчук), что совершенно неосновательно, потому что в этом смысле оно было бфадам-я-ох, или сокр. аде-ох. К тому же между начальными «а» в адиюх и «аде» большая разница: в первом она произносится кратко и остро, а во втором протяжно и мягко. Предание об этом памятнике ясно показывает настоящее его значение. Говорят, на утесе Зеленчука, в каменной башне, жил когда-то знаменитый наездник, опустошавший частыми набегами окрестные аулы. Красавица-жена его, дочь какого-то князя, похищенная им, светила ему с высоты утеса переправу через Зеленчук, когда он возвращался по ночам с набега. Свет исходит из обнаженной кисти правой ее руки. Однажды произошел спор между супругами о том, кто из них могущественнее — он или она. Муж, взбешенный словами жены, что ей только обязан он своими успехами, ударил ее плетью. (Он не знал о свойстве жениной кисти). Оскорбленная красавица вскоре отомстила ему за обиду. Раз, в ненастную ночь, наездник с отбитыми у соседних жителей лошадьми переезжал через разлившийся Зеленчук, руководимый, по обыкновению, спасительным лучом. Он был уже на середине реки, как вдруг свет померкнул: жена спрятала свою кисть в рукав — и наездник погиб в волнах реки.

Это мифическое предание дало надречному утесу и находившемуся на нем зданию имя адиюх — белая кисть. По-ногайски они называются ак-блек, что также значит белая кисть и вообще предание это, по нашему мнению, имеет татарское происхождение.

Выражение татартуп-пенжесен, употребляемое как клятва, значит, по автору: да буду в Татартупе многажды. Хотя ошибочность такого объяснения также не нуждается в обстоятельных [247] доказательствах, однако для большей наглядности мы и здесь прибегнем к тому же способу проверки, который уже не раз употребляли, как единственно возможный в настоящем случае. В слове пенжесен действительно слышится корень гл. жеиыр — бегать, который и ввел автора в ошибку. Пенжесен, по смыслу перевода, должен иметь форму желательного наклонения лица буд. вр. глагола бегать (а другого автор не мог иметь в виду в настоящем случае). Допустим притом — хотя это против правил языка — что начальное «пе» соответствует здесь частице «бе», которая в именах и глаголах выражает множественность и многократность действия, напр. бешх — много кушающий. Частица «бе» в настоящее время употребляется только в нижне-черкесских наречиях, но несомненно, что она была прежде общепринята у всех адыгов; это подтверждается часто попадающимся в старых кабардинских песнях словом, которое иногда имеет значение собственного имени, береумахо — многоудачливый (второй слог «ре» придает «б» значение наречия времени). Но допуская даже это, требуемая форма гл. бежать была бы: бересереже, а в будущем времени бересижен.

Но пенжесен тоже, что ахин-ижемтлерико, ляпщ и татартуп, с которым автор связал его в качестве глагола совершенно произвольно. Все эти и подобные им утратившие первоначальный свой смысл выражения заменяют клятвенное уверение, равносильное тха (ей-богу) и новейшему мусульманскому уаллахи. Пенжесен было священным местом абазинцев в верховьи р. Урупа, где в прежние времена приносились клятвы и давались обеты, причем переламывались стрелы. Место это названо так по имени одного языческого божества, обитавшего там по народному поверию. Самое слово, по-видимому, персидского происхождения, как татар-туп — татарского. Особенного внимания заслуживает странное выражение: ахин — ижемтлерико, сохранившееся у абадзехов и шапсугов и означающее буквально ахинова самоходная корова. (Его нет у автора.) Понятно, что здесь речь идет о жертвенной скотине; но почему она названа самоходною? и кто такой Ахин, так тесно связавший свое имя с жертвенной коровой? Не пускаясь в излишние догадки, можно полагать, что Ахин — имя какого-нибудь древнего жреца, может быть, грека (Слич. Ахин с ахейне — именем одного из древних народов Кавказа), а корова названа самоходною потому, что Ахин выдавал ее народу за нисшедшую с неба, или, по крайней мере, являвшуюся на место жертвоприношений сама собою...

«Под влиянием союза с Юстинианом, — говорит автор, — греческое духовенство, проникши в кавказские горы, внесло к нам миролюбивые занятия искусствами и просвещение. К этой эпохе [248] относят построение храмов божиих в нашей земле» (11). Несколько выше автор указывает на каменное здание Шона (или Чона), находящееся при слиянии Кубани с Тебердою, как на церковь, «крестообразная форма которой доказывает ее греческое происхождение». Если это и церковь, в чем позволительно еще сомневаться, то построение ее должно отнести ко временам гораздо более отдаленным Юстинианова века, потому что народное предание приписывает построение этого здания баснословным героям, нартам. С этим согласно и объяснение самого автора Шоны — Шу-уне, т. е. дом всадников (Всадник — синоним героя). Предание приписывает нартам сверхъестественные качества, так, напр., в Шона жили семь бра-тьев-нартов, а в Синты (другое здание, отстоящее от первого вверх по Кубани, в 30 или 40 верстах), находилась их невестка — жена старшего из братьев. Каждый день она приносила им горячий обед в открытой посуде, не давая ему времени остыть, т. е. 30-верстное пространство она

проходила в несколько минут. Предание не говорит нам ничего такого о нартах, что намекало бы на их религиозные занятия, напротив, представляет их всегда необыкновенными богатырями. Нет сомнения, если бы в Шона жили когда-нибудь священнослужители, предание не умолчало бы о них. Ведь оно очень ясно указывает, по мнению автора, что в четырех верстах от Нальчика, на «лесистом кургане», обитал первый епископ (шехник), пришедший из Греции?

Автор старается доказать, что знаменитый герой древнейшей поэзии адыге, встречающийся и в песнях осетин, Сосрико или Созирико (т. е. Соср-ико, сын Сосра), есть Кесарь. Основанием такому мнению служит сходство последнего имени с адыгским словом кесарих — «выпорок из матери», напоминающее рождение (?) Юлия Цезаря 69. Сосрико всегда является героем нар-тов; — нартхе фи Сосрико «ваш Сосрико, нарты», говорят постоянно песни, как бы давая знать, что нарты были посторонние адыгам люди. Во всяком случае, ближе находить тождество Сосрико или Соср с Цезарем в некотором сходстве обоих имен, нежели в слове кесарих.

Основываясь на том, что Сосрико является в повествованиях в различных положениях, делается, наконец, римским царем и притесняет адыгов, автор думает, что история рождения Юлия Цезаря перешла к адыгам вместе с названием его и породила предание, в котором это рождение приписано какому-то витязю из адыге, сделавшемуся впоследствии римским императором и что, без сомнения, предание о Созирико относится к одному из варваров, занявших римский престол после Константина.

Здесь автор слишком далеко простер свою догадку, применяя рождение Юлия Цезаря к слову кесарих, не имеющему других [249] отношений с Сосрико, кроме обычной манеры всех вообще преданий — объяснять рождение героев каким-нибудь особенным чудом. Немало найдется адыгских сказок, в которых волчица или лань кормит заброшенных злою мачехой или кем-либо другим детей, будущих богатырей. Можно ли выводить отсюда заключение о переходе этого обычного мотива народных сказаний к нам, положим от древних римлян, и о родстве героев, вскормленных волчицею или ланью, с Ромулом и Ремом 70.

Автор не объясняет, какие именно варвары занимали престол Константина, и был ли кто-нибудь из них кавказским уроженцем, притом настолько знаменит, чтобы имя его сделалось так известным на Кавказе?

Из всех разнообразных преданий о любимом герое адыгского эпоса, Сосрико можно принять за несомненное одно — что он был нарт.

Кто же были сами нарты? Не делая никаких голословных предположений в ответе на этот вопрос, мы поставим на вид лишь несколько соображений. Шона и Синты, как и все прочие памятники древности на Кавказе, построены в самых неприступных; местностях, не в дальних друг от друга расстояниях. Они большею частью сложены из камня и по своему объему не могли вмещать, в себе более десятка или двух людей. Искусство и прочность их постройки из материала, которым адыги доныне не умеют пользоваться для своих жилищ, а в прежние времена не могли и подавно, обличают несомненно не адыгское происхождение этих; зданий. Из этого мы вправе вывести следующее: все эти постройки принадлежали небольшой горсти пришельцев, поставленных в, необходимость оградить себя от туземцев каменными стенами к крепкою позициею, за которыми они легко могли защищаться против массы. Пришельцы обладали несравненно большею образованностью, нежели туземцы, почему в памяти последних сохранились в образе мифических героев, не похожих на простых смертных. Эпитет нарт (Не мешает иметь в

виду, как ближайшее по сходству корня, пожалуй, и по значению с этим названием, сане, нара — человек. Звук «т» в конце слов — сокр., вспом. гл. шитынир, стоять, быть, в прош. вр., напр., цухут — то был человек), существовавший, вероятно, в языке в смысле великана еще до знакомства адыге с неведомыми пришельцами, мог легко остаться навсегда за последними, вместо настоящего их имени.

На 52 стр. автор говорит о сношениях адыге с Аттилою, которого предание именует Адилем, и находит известный эпитет этого завоевателя — бич божий — в следующих словах песни: тха-ма ивергаи (должно быть: ификаге) бгихерий кохерий дярий ивижьма дыканухашь, переводя их так: «Господь бог помиловал [250] нас, горы и ущелья наши; бич небесный отступил от них благ получно». Но приведенные слова заключают в себе только перв предложение и значат: благодаря бога, горы, ущелья и мы по конец выпали из его рук (из чьих неизвестно).

Мы думаем, что эти слова, приписанные автором Аттиле, как видно, потому только, что в песнях встречается имя Адиль, или правильнее Идиль, гораздо правдоподобнее могут быть отнесен к позднему завоевателю, Темурлану 71. Шериф-Эддин 72 рассказывает, что Темурлан, окончив войну с русскими, в 1397 г. пошел против кубанских черкесов, через леса и непроходимые теснины достигнул Ельборуса и покориł предводителей яссов 73 (апсугов-абхазцев?), Юриберди и Еракана (*Russe dans le Caucase. Revue des deux Mondes, 1861, 4 liv.75*).

Заметим кстати, что в песнях часто попадает имя, весьма сходное с Адиль, это Идиль — река Волга. Рассмотренное выше мнение Ногмова о тождестве антов с нынешними адыгами, по-видимому, подтверждается приводимыми в начале IV главы преданием о войнах аварского хана, Байкана, с антами, в которых со стороны последних является героем Лавритсан. Подробности об этих войнах встречаются и у Карамзина 74, заимствовавшего их у греческих хронографов; но разница в том, что хронографы считают антов, вместе с венетами, славянским народом, аварского же хана называют Баяном. Перенос; это повествование к адыгам, Ногмов опирается, во-первых, на имени Байкан, сохранившемся в песнях, в названии пути, по которому вступил он в землю антов, т. е. Байкан хадах тлаго — «Байканов смертоносный путь», и в выражении: Байканов белый конь, которое адыги употребляют при виде хорошей белой лошади; и, во-вторых, на антском окончании имени Лавритсана, приводя при; этом в подтверждение имени: Баксан, Нарсан и Баргустан (в другом месте Бергусант).

Едва ли можно допустить без особых доказательств тождество Байкана с Баяном византийских летописцев. С другой стороны, нет также положительных указаний в приводимой автором песне, что Байкан был ханом аварским. Он мог быть ханом и тургоутов (монголов), с которыми адыги вели неоднократно войны — и это вероятнее, судя по самому звуку имени Байкан. Что же касается Лавритсана (у Карам. Лавритас), то нельзя безусловно признать имя его за адыгское. Существует (кажется, между бешильбайцами) фамилия, напоминающая звуки этого имени, именно Лаур-сан; но строить на случайных сходствах слов исторический факт, более чем неосновательно. Мы очень сожалеем, что Ногмов не привел черкесского произношения Лавритсана, которое без сомнения значительно отличалось бы от принятого им правописания [251] этого имени. Еще более сожалеем, что встречающиеся в почтенном труде Ногмова черкесские выражения, на которых основаны главным образом все его выводы и доказательства, исковерканы до такой невероятной степени, что нет никакой возможности, даже при помощи перевода автора, понять их смысл.

Все наши усилия восстановить их первоначальную форму остались тщетными. Понятно,

через это мы не имеем возможности; коснуться многих положений автора, основанных исключительно на смысле изречений и отрывков из песен. Не знаем, кого винить в подобном искажении — автора ли, наборщика или наконец самый способ изображения адыгских слов русскими буквами — способ в высшей степени неудовлетворительный; но верно одно,, что для восстановления смысла употребленных Ногмовым черкесских фраз, потребуется новое записывание их из уст народа..

На 61 стр., рассказав предание о сватовстве Лавритсана, приведя слова, сказанные женою его после его смерти: «он (Лав): вошел в Русь и воротился чрез горы»(По-черк. Гойка вышитчигарти урусъка кишича-кижирт; мы не видим здесь выражения «чрез горы», если не принять за него слова «Гойка», которого значения не понимаем. По смыслу же всей фразы выходит: он силою врывался а Гойку (?) и выходил оттуда чрез Русь), автор говорит: «замечательно, что жена Лавритсана говорит про Русь. Русское царство основанное в Новгороде Рюриком 76, тогда еще не существовало». Здесь невольно решается вопрос: действительно ли эти слова произнесены женою Лавритсана в VI столетии, как полагает автор?" Не вероятнее ли, напротив, отнести их к какому-нибудь адыгскому (а не антскому) герою позднейшего времени, тем более, что Ногмов приписывает их жене Лавритсана, без всякого указания на то в предании? Иначе трудно понять, почему предание, сохранившее (по автору) память о событиях того же времени, как-то, о походе адыгов с Байканом к Дербенту и Гуртату, ничего не упомянуло о вторжениях Лавритсана в Русь, как будто о них, знала только жена его.

На основании сказанного нами о Лавритсане и Байкане, мы позволим себе думать следующее: автор, найдя у Карамзина рассказ о войне аварского хана Баяна с антами, приурочил его, согласно с своим мнением о тождестве последних с адыгами, к войнам настоящих адыге с калмыцким ханом Байканом, и что поход к Дербенту и Гуртату был предпринят не в VI столетии, а гораздо позже.

В начале V главы Ногмов следующим образом повествует о-происхождении князей адыгских (кабардинских), основываясь, как сам говорил, на книге Табари 77: о княжеском родословии: сыновья хана Ларуна, вышедшего из Вавилона в Египет, Черкее и Бикес, навлекли на себя гнев турецкого султана Исгака и были [252] убиты в войне с ним, а войско их истреблено. Ближайшие родственники их, Туманбай и Араб-Хан, бежали с семействами своими и остатками войска в окрестности Александрии. Султан послал за ними отряд. Туманбай погиб в возгоревшейся затем войне; а Араб-Хан, переплыв морем в Византию, с дозволения императора Византийского, поселился на р. Кабарты, в Тавриде. Чрез несколько времени Араб-Хан умер. Сын его Абдан-хан, когда турки стали нападать на границы империи, боясь мщения султана Исгака, бежал на судах к западному Кавказу и пристал к Суджук-Кале. Обитавшие там адыхейцы приняли его с товарищами ласково и дозволили жить с собою. По смерти Абдан-хана, сын его Кес своими способностями и мужеством успел так привязать к себе адыгов, что они признали его своим князем. От внука его произошел Инал».

Г. Берже, в примечании 23 на 65 стр. приводит из другого турецкого сочинения рассказ об участии Туманбая совершенно иначе. Именно: «После падения последнего царя из династии черкесов в Египте, Консогори, в войне с турецким султаном Селимом I 78, полководцы Консогори избрали себе царем, из племени черкес, Туманбая. Селим разбил Туманбая, взял его в плен и повесил в 1517 г.» Видно по всему, что два эти рассказа касаются не одного события, а двух совершенно различных. Между ними одно только общее — имя Туманбая; но лицо с таким названием, могло быть и прежде падения черкесской династии в Египте. К тому же, в первом рассказе ничего не говорится о том, чтобы Туманбай и Араб-Хан имели какое-либо отношение к царствовавшей в Египте

черкесской династии; напротив того, очень ясно указано происхождение родоначальника их Ларуна. Наконец, самое время бегства их должно быть ранее уничтожения черкесской династии турками, что отчасти подтверждается именем султана Исгака, которого, сколько нам известно, не было между турецкими владыками.

Очевидно, под Исгаком здесь разумеется другое лицо (может быть, и не турок), завоевавшее Египет еще до Селима.

По приведенному Ногмовым рассказу, египетские выходцы после вторичного бегства из Тавриды пристали к берегу Черного моря в Суджук-Кале и были приняты жившими там адыгами. Рождается вопрос: какие именно народы из адыгского племени жили в то время на этих местах? Из другого источника мы знаем, что Абдун-Хан властвовал над кабардинцами в бытность их в Крыму в конце XIV и начале XV ст. и что кабардинцы, оставив Крым на судах, прибыли в Суджук-Кале, оттуда перешли к устьям Кубани и основались между Псифом на востоке и Нефелем на Западе (Dubois de Mont). [253]

Если последнее известие достоверно, то несомненно, что египетские беглецы присоединились к адыгам и были признаны ими владетелями еще во время пребывания их в Крыму. Вероятно также, самое название Кабартай принято ими там же, на что указывают имя р. Кабарты, на которой первоначально поселился Араб-Хан (см. выше), и сохранившееся у осетин предание, приводимое г. Берже в прим. на 20 стр. Но почему часть адыге, жившая в Крыму, получила неизвестное до того времени название, и что могло служить поводом к подобному переименованию? Приведем два предположения, из которых одно до сих пор нигде не было высказано печатно. Под 883 годом Константин Багрянородный упоминает, что по случаю междоусобной распри между хазарами, три колена из них, называемые кабары или кабарды, присоединились к маджарам (Изв. о Кав. Броневского, ч. 2, ст. 74 79). Если принять под последними кавказских маджаров, живших, как говорит Ногмов (стр. 22), на берегах Кумы и смешавшихся отчасти с адыгами, а с другой стороны, упоминаемое Константином отделение кабаров отнести к тому времени, когда хазары обитали на Дону, то выходит, что хазарское колено кабар дало свое название той части адыге, к которой пристали впоследствии маджары (Тут кстати прибавить к тому, что автор нам говорит о смешении частей хазаров и маджаров 80 следующее: в черкесском языке, общее с татарским существует слово казарь, в смысле несговорчивого торговца. Абазинцы иносказательно называют ружье — маджаром). В имени кабартай или ка-бардей, последний слог «ай» или «ей» есть местоимение притяжательное 3 лица множ. числа, на что ясно указывают другие названия с подобными же окончаниями, напр., название известной ветви кабардинцев бесленей (ей в ед. ч.) значит Бесленова, т. е. в смысле: народ Беслена; Хатикоай-Хатикова и пр. Звук «т» пред местоимением «ей» — или вставка, или даже коренная буква, которая легко могла исчезнуть из кабар у Константина. Итак, кабартай (по-адыгски кабардей) означает — народ Кабарда.

Второе предположение заключается в производстве кабартай от арабского двухсложного слова: кабсартай, означающего: бунтовщики тайские. (Тай — имя одного из значительных арабских колен). В слове кабсар буква «с» есть слабая, часто исчезающая, та самая, которая употребляется в слове Осман (отсюда и оттоманская Порта).

Ученый турок, приезжавший в начале тридцатых годов нынешнего столетия к темиргойцам, выдавал, говорят, такое происхождение имени кабардинцев за достоверный факт, ссылаясь при этом на какие-то книги. Само собою разумеется, мы не придаем этим предположениям никакого особенного значения, и указываем на них лишь потому, что они ничем не хуже и не лучше множества гипотез, существующих о происхождении

Чтобы не утомить окончательно даже самых терпеливых наших читателей, мы остановимся еще на двух-трех более выдающихся ошибочных толкованиях автора, минуя множество втор степенных промахов. Так, на 91 стр., данное потомкам тургоут оставшимся у кабардинцев в состоянии рабства, название наш переводится — узкий глаз, между тем как нашку или правильно нашхо, часто употребляемое как собственное имя, означает голубой глаз. Эпитет же калмыков и татар, постоянно встречающийся в песнях и в говоре, есть назав — узкоглазый. На той же стр. место сражения кабардинцев с хургутами, Каш-Катау (правильно Кашка-тау) переведено: беги в горы, что, очевидно, натяжка. Беги горы было бы по-татарски — тауга кашь или кашь тауга; а кашиц тау на том же языке значит лысая гора.

На 112 стр. тлахотлеш 81 объясняется двояко: 1) «тлабкусш» т. е. от трех знатнейших родов, и 2) тлабкусш (не знаем, чем отличается от первого), т. е. от трех мужественных родов человек. Вероятно, основанием к этим толкованиям послужило то, что тлахотляш придавалось прежде в Кабарде трем фамилиям (тла- кыш — три рода): Куденет, Тамбий и Анзор, которые, по преданиям, управляли кабардинцами до прихода арабских выходцев, уступили им власть за подарки, но для объяснения тлахотлеш (правильно: тлакотлеш) незачем было прибегать к слову тлабкусш (тлабкыш), потому что оно само по себе значит: сильный род.

До выселения в Турцию у абазехов и шапсугов сохранялось: деление народа на тлако (род, колено), соответствующие древним шотландским кланам.

В конце сочинения Ногмова приложены «постановления о сословиях в Кабарде», могущие дать довольно ясное понятие об оригинальных отношениях между собою кабардинских сословий, о взаимных правах их и обязанностях. Эти отношения, выработавшиеся веками, освященные давностью, держались прочнее и неизменнее всякого письменного закона: они служили необходимым условием существования адыгского общества, в прежнем его виде, и изменить их значит перестроить совершенно самих адыге.

Перечисляя племена, подчинившиеся в разные времена численному превосходству кабардинцев, автор говорит (162 стр.), будто алты-кесек абазинцы 82 платили дань князьям кабардинским наравне с ингушами, назрановцами и карабулаками, и поступали с ними в наказаниях и штрафах так же, как с последними. Но это мнение только кабардинцев...

Впервые опубликована в «Кавказском календаре» за 1862 г. Перепечатана в «Терских ведомостях», 1869, № 32.

Комментарии

39. Птолемей (2 в. н. э.) — древнегреческий ученый, автор «Руководства по географии», сосредоточившего в себе географические знания древних.

40. Плиний (23 — 79) — римский государственный деятель, писатель, ученый, автор «Естественной истории» (в 37 книгах).

41. Страбон (63 г. до н. э. — 20 г. н. э.) — древнегреческий историк и географ, автор «Географии» в 17 книгах. Страбон дал более подробную картину расселения предков адыгов, их хозяйственной деятельности и общественной жизни. (См.: Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. СПб., 1893, т. 1.).

42. До Р. Х. — христианская церковь приурочивает начало летосчисления, к рождению мифического Иисуса Христа.
43. «Дербент-наме» («Книга о Дербенте») — история г. Дербента, содержит также ценные сведения по истории Дагестана и Северо-Восточного Азербайджана в V — II вв. Составитель неизвестен.
44. Анты — восточно-славянские племена, занимали территорию между Днестром и Днепром и к востоку от Днепра. Сведения об антах содержатся в трудах писателей VI — VII вв.: Прокопия, Иордана, Менандра и др.
45. Зиги (зихи) — древнее племенное объединение северо-западного Кавказа, впервые упомянуты Страбоном. Селились в приморских нагорных районах от современного Новороссийска до Гагры. На рубеже VIII — IX вв. страна зихов считалась могущественной, последнее упоминание о ней относится к XV в. (Георг Интериано). Зихи сыграли значительную роль в этногенезе абхазов и адыгов. (См.: Лавров Л. И. О происхождении народов северо-западного Кавказа, — В кн.: Сборник статей по истории Кабарды. Нальчик, 1954, вып. 3.).
46. Гениохи — по-видимому, адыгское племя, предположительно жанеевцы.
47. Ахейцы — общее название древнегреческих племен у Гомера.
48. Скилакс — древнегреческий географ. В 508 г. до н. э. предпринял по приказанию персидского царя Дария путешествие с целью географических открытий и добрался до устья Инда. Составил описание результатов своего путешествия, в том числе и Причерноморья.
49. Дарий Гистаст — персидский царь государства Ахменидов (522 — 486 г. до н. э.).
50. Сикты (синды) — одно из многочисленных меотийских племен, обитавшее в I тысячелетии до н. э. — первых веках н. э. на Таманском полуострове и прилегающем к нему побережье Черного моря. Впервые упомянуты логографами, затем Геродотом, Псевдо-Скилаксом, Страбоном. В первые века н. э. ассимилировались с сарматами. (См.: Лоцин екая В. И. О государстве синдов. — Вестник древней истории, 1946, № 3.)
51. Керкеты — одно из древних племен Северо-Западного Кавказа, предков адыгов. В античную эпоху жили на Черноморском побережье (южнее современного Новороссийска). Упоминаются у античных авторов: Страбона, Плиния, Птолемея и др. Племенное название керкетов, возможно, послужило основой названия черкесского народа. (См.: Лавров Л. И. Адыги в раннем средневековье — В кн.: Сборник статей по истории Кабарды. Нальчик, 1955, вып. 4.).
52. Жанеевцы — адыгское племя. По данным турецкого путешественника Эвлия Челеби (См.: Путешествие турецкого туриста Эвлия Челеби вдоль по восточному берегу Черного моря (1641). — Записки Одесского общества истории древности. 1875, т. 9), жанинцы занимали территорию выше абхазских племен катасы по берегу моря вдоль р. Пшад. По карте же турецкого путешественника первой пол. XVII в. Хаджи-Халва — селились на правом берегу нижнего течения р. Кубань, за Таманью и Атчу. В результате нашествий крымских ханов подверглись сильному истреблению. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1967, с. 152.)
53. Берже Адольф Петрович (1828 — 1886) — известный кавказовед, с 1851г. служил в Главном Управлении наместника в Тифлисе. В 1861 г. он издал «Историю адыгейского народа» Ш. Б. Ногмова, рукопись которой он, видимо, обнаружил в архиве Управления. Под его редакцией было осуществлено фундаментальное издание — «Акты, собранные кавказской археографической комиссией» (т. I — XII), систематизировавшие архив Управления.
54. Арриан — выдающийся древнегреческий историк и писатель времен Римской империи, автор отчета о плавании вокруг берегов Черного моря — «Плавание по Черному морю». (См. русский перевод: Вестник древней истории. 1948, № I.).
55. Натухаи — одно из самых многочисленных адыгских племен, занимавшее территорию от нижнего течения Кубани на севере до р. Джубга на юге. Южной границей натухайцев

была р. Пиад, на востоке граница проходила по течению р. Адагум и некоторым ее притокам и частично по Кавказскому хребту. Западная граница тянулась вдоль Черноморского побережья. На востоке натухайцы граничили с Большой Шапсугией, на юге — Малой Шапсугией. У натухайцев не было князей, но выделялись знатные роды: Фынако, Чангаку, Кирзек, Куйцук и др. (См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957, с. 149.).

56. Прокопий — Прокопий Кесарийский (между 490 и 507 г. — после 562 г.) — византийский писатель, автор сочинения «Войны».

57. Юстиниан — выдающийся император восточной (римской) империи, правил с 527 по 565 г. При нем Византия захватила Закавказские берега Черного моря и южный берег Крыма. Во власти-империи оказались все горские народы Северного и Северо-Западного Кавказа от Тамани до Терека, в том числе адыги и абхазы.

58. Константин Багрянородный — византийский император (913 — 959 гг.). Уделяя мало внимания политическим и военным делам, посвящал много времени занятиям науками и литературой. В своем трактате «Об управлении государством» он приводит важные сведения о кавказских народах, в частности об абхазах и зигах (зихах). (См.: Константин Багрянородный. Об управлении государством. — Известия государственной академии истории материальной культуры. М. — Л., 1934, вып. 91.).

59. Косоги (касогои) — название адыгов в русских летописях.

60. Здесь дано неполное название произведения «Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Колхиду, Грузию, Армению и Крым» (1839) и имя его автора Фредерика Дюбуа де Монпере.

61. Спиты — неизвестный нам народ.

62. Здесь автор ссылается на труд известного русского филолога и искусствоведа Ф. И. Буслаева — «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861, т. I — II), характеризующий его как наиболее последовательного представителя мифологической школы в русской науке.

63. Павел Диакон (около 720 — 799 гг.) — лангобардец, автор «Истории лангобардов», являющейся основным источником по их истории с древнейших времен до 744 г.

64. Иорнанд — готский историк VI в., автор сочинения «О происхождении и деяниях гот», одного из важнейших источников по истории гот, народов Северного Причерноморья и всего периода Великого переселения народов.

65. Аттила (умер в 453 г.) — вождь гуннского союза племен в 434 — 453 гг. Гуннский племенной союз сформировался в III в. до н. э. у северных границ Китая. В 70-х гг. IV в. гунны двинулись на Запад. Одна часть из них прошла по степям севернее Азовского моря, другая по Северному Кавказу. Предкавказские племена оказали им упорное сопротивление, но не смогли их одолеть.

66. Хазарское царство — хазары, кочевой тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после гуннского нашествия. В 60-х гг. VI в. были покорены Тюркским каганатом. С середины VII в. образовали Хазарский каганат. К 80-м гг. VII в. хазары распространили свое господство над Северным Причерноморьем. Однако в 965 г. хазары были разбиты князем Святославом. Сохранилось предание о борьбе адыгов с хазарами, о походе адыгов на хазар, о покорении хазарской крепости Саркал (Саркел). Предполагают, что это предание отражает историческое событие — взятие Саркала войсками Святослава, в составе которого были ясы (аланы) и косоги (адыги). (См.: Очерки истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь. 1967, с. 102 — 103.).

67. Сарматы — общее название ираноязычных племен, расселившихся в III в. до н. э. — IV в. н. э. в степях от р. Тобол на востоке до р. Дунай на западе. С III — II в. до н. э. часть сарматов (сираки и аорсы) захватила предкавказские равнины, другие (языги и роксоланы) осели в степях Северного Причерноморья. В III в. н. э. вынуждены были уступить власть в Северном Причерноморье готам, а затем гуннам. Часть сарматов участвовала в Великом переселении народов, другая — смешалась с северокавказскими

народами.

68. Тмутараканский — Тмутаракань известна с античных времен, к X в. стала одним из важных торговых центров на Таманском полуострове благодаря своему выгодному географическому расположению на стыке водного пути из Византии к Дону и сухопутного от Тамани на Северный Кавказ и в Закавказье. После успешного похода Святослава на Северный Кавказ, на хазар и кочевников, Тмутараканское княжество вошло в состав Киевского государства. В последующем 1022 г. Мстислав повторил поход на «кочевников», во время которого Киевский князь вступил в единоборство с кочевническим князем Редедей. Этот эпизод запечатлен в адыгском фольклоре, а также в русской летописи и в «Слове о полку Игореве». Со второй половины XI в. Тмутараканское княжество стало терять свою военную и политическую силу. Последнее упоминание о нем в русских летописях относится к 1094 г., когда кочевники вновь его завоевали.

69. Юлий Цезарь (100 — 44 г.) — римский государственный деятель, полководец, писатель.

70. Ромул — легендарный основатель Рима и первый римский царь. По преданию Ромул и его брат-близнец Рем, сыновья бога Марса и Реи Сильвии, были вскормлены волчицей и воспитаны женой пастуха.

71. Темуран (Тимур, Тимурленг, Тамерлан, 1336 — 1405 гг.) — среднеазиатский эмир, полководец, создатель огромного государства, включавшего Маверан-нахр, Хорезм, Афганистан, Иран, Ирак, Закавказье.

72. Шериф-Эддин — персидский историк, автор «Истории Темура-Бека, известного под именем Великого Тамерлана, императора монголов и татар».

73. Яссы — здесь автор предполагает, что яссами назывались апсуги-абхазцы. Однако следует считать установленным, что яссы те же аланы, ираноязычные племена, выделившиеся из среды сарматского населения Северного Прикаспия, Дона и Предкавказья (последний век до н. э.). Аланы сыграли значительную роль в этногенезе и культуре народов Северного Кавказа. (См.: Кузнецов В. Л. Аланские племена Северного Кавказа. М., 1962; его же. Очерки; истории алан. Орджоникидзе, 1984.)

74. «История Государства Российского» Н. П. Карамзина послужила основным пособием для Ш. Б. Ногмова при создании его труда — «История адыгейского народа».

75. Русские на Кавказе. Обзорение двух миров, 1861, кн. 4.

76. Рюрик (умер в 879 г.) — по летописной легенде варяжский князь, пришедший в 862 г. в Новгород вместе с братьями Синеусом и Трувором.

77. Табари (Абу Джафар Мухаммед ибн Джерир, 838 — 923 гг.) — «отец» мусульманской историографии, автор труда «Тарих ар-русул ва-ль-мулк» («История пророков и царей» или «История посланников и царей»), важнейшего источника по древней и средневековой истории Ближнего Востока.

78. Селим I — султан Османской империи с 1512 г. Продолжая завоевательскую политику своих предшественников, в 1517 г. покорил Египет.

79. Здесь ссылка на труд С. Броневского «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе». М., 1823, ч. 1 — 2.

80. Маджары — мадьяры (самоназвание венгров). Предки мадьяр-венгров, двигаясь из Приуралья на Запад, на территорию современного расположения (конец IX в.), прошли через южнорусские степи и, возможно, Северный Кавказ.

81. Ткакотлеи (тлекотлеи) — так именовались уорки — дворяне первой степени, второй степени — деженуго, за ними следовали уорки низших степеней.

82. Абазинцы — потомки разноязычного населения Черноморского побережья, на северо-западе от нынешней Абхазии. В XIV — XVI вв. предки современных абазин переселились на Северный Кавказ с Черноморского побережья, примерно с пространством между Туапсе и р. Бзыбь. (См.: Лавров Л. И. Абазинцы. Историко-этнографический очерк — Кавказский этнографический сборник. М., 1955, т. 1, с. 1 — 47.)

ИЗ КАБАРДИНСКИХ (АДЫГСКИХ) ПРЕДАНИЙ

Жил когда-то молодой, храбрый, красивый князь, пользовавшийся в народе уважением за свою ласковость и щедрость на подарки. Словом, князь этот удовлетворял всем требованиям, какие предъявляли адыги своим родовым вождям.

Когда настало время, заботливые аталыки и окружавшие дворяне — вассалы, как водится, женили молодого своего владельца на вполне достойной его девушке, разумеется, выбрав ее из княжеского сословия, так как в прежние времена неравные браки считались между адыге великим позором, и дети, происшедшие от таких союзов, не пользуясь правами отца, делались какими-то париями, под именем «тума» (Из них, впрочем, нередко выходили отважные абреки (соответствовавшие Древнерусским изгоям), которые своими личными качествами брали верх над законнорожденными соперниками. Так, в Кабарде, лет 300 тому назад, прославился Айдемир-Кан, память о котором сохранилась в довольно распространенной и доныне в народе эпической рапсодии).

Сначала супруги жили в любви и мире, насколько это допускали спартанские обычаи древних адыге.

Муж, когда был дома, аккуратно приходил в «логуна» (в половину) жены, поужинав с гостями в кунацкой, что, по обыкновению, случалось в полночь.

Жена встречала его, стоя, безмолвно, с опущенными вниз глазами, около сложенных тюфяков, одеял, подушек и т. п. принадлежностей постели, занимающих заднюю стену черкесской сакли.

На камине горел яркий огонь, освещая небогатое убранство сакли, состоящее (за исключением постельных принадлежностей), всего из нескольких тазов, рукомойников, симметрически расставленных около очага или у входной стены, двух-трех сундуков, стоявших подряд на дощатых нарах, устроенных вдоль противоположной входу стене, позади большой кровати из крашеного дерева, с высокими спинками сзади и с боков испещренной разною хитрою резьбою.

Кровать эта к приходу хозяина была всегда убрана так, что оставалось только раздеться и лечь на нее. Но молодой князь, как и всякий порядочный адыгский дворянин, не делал этого никогда. Войдя в саклю, он мерным шагом, не поворачивая головы ни направо, ни налево, шел прямо к кровати, молча садился на нее посередине, причем никогда не позволял себе даже облокотиться на подушку.

Сопровождавший его из кунацкой товарищ — сверстник принимал от него неразлучное оружие и вешал на одной из боковых ручек кровати или на задней стене, где висело и остальное [256] вооружение князя; снимал с него черкеску, ноговицы, чувяки и, убрав их куда следует, задком возвращался к входной стене, чтобы та почтительно ожидать приказаний удалиться.

У той же стены, у постели стояла горничная хозяйки, в ожидании такого же приказания от своей госпожи.

В сакле в ту пору царствовала большею частью мертвая тишина, прерываемая лишь треском полен на очаге. Никто из присутствовавших не говорил и не поднимал глаз друг на друга; все: молчали и глядели в землю или куда-нибудь в сторону: того требовал

неумолимый древнеадыгский этикет.

Раз так-то князь замечтался дольше обыкновенного, сидя т своей кровати. Огонь на очаге несколько раз потухал, так что горничная должна была подкладывать вновь дрова. Само собою разумеется, ни хозяйка, ни прислуга не смели прерывать молчания хозяина: они хранили также безмолвие, стоя неподвижно в своих местах.

Как ни благовоспитан был юноша, удостоенный князем чести и доверия сопровождать его в саклю жены, но в эту ночь он невыдержал и зевнул, — впрочем, едва слышно и притом в рукав, своей черкески. Спустя немного зевнула против воли и княгиня, разумеется еще тише и стыдливее, чем княжеский спутник.

Тут князь внезапно очнулся и, мрачно насупив брови, дал понять рукою, что прислуга может разойтись.

Оставшись одна, княгиня притворила двери, потушила огонь и начала собираться лечь в постель; но супруг приказал ей, ни с того, ни с сего, ложиться особо, на полу.

Такая неожиданная и совершенно незаслуженная немилость мужа, до того времени не высказывавшего к ней ни малейшего признака нерасположения, поразила, как громом, молодую женщину, несколько времени она стояла во тьме, в полном оцепенении. Когда же она понемногу пришла в себя, собрала всю свою смелость и скромно спросила мужа: чем она провинилась пред ним, что он не хочет допустить ее более разделять с ним ложе.

Князь сначала ничего не ответил и неподвижно лежал по-прежнему, повернувшись спиною к жене. Прошло так еще несколько времени: княгиня, не удостоенная даже ответа, по обычаю своего пола, обратилась прежде всего к слезам; прислонившись к ручке кровати, она начала глухо рыдать.

Тогда муж молча встал, оделся поспешно в темноте, взял свое оружие, приказав жене ожидать объяснения его немилости, вышел из сакли.

Бедная женщина, конечно, была еще сильнее озадачена таинственными словами мужа, но так как честь и достоинство предписывали ей встречать всякую случайность с подобающим ее полу приличием, то у нее хватило настолько силы, чтобы одеться, [257] развести огонь, привести в порядок постель и стать по-прежнему у складки тюфяков, приняв вид, как будто ничего с нею не случилось и она ждет по обыкновению возвращения своего хозяина.

Князь недолго заставил себя ждать: он вернулся в саклю, таща за собою что-то тяжелое. Едва переступил он чрез порог, и жена увидела то, что находилось в его руках, она испустила крик ужаса и упала без чувств на пол.

Неизвестно, что происходило далее в княжеской сакле в эту ночь, потому что не было других свидетелей, кроме самого князя; а он, конечно, не разговаривал о том, что сам творил; напротив, с этой роковой ночи, характер и образ его жизни так круто изменились, что аталыки и вассалы решительно не могли разгадать, что бы такое с ним могло случиться. На расспросы же их об этом князь отвечал или молчанием, или уклончиво. Дни и ночи просиживал он безвыходно в своей кунацкой, почти ничего не ел и неохотно принимал посетителей.

Что касается княгини, то положение ее казалось еще непонятнее. Бледная и изнуренная,

она едва держалась на ногах и, наверное, слегла бы в постель, если бы оскорбленное чувство гордости не внушило ей мысли, что она должна выносить постигшее ее горе без напрасных жалоб, не возбуждая к себе ни притворных сожалений, ни праздного любопытства посторонних зрителей. Даже горничной своей она не поверяла того, что с нею случилось.

Таинственная катастрофа, нарушившая внезапно обычный ход дел в княжеском доме, естественно, не могла не обеспокоить сильно вассальных дворян, связанных с этим домом множеством насущных интересов. По аулу пошли оживленные толки, догадки, предположения, сожаления и т. п. Но все это не приводило ни к чему. Дело оставалось темным для всех.

Но как в самых запутанных делах находится всегда какой-нибудь исход, лишь бы отыскался умный человек, способный открыть его, и в настоящем случае найдено было средство к разоблачению тайны.

В ауле проживала старуха, кормилица князя, пользовавшаяся за свой ум и опытность полным его уважением и доверием.

Ей-то пришла в голову счастливая мысль — навестить тоскующую княгиню и в разговоре незаметно выпытать у нее причину неожиданного разрыва ее с мужем.

Старушка, конечно, была слишком опытна в таких вещах, чтобы не успеть в своем предприятии. Она, действительно, довела княгиню ловкою беседою до полного сознания. Мешкать было нечего: старушка, узнав в чем дело, тотчас придумала и средство против него. Она прежде всего упростила своего питомца, во имя данного ею ему молока, ночевать в сакле княгини, дабы не делать скандала на весь народ. Если жена провинилась пред ним в [258] чем-нибудь, то ничто не мешало разойтись с нею под благовидным предлогом: выставлять же ее напоказ всем, как уличенную уже в преступлении, но в то же время оставлять ее в своем доме — значило бы добровольно позорить свою честь и достоинство в глазах посторонних людей.

Князь должен был уступить этим доводам, а еще более воспоминанию о данном ему молоке. Он начал по ночам возвращаться в саклю жены, хотя во всем остальном упрямо сохранял принятое положение.

Спустя две или три ночи, когда князь, вернувшись в женскую половину, собирался уже лечь в постель, горничная вводит к нему неожиданно кормилицу.

Князь вскакивает быстро на ноги, идет к ней навстречу, спрашивает ее с удивлением, что могло заставить ее навестить его в таком необычном месте и в такое неудобное время.

Ловкая старуха имела в запасе достаточно предлогов и оговорок в оправдание действительно необычного, по понятиям адыге, своего поступка, а потому успела вскоре успокоить щекотливость своего питомца и даже усадить его спокойно на место. Сама она расположилась в почетном углу очага и пространно, не переводя духа, стала излагать домашние свои дела, побудившие ее сделать против воли настоящий визит.

Умышленно сплетенный рассказ достиг, конечно, своей цели: князь, и без того усталый и расположенный ко сну, начал потихоньку позевывать. Старуха вторила ему, с своей стороны, усерднейшим образом. Вдруг князь вскакивает с места и с изумлением говорит своей кормилице:

— Что с тобою, мать моя? Возможно ли допустить между нами какие-либо дурные мысли, выражающиеся посредством взаимной зевоты?

Старушке только этого и было нужно: она тотчас прервала нескончаемый свой рассказ и в кратких, точных выражениях убедила князя в том, что он глубоко ошибается, приписывая зевоте значение каких-либо тайных симпатий, что люди зевают, когда их клонит ко сну, когда они голодны или чувствуют усталость, что, наконец, зев есть самый заразительный звук человеческого голоса, как об этом даже гласит пословица. А самым же очевидным доказательством истины ее слов может служить в настоящем случае, невольное совместное зевание его, князя-питомца, и ее, матери-кормилицы, между которыми, разумеется, и самый злейший человек не заподозрит существования каких-нибудь дурных отношений и чувств, кроме сыновних и материнских.

Затем старуха поднялась, извинилась еще раз в беспокойстве, причиненном несвоевременным ее посещением, и отправилась к себе домой. [259]

А князь не только перестал с этой ночи привязывать к спине жены труп бывшего своего доверенного спутника и класть их вместе до утра в промежутке между стеною и постельною складкою, в наказание за предположенную им (вследствие невольно напавшей на них в известную ночь зевоты) тайную любовь, но, испросив у княгини искреннее прощение, стал жить с нею в большем еще согласии и доверии, чем прежде.

«Терские ведомости», 1871, М 39, Перепечатано в «Сборнике сведений о Терской области», 1878, вып. 1, с. 304 — 308.

О НЕЗАМЕТНОМ ВЫМИРАНИИ ГОРСКИХ ПЕСЕН И ПРЕДАНИЙ

Наши кавказские горцы, как и вообще все народы, не выработавшие самостоятельной письменности, удовлетворяли свои невзыскательные умственные потребности запасом изустных преданий и песен, переходивших от поколения к поколению, вместе с другими предковскими заветами. Пока каждое племя жило отдельною, самостоятельную жизнью, оно дорожило этими скудными остатками народного творчества, потому что находило в них источник для знакомства со своим прошлым и в то же время пример и науку для настоящего. Но едва только рушилась цельность раз установившегося племенного быта, произведения народного ума начали утрачивать прежнее свое значение, ибо народу, озабоченному вопросом о своем существовании, некогда уже было думать о песнях и рассказах. Люди, знакомые с горцами, могли заметить у них подобное явление со времени переселения части туземцев в Турцию. Последовавшие затем преобразования в быту горцев, подорвав в корне все основания в начале народной жизни, заставили народ окончательно забыть о скудном умственном завещании его предков, так что в настоящее время можно сказать — горцы совсем перестали петь и рассказывать, по крайней мере, как бывало это прежде. А нельзя не пожалеть об этом. Мы вообще очень мало сделали до сих пор в деле изучения прошлой жизни кавказских племен и потому не должны бы дать погибнуть бесследно единственным памятникам этой жизни — народным сказаниям и песням. Если справедливо вообще мнение, что без знания прошлого нельзя составить себе верного памятника о настоящем, что даже с чисто практической точки зрения (не говоря уже о научном интересе), подобное равнодушие к горской старине является совершенно неизвинительным, ведь приносятся известные материальные и иные жертвы для достижения и не столь важных по своим последствиям целей, какую по справедливости нельзя не признать возможно основательное изучение кавказских племен в историческом,

Между тем у нас до сих пор не было сделано ни официальным, ни частным образом сколько-нибудь серьезной попытки с целью собственно собирания на месте сохранившихся у различных племен Кавказа песен и сказаний. Единственным в этом роде предприятием можно считать еще «Сборник сведений о кавказских горцах» 83, о котором не раз уже говорено в нашей газете, если бы только он не ограничивался печатанием того, что поступает со стороны и нашел бы, вместе с тем, возможность рассылать сведущих людей для собирания материала во все места, снабдивши их надлежащими инструкциями, как и что записывать. Кроме того, в силу самого своего происхождения, издание это поставлено в такие условия, что рассчитывать ему на сколько-нибудь значительный круг читателей, — хотя бы, например, такой круг, при котором мыслимо было бы печатание в нем более или менее самостоятельных исследований горского быта, — совершенно невозможно. А других изданий, периодических или повременных, которые бы приняли радушно не только какие-нибудь сухие лингвистические изыскания о горских языках, но даже общедоступные и, пожалуй, не лишенные интереса для многих описаний из горского быта — в настоящее время, сколько нам известно, — нет в целой России. И это совершенно понятно: издания эти печатают только то, что в данную минуту может интересовать их, читателей, а большинству читателей, успевшему ознакомиться с Кавказом по прежним описаниям, нет никакой надобности изучать быт каких-нибудь кавказских горцев, когда можно читать романы Шпиль-гагена 84 и подобных ему иностранных и отечественных авторов. Чтобы слова наши не показались голословными, укажем на то, что в наших литературных журналах, имеющих более или менее обширный круг читателей, за последние 3 — 4 года не появилось ни одной сколько-нибудь заметной статьи, касающейся Кавказа, а единственное в этом роде сочинение г. Дубровина «Адыге» (черкесы) помещено в специальном органе военного министерства 85, тогда как ему скорее следовало бы появиться в каком-нибудь из более распространенных журналов. Вывод из всего этого представляется сам собою: хотя у нас существуют и литературные журналы и специально-научные издания; тем не менее, однако, лицам, которые вздумали бы посвятить несколько лет своей жизни разработке какой бы то ни было стороны горского быта, грозит печальная участь — остаться самым единственными созерцателями своих трудов, потому что едва ли найдется настолько наивный издатель, который бы решился рискнуть своим капиталом, взяв на себя печатание подобных трудов; ввиду этого нельзя, само собой разумеется, удивляться тому, что у нас вообще мало еще людей, имеющих желание и возможность предаться изучению истории и этнографии Кавказа (не говорим уже об [261] языках, хотя практическое знание их для служащих на Кавказе было бы несравненно полезнее, чем переливание из пустого в порожнее на французском диалекте).

Кому в самом деле придет охота терять время и труд на заведомо бесплодное предприятие? Разве уже какому-нибудь чудаку, для которого собственное сознание исполненного долга заменяет все мирские блага, но таких исключительных субъектов в наше практическое время можно поискать со свечой; большинство же современных деятелей науки и литературы, как известно, весьма сведущи в политической экономии и не любят работать ради одного удовольствия.

Можно бы, конечно, приискать множество оправданий такому положению научно-литературного дела по отношению к Кавказу, но вопрос не в оправданиях, так как здесь никто и не обвиняется, а в том, как помочь самому делу. Ведь если невозможно приняться за что-нибудь в обширных размерах, из этого вовсе не следует, что нужно совсем отказаться от дела. Напротив, практика и здравый смысл предписывают примириться с малым, когда нельзя рассчитывать на великое, — словом, лучше сделать хоть что-нибудь,

чем ничего не делать. Например, допустим, что у нас найдутся люди, имеющие желание и возможность посвятить часть досужего своего времени собранию и обработке сведений о наших горцах, сношения с которыми, кстати, с каждым днем становятся чаще и теснее и что они будут стремиться к невозможному, т. е. к тому, чтобы сразу прославиться и зашибить деньгу, а зададутся более скромной задачей — принести посильную пользу ближнему и вместе с тем доставить себе удовольствие занятием, никому не вредящим, а напротив, могущим, пожалуй, кому-нибудь послужить и в пользу. Что мешает таким людям, не подвергая себя различным мытарствам и напрасным унижениям, неизбежным при сношениях с промышленниками-издателями, помещать свои труды хотя бы в местных губернских ведомостях, имея, разумеется, при этом в виду не полное вознаграждение за свой труд (на которые такие издания не могут быть щедры), а скорее для того, чтобы труды эти не пропали совершенно бесследно, что всего печальнее для произведений ума, без различия их относительного достоинства. По крайней мере, мы думаем, что наши «Терские ведомости», поставившие себе задачей, между прочим, посильное соби́рание и разработку этнографических, исторических и других сведений, касающихся не только одной области, но и вообще горского населения Кавказа (мало чем отличающегося вообще друг от друга), охотно приняли бы всякий труд, в каком-либо отношении знакомящий с бытом этого населения. Мы даже слышали, что за подобные труды областное начальство не прочь бы назначить и небольшое вознаграждение авторам.

Газ, «Терские ведомости», 1871, № 20.

Комментарии

83. *«Сборник сведений о кавказских горцах» (ССКГ), издавался с 1868-по 1881 г. (редактор Н. И. Воронов) при Кавказско-Горском управлении в Тифлисе. Всего вышло десять томов.*

84. *Шпильгаген Фридрих (1829 — 1911 гг.) — немецкий писатель, журналист, новеллист, поэт, драматург, теоретик литературы. Широкую известность приобрели его романы, продолжившие традиции младогерманцев и отразившие-социальную борьбу в Германии середины XIX в. Романы Шпильгагена были популярны в России во второй половине XIX в., особенно в народнической среде.*

85. *Н. Дубровин. Черкесы (адыге). — Военный сборник, 1870, № 3 — 6.*

ПИСЬМА

В. Д. Дружинину, издателю ж. «Библиотека для чтения»

Милостивый государь господин директор!

Отправив к Вам первый опыт моего слабого пера, я до сего дня не имел никакого известия об его участи. Не знаю, заслужил ли он чести быть напечатанным или остается лежать в темном углу Вашей конторы. Такое неведение несколько охладило мое горячее желание продолжить начатое дело. Проводя лето в родных горах, я ни на минуту не покидал лестной мысли, что, может быть, сделаюсь сотрудником Вашего уважаемого журнала. С этой целью набросал несколько заметок, отрывистых рассказов, надеясь по прибытии в Ставрополь отработать для Вас. К этому же, времени я думал получить какое-нибудь известие, но, к сожалению, ни от Вас, ни от господина Авдокова 86, уезжавшего в Петербург, не получил ни одной строчки... (Многоточием обозначены неразборчивые слова — Р. Х.). Прошло пять месяцев, я обратился наконец к Авдокову, не смея беспокоить Вас. Авдоков был так добр, что вывел меня из неизвестности.

В письме своем он передал мне свидание свое с Вами и несколько слов, сказанных Вами насчет моей статьи. Спешу выразить Вам свою благодарность за благосклонный прием моего начального труда. Вы выразили Авдокову желание свое написать ко мне. Очень сожалею, что не имел удовольствия получить. Потому осмеливаюсь обратиться к Вам с письмом. Надеюсь, Вы не откажете, милостивый государь, в Ваших полезных советах, как журналист и еще более как один из лучших беллетристов. Думаю также, что Вы укажете мне права и обязанности усердного вкладчика. Во всем этом я признаюсь, потому что не знаю журнальных, постановлений, не имею ни опытности, ни достаточной уверенности в себе. Вы заметили Авдокову, что статья моя бедна содержанием. На это отвечу одно — я старался избегать всего, что выходит из повседневного быта черкесов, боясь обвинения в умышленном эффекте. Цель моя — представить черкеса не на коне, а у домашнего очага. Надеюсь, Вы поняли, что хотел я сказать в первом отрывке; моей статьи. Современное состояние Кавказа создало [263] значительный круг людей, которые отбились от родной почвы и не пристали к чужой. Поверхностное полуобразование ставит их во враждебное отношение ко всему их окружающему, разрушает в них веру в достоинство старых обычаев, но не дает им достаточно силы для успешной борьбы с действительным злом. Это живейшая струна нашей современности. Но льщу себя надеждой, что Вы, милостивый государь, откроете глаза молодому неопытному человеку, если он ошибается. В первом письме я обещал Вам, если позволите, написать ряд отдельных статей под общим названием «Записки черкеса». Постараюсь сдержать свое слово. Продолжение под заглавием «Чучело» вышлю Вам не позже нового года. Остальным пока не могу назначить определенного срока. Если эти статьи обратят на себя какое-нибудь внимание публики, осмелюсь в буду щем году лично представить Вам повесть «Что было и что есть», которую я обрабатываю года три и которая заслужила лестные отзывы людей, мнение которых я высоко ценю.

Оценку моих трудов представляю Вашей добросовестности. Труд и вознаграждение соединены между собою теснейшими узами.

В первом письме я просил Вас в случае нужды адресоваться на имя Авдокова, так как сам отправлялся на лето в горы. Теперь Авдоков уехал в Петербург, потому прошу Вас покорнейше адресоваться прямо ко мне: Ставрополь-Кавказский, специализанту Ставропольской гимназии Адиль-Гирею Кешеву.

Затем в ожидании Ваших указаний честь имею оставаться покорнейшим слугою Вашим

князь А.-Г. Кешев.

4 ноября 1859 год, г. Ставрополь.

* * *

Милостивый государь господин редактор!

Решительно не могу понять, как это случилось, что после Вашего письма, в котором Вы говорите, что печатание моей статьи отложено до выполнения ее продолжения, мне все еще приходится ждать ее появления. Начинаю опасаться, не затерялось ли где посланное к Вам продолжение под заглавием «Чучело»? Но мудрено довольно пропасть ему по дороге... лично отвез на почту, 25 декабря, вскоре по получении Вашего письма. Но вот уже четыре месяца прошло с того времени — и я напрасно надеюсь с радостью голодного на хлеб, на выходящие книжки Вашего журнала, но увы! об несчастной моей статье нет и помину... Решительно недоумеваю. А кажется немало пришлось мне ждать, с апреля

прошлого года. ...в начале марта я обратился к Авдокову [264] с просьбой побывать у Вас. Не знаю, выполнил ли он мою просьбу, но доселе я не имею от него ни одной строчки. Между тем обстоятельства мои такого рода, что не позволяют мне долго ждать. К 28 мая я еду в горы, где нет никакой возможности получить известия по почте. А мне бы очень не хотелось оставаться: еще полтора месяца без всяких от Вас сведений, тем более, что это некоторым образом свяжет мне руки, а я намерен этот каникулярный месяц употребить с пользою, чтоб было с чем явиться на дальний Север, если только, состоится предполагаемая мною поездка в университет. Поэтому прошу Вас, если есть какая-либо возможность, поместить первый отрывок в майском номере... Пока будет печататься второй, я доставлю следующий или сам лично или по почте. Он у меня почти готов. Надеюсь, Вы не откажете мне в просьбе и сколько можно извините. Поверьте, я бы Вас не беспокоил этим письмом, если бы не был к тому вынужден необходимостью и тем, что пора же мне наконец после годового выжидания, достигнуть какого-либо определенного результата в начатом деле. Вы, вероятно, не удивитесь, если я Вам скажу, что этот год обошелся мне очень дорого, что он принес мне довольно» тревог и сомнений. Уверю Вас, я никогда бы не решился послать Вам свою рукопись, если бы заранее мог предвидеть, с какими трудностями связано предпринятое мною дело. Но да послужит мне это добрым уроком на будущее.

В надежде на скорое...
остаюсь Вашим покорнейшим слугой
князь А.-Г. Кешев.

Если не успеете по каким-нибудь обстоятельствам исполнить мою просьбу до 28 мая, то прошу адресовать так: Ставрополь-Кавказский, учителю гимназии Омару Берсиеву 87 в дом чиновника Голосова с передачей князю А.-Г. Кешеву.

2 мая 1860,
Ставрополь-Кавказский.

* * *

Милостивый государь господин редактор!

Представляя Вам продолжение своих Записок, считаю не излишним сказать несколько слов от себя по поводу предлагаемого отрывка. Я заранее уверен, что этот отрывок, по тому как Вы изволили поступить с «Чучелом», покажется Вам и очень длинным и однообразным в содержании. Но эти недостатки, смею думать, суть необходимые следствия самого предмета, избранного мною [265] на этот раз. В коротком очерке невозможно дать сколько-нибудь полного понятия о таком многосложном проявлении нашего быта, каким служит так называемое абречество. Это одно из самых коренных зол в нашем общественном устройстве. Упорство, с которым наш горец преследует свое мнимое недействительное оскорбление... упорство, заслоняющее от него все другие... и естественные побуждения — вот, по моему мнению, источники некоторого однообразия моей статьи.

Другое, что я предвижу, это то, что статья эта, по-видимому, не подводит к предположенной мною задаче. Но так, надеюсь, может показаться только с первого взгляда. Основа абречества коренится прежде всего в общественном и семейном складе, что и составляет главную задачу моих записок. И наконец, герой записок, вознамерившись записывать все то, что его коробит особенно, не мог конечно целиком не положить на бумагу признание абрека без всяких со своей стороны рассуждений.

Но комментарии мои, надеюсь, будут излишни для Вас. Ваше тонкое критическое чутье, без сомнения, с большой ясностью увидит и недостатки и достоинства (если они есть) представленного Вам отрывка...

Остаюсь Вашим покорнейшим слугою
князь А.-Г. Кешев.
10 октября 1860 г.

Комментарии

86. Авдоков — невыясненная личность.

87. Омар Берсиев (Умар Берсей) — адыгский просветитель, преподаватель-черкесского языка в Ставропольской гимназии в годы учебы там Кешева. (См. о нем: Зекох У. С. Умар Берсей — просветитель адыгейского народа. — Ученые записки адыгейского научно-исследовательского института. Майкоп,. 1957, т. 1.)